

Борис Бочкарев

**ЗА ГОРИЗОНТОМ —
ИСТИНА**

Повести

Кострома, 1999 г.



Мы на грани совершенно иного видения мира, когда взвешена субстанция души и приступают контакты с иным, астральным миром, когда не чудо НЛО и появление Снежного Человека, когда за горизонтом — истина, когда жизнь на земле должна устремиться в состояния высших проявлений духа и разума, а достижения искусства и науки не нацелены человеку во зло.

Автор

A handwritten signature in black ink, appearing to read "М. А. Родин".

© Писательская организация



ЛАЗУРНЫЙ ЦВЕТ ЗЕМЛИ

Глава I КАР КАРЫЧ

В начале марта в мокрую стужу и непогодицу на темном заборе сидел обыкновенный грач. Он прилетел на север слишком рано, опередив, вероятно, где-то стаю, и вот теперь, отощавший и слабый, свесил большой нос, нахохлил на затылке перья, слегка растопырил мокрые черные штанишки над тонкими ногами, и весь был житейски беспомощен и уныл.

Бабушка Наталья увидела грача сквозь слезно мокрое окошко избы, и ей стало жаль «горемышную птицу».

— Ишь ты, лежишь, — сказала она Котофеичу, здоровенному разомлевшему в сладостном тепле коту. — А там — вон погибель какая. — Бабушка Наталья приткнулась поближе к окошку. — Вон ведь — птица-грач и та помирает.

Котофеич шевельнул кончиком хвоста, который он свесил с краешка печки, приоткрыл правый глаз и снова зажмурился, растянувшись во всю длину.

Он не хотел видеть мокрую стужу и, как всякий слишком избалованный кот, принимал ворчание бабушки Натальи спокойно, умиротворенно, басовито мурлыкал, вспоминая что-то очень приятное, как парное молоко.

В такую погоду Котофеич умел спать целыми сутками и просыпаться только от звона подойника, когда бабушка Наталья входила в избу со двора и поила теленка в отгороженном углу. Котофеич хорошо разбирался во времени: знал утро, обед и вечер. Он мигом просыпался, соскакивал с печи и орал, чтобы сперва ему, а не теленку, налили молока.

Теперь время приспело как раз обеденное, и Котофеич чуял, что пора бы ему и проснуться, но бабушка Наталья что-то засуетилась, затолклась, открыла форточку и кинула на затвердевшую наледь ломтик хлеба.

Грач на заборе слегка встрепенулся, но не слетел, не сразу понял, что предвещает ему случай — добро или зло. Он приподнял носатую голову и долго рассматривал подброшенный подарок. Наконец он разглядел, что это не камень, и чуть ли не свалился с забора, взметнув в воздухе раскисшими крыльями. Половину двора он прошел пешком, переставляя черные сухие ножки, прижал трехперстной лапой хлеб и принялся долбить его, выкручивая носом довольно крупные кусочки.

Остаток корочки он так и сяк выламывал, выдалбливал, пока не одолел все до последней крошки. Потом осмотрелся, обошел место вокруг, приподнял голову и нацелил черную бусинку глаза в окошко.

Весь день грач не улетал со двора, а в сумерки взлетел на резной оконный наличник, защищенный крышей, и остался там ночевать.

Бабушка Наталья пять дней кряду кидала грачу в форточку кусочки, и грач, казалось бы, прижился за наличником. Но на шестые сутки непогода склынула, выдался приветливый, ясный денек. Котофеич слез с теплой печки, вышел на прогретое солнышком крылечко, зажмурился, сел, уложив полукольцом свой роскошный хвост. Намусолив лапы, он стал умываться, усердно потирая за ушами и по усатой округлой морде. Вдруг он замер, навострился: откуда-то сверху слетел худой черный грач.

Грач размеренно и по-хозяйски вышагивал по снегу и время от времени поглядывал на форточку. Котофеич быстро и плавно припал к крыльцу, он был взволнован и, уж конечно, возмущен. Вторжение черной птицы в дворовые владения Котофеича явно унижало его. Во-первых, зимой во двор не выпускали даже кур, во-вторых, с грачами у Котофеича завелись давние счеты. Он хорошо запомнил этих долбоносых колонистов, когда попробовал однажды залезть в грачиное гнездо. Крепко и позорно битый, Котофеич кувыркался с ветки на ветку, покуда не свалился в крапиву. Урок, однако, не послужил ему наукой, и Котофеич научился лазить за птенцами ночью. Он постиг все тонкости своей охотничьей науки: мог сразу и на глаз определить как силу птицы, так и ее опрометчивость. Уже то, что

грач был очень мирный и тощий, побуждало Котофеича к действиям, решительным и скорым.

Нервно обметая кончиком хвоста желтые некрашенные половицы, Котофеич припал к крыльцу, прижал уши и распластался. Быстро и беззвучно перебирая лапами, он спустился с порожков, прополз сквозь кусты смородины.

Бабушка Наталья кинула грачу корочку, и это отвлекло внимание птицы. Кот подполз совсем близко. Он прыгнул, мгновенно и мягко, но грач отпрянул, взметнулся вверх и, припадая на бок, взлетел на забор. Выдранные черные перья устлали снег. У грача зависло правое крыло, дышал он часто, раскрыв клюв. Еще секунда — и кот достал бы птицу на заборе, но раздался шум, крик, и бабушка Наталья выскочила на крыльцо, размахивая веником.

— Брысь, окаянный! — Она стукнула веником о перила крылечка, и Котофеич пустился наутек. Веника Котофеич боялся пуще всего. Грач, наверно, понимал, где его защита, и не пытался улететь с забора. Птица переступала с ноги на ногу, но взлететь все не решалась, а может быть, уже и не могла. Наконец-то криво и боком грач спорхнул с забора и с большим усилием поднялся на оконный наличник. Тут он и остался на ночь, однако на землю ни утром, ни в следующий день так и не слетел. Птица знала, что теперь ей ни за что не подняться с земли. Понуро нахолленный грач все сидел и сидел поверх наличника, и бабушка Наталья с помощью печного совка подложила за наличник сала.

— Кар Ка́рыч, Кар Ка́рыч, — ласково манила она. Грач долго, беспокойно и недоверчиво посматривал на еду, но вот слегка подвинулся, клунул раз, другой и вскоре уверенно заработал клювом.

Ровно восемь дней кряду бабушка Наталья выхаживала птицу, и всякий раз вместе с кормом грач слышал ее ворковитое:

— Кар Ка́рыч, где ты там? Поклюй, сердешный...

А на девятый день налетели с юга еще грачи, и, как только обозначился серый рассвет, Кар Ка́рыч слетел с оконного наличника. Но к вечеру уже несколько грачей закружило над двором. Бабушка Наталья вышла на крылечко и, глядя в небо, поманила:

— Кар Ка́рыч, где ты там?

И вдруг из стаи отделился грач с прореженными перьями в правом крыле, круто снизился, уселся на заборе.

Бабушка Наталья рассыпала корм посередине двора и ушла в избу. Она видела сквозь окошечко, как грач слетел с забора, а за ним подлетели к корму и остальные. Теперь все то же самое повторялось изо дня в день.

— Кар Ка́рыч, где ты там? — И грач садился возле корма. Но вот весной бабушка Наталья остудилась на холodu и крепко прихвонула. Она вернулась из больницы по майско-му теплу. Лес уже окутало свежезеленою молодой листвой, и все вокруг сияло и цвело. За хозяйством присмотрели соседи, а чтосталось с грачом — бог его знает.

Только в конце сентября, когда окрепли и облетались молодые птицы, к бабушке Наталье на березу во дворе стали скопом налетать грачи. Здесь они почему-то садились гуще и чаще, чем на другие деревья. Бабушка Наталья пыталась угадать, а не тут ли тот самый, что с весны спасался за наличником. Но все грачи сидели черные, все носатые, все горластые, и понять, кто из них какой, она, конечно, не могла.

И вот поздней осенью в небе свилась громадная черная стая. Грачи с шумом и гамом кружили над деревней. Они то снижались, то взмывали вверх громадной, черной, врученной поло-сою и давали прощальные круги. Однажды от этой темной живой туши отломилась небольшая часть и налетела к бабушке Наталье во двор. Грачи облепили дерево: ветки пригнулись под их тяжестью, и с тех веток, что не могли держать тяжелых птиц, грачи взлетали и садились вновь, ища опоры.

Бабушка Наталья взяла совок, накрошила в него хлеба и вышла во двор.

— Кар Ка́рыч, где ты там? — поманила она, и с самой вершиной дерева слетел большущий черный грач. Он на мгновение раскинул крылья, завис над старушкой, легко описал полукружье и сел на забор.

— Карр! Карр! — прокаркал он, распуская хвост и кивая носатой головой.

Но во двор вошел кот, и грач, резко вскрикнув, поднял всю стаю вверх. Старый грач сделал круг над избушкой, и за ним потянулась вся молодая стая.

Бабушка Наталья помахала всем им сухонькой ладонью. Она долго и старательно оглядывала небо, потом, оборотясь к коту, сказала:

— Кыш ты, баловень! Вот как скоро будут холода! То-то вот опять не слезешь с печки.

Глава II КОТОФЕИЧ

Уже давно рассвело, и озолоченный солнечными лучами росистый двор слегка дымился в испарине, когда Котофеич вылез из запечья, где выспался вспасть на старой шубе, потянулся во всю длину, оттягивая задние лапы, широко зевнул, сощурился и осторожно пошел к прогретой поутру насыпной завалинке.

Котофеич не любил мокрого касания холодной утренней росы и потому высоко и плавно поднимал каждую лапу, стараясь не задеть травы.

Метрах в полутора от завалинки он сделал мощный скачок и, в один мах перескочив через лебеду, воссел на солнечном пригреве и начал умываться. Умывание было особо прилежным занятием Котофеича: оно отвлекало его от хищных помыслов — в те минуты даже воробы чирикали на крыше задиристей обычного и бесцеремонно порхали меж курами по земле.

Всем местам во дворе Котофеич предпочитал завалинку. От завалинки широко расстился двор с курятником, с хлевом для коровы, а дальше — с .баней, на которую Котофеич непременно влезал в сумерки и там протяжно и басовито орал, возвещая свое явление другим котам и кошкам, которые также, как он, страстно любили -гулять по вечерам.

За баней просвечивал удобный полукруглый лаз под забором, и совсем не требовалось карабкаться через ограду, чтобы выйти на небольшую опушку.

Каждый день к вечеру Котофеич выходил сюда на охоту и ловил на опушке, поближе к лесу, мышей полевок, которые, как и всякая дичь, были вкуснее, жирнее и ароматнее мышей домовых. По этой причине бабушка Наталья ежедневно бранилась, что-де с таким котом ее совсем заели мыши. Котофеич слушал брань, прижавши уши, и все равно летом не ловил мышей в подполье. Весь день он спал или нежился на завалинке в предвкушении сладостной минуты, когда дадут ему молока.

Иногда он осторожно целился глазами, когда поблизости шел, цвикая, цыпленок, и прижимался, если вслед ворчала квочка. Куры, белые, черные, рябые, серые, хлопотливо пестрели во дворе. Они хорошо знали голос хозяйки и слетались, скбегались со всех сторон, засыпав тихое «цып-цып».

Котофеич не любил куриное глупое племя за то, что шумело и мешало отсыпаться, но еще и за то, что однажды, схватив цыпленка, был нещадно бит сухим, старым веником. С неделю на спине Котофеича топорщилась шерсть, и всю ту неделю он не приходил домой, а ночевал на банным чердаке. Однако мычание коровы и теплый запах парного молока так неотступно влекли его и так манили, что в воскресенье примчался он к хлеву, голодный, отощавший, и назойливо мякал, пока не получил свою большую плошку молока. Бабушка Наталья была сверх меры щедрой, она не поскупилась и на вторую миску душистого парного молока, и Котофеич, чувствуя, что прощен, вылакал все до капельки. Со второй миски он так отяжелел, что на печь запрыгнуть уже не мог, а кое-как вскарабкался в запечье. Спал он долго, видел какие-то смутные, тревожные сны и никогда потом не крал цыплят, а только дремал на завалинке.

Просыпался он к вечеру и выходил ко двору ждать с луга коров. Он слушал, как раздавались вдалеке редкие хлопки кнута, звенел протяжный окрик пастуха. На эти звуки изо всех дворов выбегали кошки, — садились поодаль от прогона, и как только корова, шумно вздохая, входила во двор, бежали вслед и, мурлыча, терлись о ноги хозяек. Котофеич поступал точь-в-точь таким же образом, но чуть степеннее, с достоинством. Самый большущий котище села, башкастый, длинный, серовато-полосатый и слегка пушистый, он носил плотную, удивительно переливчатую шерсть, и до того был чист, ухожен, что казался новеньkim или только что отмытым. Котофеич басовито мякал у подойника, а затем нетерпеливо, пискляво, когда цедили в кринки молоко. Здесь он терял свою солидность и был просто попрошайкой, зевластым и неотступным. Налакавшись вволю, Котофеич отправлялся к бане.

По первому осеннему холодку за дворами начиналась кошачья перекличка. Котофеич влезал на крышу и, огласив окрестность истошным воплем, прислушивался. Услышав ответное далекое «мяу», Котофеич отвечал полнозвучным, трубным басом, который густо и далеко разносился над лесом, огородами и крышами.

Было начало сентября, по ночам набегали несильные холода. На крышах, чердаках и огородах заводились самые приятные знакомства.

Котофеич не имел себе равных соперников. Он настолько был силен, что мог увлечь из кладовки целый поросячий окорок. Такие проделки водились за ним, но уличать в том кота никому не приходило в голову. Обычно подозревали собак. Ту великую тайну знал лишь Фомка, заветный друг Котофеича и внук бабушки Натальи. Но, как известно, настоящие друзья не предают, и Котофеич продолжал изредка посещать чужие кладовки. Вообще-то, любил он пожить широко, вольготно и сытно.

Котофеич к Фомке льнул, был к нему душевно расположен. Фомка носил Котофеичу с речки пескарей, гольянов и сорожек, гладил кота, скреб ему подбородок и чесал за ушами.

Рыбу Котофеич чуял за полкилометра. Он бежал навстречу Фомке, пружинисто и хищно цапал рыбешку с кукана, мурзился, пыжился и никого к себе не подпускал, пока не скрустывал всю добычу. В такой момент он выглядел особенно сердито и, пока грыз одну рыбешку, зажимал лапами две или три.

* * *

Однажды ввечеру бабушка Наталья не досчиталась курицы Чернушки. Она точно помнила, когда и сколько кур садилась на насесте. Подивив корову, бабушка Наталья снова пришла в курятник с фонариком внука, но черной курочки так и не на-

шлось. «К соседям на ночь, видно, прибилась», — рассудила бабушка Наталья и успокоилась. Но черная курица не нашлась вовсе, а к пущей беде через день исчезла курочка желтая. Потом за два дня кряду пропало еще две курицы, и старушка не знала, что и предпринять. Наконец-то она решила держать кур взаперти, однако поутру скжалилась над птицами: маются в полутьме и не видят солнца. Бабушка Наталья открыла дверь, куры вразлет кинулись во двор. Щедрою рукою она насыпала им корм, и по деревянному корыту вразнобой забарабанили куриные носы. Бабушка Наталья ласково и грустно оглядывала кур. Сосчитав еще раз убыток, она заметила кота, который только что запрыгнул на завалинку. Кошачий взгляд, блаженный, хищный и сытый, показался ей особо подозрительным. Ей вспомнилось, как Котофеич покусился на цыпленка. Старушка подошла поближе, остановилась напротив завалинки.

Котофеич, наделенный от природы осторожностью, сразу почуял недоброе. Зыркнув хищным взглядом, он собрался в комок и прижал уши.

— Ах ты, аспид окаянный! — вскричала бабушка Наталья и шлепнула кота снятым с ноги башмаком.

Котофеич фыркнул, скакнул и, задравши хвост, метнулся к огороду. Он с налета разогнал всех кур, и по тому, как они, разметая перья, возмущенно закудахтали, вина Котофеича показалась старушке совершенно доказанной. Бабушка Наталья пригрозила коту вслед и долго бранилась и охала, накликая на котову голову всяких бед и наказаний.

Котофеич через огород выскочил к бане, нырнул под предбанник и затаился там. В неприятные минуты он находил здесь убежище. Подполье предбанника было замечательно тем, что можно было, нырнув в дыру с одной стороны, выскользнутуть с противоположного конца в другую дыру. Но теперь обида была слишком велика, и Котофеич, взъерошенный и хмурый, долго сидел в самом темном углу, поблескивая в полутьме глазами.

Сквозь просвет под крылечком предбанника он видел, как по убранному огороду рассыпались куры, как они бродили и что-то высматривали на земле или смешно отгребались тонкими ногами в мусоре. Поблизости от бани кукарекнул петух. Чуткий к шорохам, к тонкому писку и даже к незначительным звукам Котофеич терпеть не мог этой вот петушиной глотки. Он покинул темный угол и бесшумно отправился к дыре, которая высвечивала с другой стороны подполья, как раз напротив лаза в заборе.

Котофеич только что выставил усы из-под предбанника, как заметил в просвете под забором ушастую хищную морду. Зверь этот очень походил на хитрую рыжую собаку с большими ушами торчком. Со всеми собаками Котофеич вел давнюю

затяжную войну: он был когтистой лапой собак по носам, мог с такой яростью и силой впиваться в собачью морду, что приходилось отдирать его за шиворот или отливать от собаки ведром воды. Лаз под забором и пространство в два шага от бани составляли личную вотчину Котофеича. Посягательство на эту территорию показалось ему настолько возмутительным, что он взъерошил шерсть, вылез наружу, выгнулся в дугу и басовито замяукал.

Зверь оскалился, выставил белые острые зубы, но не залаял, не зарычал, как собака, и, вынырнув из-под лаза в заборе, чуть не схватил Котофеича сверху за шею. Котофеич извернулся, отпрянул, а зверь ловко унырнул обратно сквозь лаз под забором. Вдруг он снова высокользнул за баню и пошел в наступление. Он не давал опомниться — кружил и подскакивал и все норовил схватить кота сверху за шею. Котофеич отбивался лапами и все невпопад. Зверь явно знал, что рано или поздно одолеет кота, и почти играющи изводил его. Котофеич пятился и пятился. Прижатый к бане, он хотел вскочить на сруб, но зверь хватнул его за спину щучьими зубами. От боли в спине Котофеич скувыркнулся назад и намертво вцепился зверю в морду. Его передние лапы впились в надбровья, когти задних — у носа, а зубы вгрызлись в затылок. Зверь замотался, забил лапами. Он катался по земле, слепо совался по сторонам, а кот, истощенно воя, все сильнее и сильнее впивался в него.

— Ахти, матушки! Люди добрые, гляньте-ка что! — вскричала бабушка Наталья.

И потом соседи долго еще отдирали кота от пойманной лисы, и все хвалили Котофеича, а ввечеру он получил две миски парного молока.

Лису поместили в живой уголок школы. Поначалу она только сверкала желтыми глазами из дальнего угла большой клетки. Потом обнюхалась и почуяла кроликов по соседству. Однажды ночью хотела прогрызться к ним сквозь деревянную стенку. А вчера Фомка узнал, что в городе лису примет заезжий зверинец, который гостил в Костроме с лета.

Глава III ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ МУЗЫКИ

Сентябрьский день, голубой и ласковый, хлынул в широкие, до блеска промытые окна шестого класса «Б». И как только прозвенел звонок, шестой «Б» вырвался на школьный двор и рассыпался кто куда. На репетиции хора остались Трошка Семенов, Федька Глунин и Витька Пискарев.

Как запели!..

Валька как раз в ту минуту глянул через дверную щель.

Людмила Павловна кончиками пальцев стиснула виски и сморщилась, как от кислющего яблока.

— Хватит! Хватит! В конце концов, вы существа говорящие или нет?

— Уге-е-е! — несуразно завопили три голоса.

По долгу председателя совета отряда Валька тоже пел в хоре, и сейчас ему было ясно: Трошка, Федька и Витька остались в классе по зловредности, чтобы напугать учительницу и потом уж ни за что и никогда неходить на хор. Стоило надавать им по шее, но Валька понимал, что его выбрали в председатели совета отряда не за этим.

Людмила Павловна — учительница новая, добрая — была приятно похожа на свою дочь Светку. .

«Жаль, что девчонок в классе только три, — подумал Валька. — А было бы их много — пели бы себе... Девчонки любят петь. А ребят попробуй собери!»

Сегодня Валька был отчасти виноват сам. Хор в субботу заменили сбором металлолома. Завуч Маргарита Тихоновна передала Вальке записку для Людмилы Павловны, а Валька простоял у новенького мопеда, на котором кто-то прикатил на школьный двор. Прибежал, когда в классе начался урок.

Людмила Павловна отпустила последних троих, и они кинулись вон, оглашая коридор истощным воем.

Валька нашел их за школьной усадьбой, на тропинке, которую проторили по крутыму берегу речки Иношки на задворьях большого села Новино.

— Вы чего там выли? — насупившись, спросил Валька.

— Хе-хе, — усмехнулся Федька. — А ты кто такой? Мочарт? Пуганини?

И все трое зашлись развеселым, отчаянным смехом.

И Валька не сдержался, ткнул Федьку. Но сбоку подстутился Трошка, большой и плотный, с другого — Витька, цепкий, длиннорукий. Вальку завертелся и вправо, и влево, и вкруговую. Он понял, что ему, председателю совета отряда, сейчас накостыляют, а быть битым в такой должности никак нельзя: может рухнуть раз и навсегда его авторитет. Ярость взорвалась в Валькиной душе. Со второго удара он сшиб Трошку, поставил пару фонарей Витьке.

Но одолеть троих было не так-то просто. Трошка, Федька и Витька сработались давно и бились слаженно, умело, терпеливо. Валька вцепился в Трошку и покатился с ним под гору к речке. Трошка напоролся на хворостину и вдруг заорал.

Помятые и красные, Валька и Трошка выбрались на взгорок. Кулачный пыл помалу приутих, и Валька пригрозил:

— Без вас отряду куда как будет лучше...

— Сам ты первый полез...

— А вы людей не мучьте...

— Подумаешь...

— И вообще, куда это вы направились? Класс нынче работает. Сегодня по металлолому последний срок. А потом — итог соревнования...

— Так бы и сказал, — утер нос Федька. — А то лезет... Начальник...

— А вы слова понимаете?

— Понимаем...

И все четверо пошли вдоль берега.

Речка Иношка светло и весело бежала по перекатам. Прозрачная вода то тихо расстилалась в заводях, то скривилась в камнях-голышах, то извилисто и круто пряталась в ольховнике и терялась далеко-далеко в лесу. В сентябре возле перекатов здорово клевали гольяны, и звала и манила река. Как хорошо, что нынче отменили хор. В такой день собирать железный лом куда как веселее. Но что-то завяз шестой класс «Б». Шестой «А» собрал металлолома больше, а тут еще эти трое... Не бывать шестому «Б» правофланговым. Куда там у знамени — поставят во время линейки где-нибудь в углу, где на стене висят правила поведения. Все это Валька предполагал заранее.

— Слушайте вы, солисты... — сказал он. — Вы воем вашим весь класс разогнали. Я и сказать никому ничего не успел. Давай по дворам! Класс собрать нужно. А я — к правлению колхоза, завуча предупредить. Скажу ей, что собирать железо все разошлись. И пусть из двора каждый что-нибудь железное тащит.

Уже к вечеру, когда кузов грузовика завалили железным хламом, Валька по дороге домой встретил Светку из четвертого класса.

— Валька, — спросила Светка, — а почему у тебя уши разные?

Валька потрогал ухо, распухшее после драки.

— Железо грузили...

— А я думала, тебе навесил кто...

— Вот еще, скажешь...

— Ты не обижайся. Я видела, как ты с троими бился...

Здорово ты их...

Похвала ободрила Вальку, и сегодняшний день показался ему не особенно плохим. По металлолому шестой «Б» выходил на второе место, потасовка у речки утвердила чувство правоты, а в конце дня была встреча со Светкой. Светка отличалась от иных девчонок серьезностью и пониманием. Она не задавалась, не фасонила и вела себя просто и рассудительно. Чувствовалось: Светка лучше других девчонок, ей можно верить.

— А ты куда идешь? — спросил он Светку.

— К бабушке Наталье — с поручением. Приборку у нее сегодня в доме делаем.

— У той, что грача выходила?

— У той.

— Мы на неделе дрова приедем колоть к ней. Они помолчали.

— Ну ладно, — вздохнул Валька. — Ты, Светка, иди. Мне торопиться надо. Скоро коров встречать. Наша третий день в огороды сворачивает.

Глава IV СКВОРОКА

В воскресенье поутру Валька и шестеро ребят из класса отправились колоть дрова к бабушке Наталье. Бабушка Наталья всю жизнь прожила в деревне Новино, которая постепенно разрослась в село. Сын у бабушки Натальи погиб в войну еще сорок лет тому назад; от него осталась внучка, у которой и появился правнук Фомка — теперь вот дотошный восьмилетний школяр. Слово правнук не вжилось в обиход села, и все звали Фомку «бабкин внук». И сам Фомка звал ее «бабушка Наталья», и это вполне устраивало всех. Фомка жил у бабушки круглый год и не просился к отцу и матери в город. Отец Фомки, хороший токарь, работал в Костроме на заводе «Мотордеталь», и мать работала там нормировщицей. Отец с матерью приезжали в село на покос, чтобы заготовить сено для коровы. Приезжал иногда и Фомкин старший брат, мастер на том же заводе, с ним — второй брат, кончающий профтехучилище. Бывала и сестра, студентка пединститута. А все остальное время жил Фомка у бабушки Натальи без особого досмотра, и это ему очень даже нравилось. Помимо всяких дел, зимой — коньки, санки, лыжи; летом — грибы, ягоды, рыбалка, еще любил Фомка жить возле окошка, всегда прогретого от печного чела и почти не застывавшего ни осенью, ни зимой. Сквозь окошко хорошо смотрелся двор, длинный и широкий.

Когда утром Валька с ребятами вошел на крылечко, Фомка выскочил в сени, замахал руками и шепотом позвал их в избу.

— Давай сюда, — махнул он рукою и на цыпочках подкрался к окну на кухне.

Забор, который огораживал подворье, тянулся вдоль кустистого ряда молодых рябин. Доски нашиты были плотно и не очень высоко, а верхушки досок были спилены на конус и торчали ровным рядом по окрайку огорода до самой речки. Сюда вдоль забора рябинки пересадили лет пять тому назад со свежей просеки, и, крепко помятые, они не потянулись в рост, а схлестнулись друг с другом густыми непролазными ветками

и по осени застенчиво розовели сникшим огрузем медленно спеющих ягод.

На средней из рябин, самой густой и распахнутой к забору, повесили кормушку как раз с тем расчетом, чтобы в нее не мог забраться кот. Кормушка подвешена была хитро. Фомка опрокидывал в нее корм не иначе как с поперечины забора. Одной рукой держался за стоянок, другую руку с кружкой просовывал сквозь веточки до самого лотка. Лишь в этом месте веточки помалу раздались, образуя узкий просвет со стороны забора. Всю осень Котофеич покушался тут на воробьев и синиц. По тонким веткам он взбирался под днище кормушки и всякий раз срывался вниз под дружный сорочий смех.

Одна из сорок, налетавших во двор к бросовой круче, садилась на сарай поодаль от других и, кажется, не очень-то внимала всеобщей трескотне. В ее длинном иссиня-черном хвосте недоставало одного великолепного пера, и, вероятно, потому полноценные подруги относились к ней с трескучим, истинно сорочьим пренебрежением. Они таращели и сутились, перепархивали с ветки на ветку, глумились над котом и неудачливой сорокой, но ни одна из них, даже самая бойкая, не могла попасть в кормушку. Пронырливые, верткие, они порхали здесь и так и сяк, но опереться у кормушки было не на что, — слишком тонкие ветки не держали их тяжести, и вся сорочья стая возмущенно стрекотала.

В то утро сороки только что слетелись на березу, и каждой из них очень хотелось натрещать куда как больше, чем иная. Они трещали и стрекотали, и только та, что была в стороне, слетала вдруг с саarya и садилась на крайний стоянок забора. Она смотрелась сквозь окошко — аккуратная и чистая, с белокипенным фартучком по брюшку.

— Баушка, смотри-кось, Скворока-то опять пришла, — глянув сквозь звено, заметил Фомка, и все, кто был на кухне, замерли, наблюдая за сорокой.

Сороку Фомка звал Скворока, выражая этим некую сварливость, присущую извечной, болтливой и беспокойной, сорочьей суете.

Сорока сверкнула черным, сметливым глазом, воровато осмотрелась и сказала: «Кхак-хак!» Ей нравилось место, откуда вдоль забора начиналась густо сплетенная, нависающая и плотная чащоба рябин. Сорока еще раз посмотрела вверх, вниз, по сторонам и осторожно ступила лапой на первый колышек, потом — на второй, третий и вдруг зашагала по колышкам забора, косолапо дергая ногами. Она напоминала чем-то пятиклассницу, что прельстилась непомерно высокими каблуками, и теперь вот ковыляла, растопырив пятки, загребая носками.

Этаким способом — с колышка на колышек, под густо нависшими ветками сорока миновала половину забора и ста-ла точь-в-точь напротив кормушки. Она развернулась, присела, прицелилась клювом и нырнула прямо и точно в узкий просвет. Не зацепив даже веточки, она канула в кормушку, повисла на краю, колыхаясь полегонечку, и принялась клевать. Хвост у сороки поминутно вздрагивал, но клевала она разборчиво и обстоятельно, предпочитая кусочки сыра и сала. Другие сороки садились вокруг — на вершинник, на землю, иные пытались пробиться сквозь чащобу, повисали на тоненьких ветках, суетно порхали и трещали без умолку, подстрекая друг друга на скандал.

Тем временем умная сорока вволю наклевалась, развернулась на краю кормушки, прицелилась клювом в просвет и юркнула назад прямо на колышек забора. Потом опять-таки, ковыляя, она с колышка на колышек вышла на открытое место, посидела, отряхнулось, сказала: «Чах-чах», — и взлетела на крышу сарая...

Она каждое утро прилетала кормиться, и по сорочьему возмущенному треску в доме заранее знали, что по забору шагает сорока.

— Глянь-ко, баушка, — звал внук Фомка, — опять Скворока по колышкам ходит.

— Ну и пусть ее ходит, коли так уж ловка, — отвечала бабушка и посыпала внука наполнить чем-либо кормушку.

Мальчишки подивились премудрой сороке и вышли во двор. Сорочья стая вспорхнула и разлетелась.

— Да, житье у тебя тут. Фомка, — позавидовал Валька.

— А как же — мы с бабушкой знаем, как жить... Айда дровишки покажу. В другой раз вы раньше приходите — у нас во дворе еще интересней бывает — и грачи, и синички, и воробы, и ястреб иной раз мелькнет над крышей...

— Так ты когда же встаешь? — спросил Валька.

— Я с бабушкой поднимаюсь, как корову доить... А дровишки там вон, под навесом.

За сараем под навесом валялись давно застарелые, вязкие чурбаки и кубометра три свежераспиленных метровок. Дрова подвез и распилил колхоз, а пионерам осталась вторая работа — переколоть и уложить дрова. Мальчишки захватили из дома по колуну, и всяк перед другим старался показать теперь свою силу и умение. Перекололи наперво, конечно, чурбаки без сучков, лоровнее. Запах березовой кислинки, влажная свежесть осинника и словая густомесь смоляного запаха широко поднялись с расколотых чурбаков и плах. Ребята на минуту распрямили спины.

— Здорово пахнет, — глубоко потянул носом Витька.

— Что и говорить, — поднял поленышко Федька. — Старые люди говорят, что свежие поленья грудные болезни лечат, дух очищают.

— Понятно, чего же тут такого, — подтвердил Трошка. — С пихтой вон в бане парются, а мой дед так в каждый веник крапивы добавляет, а еще зверобою или мяты.

— Знающий у тебя дед, — похвалил Валька, опервшись на черенок колуна.

— А как же не знающий, — продолжал Трошка. — В деревне так не проживешь. Заболел раз дед. Таблеток ему всяких выписывали, а он их пить не стал. «Не в ладу я с таблетками, считай, вот уж девяносто шестой год».

Валька прикинул, сколько надо переколоть дров шестому «Б», сколько оставить другому классу. Выходило, что легкие дрова они перещелкают быстро и надо брать трудные чурбаки. Такой чурбак, сучками прошитый, кривой и волокнистый, колоть надо с умом. Важно понять хитроумное сплетение древесины, раздать точными ударами ходкое место, а потом уж дошибать по частям. Все шестеро взяли по такому чурбаку и стали сажать колунами по выгодным местам. Вальке как председателю отряда подсунули чурбачину опористую, коряжистую, с крупными сучками. Валька приглядился так и сяк, перевернул подарок и, заметив ниточку прощелины, принялся бить точно по этой щелочке. Чурбан не поддался, но щель чуть разошлась. Валька всадил березовый клин, и наконец-то чурбак хракнул, широкая рассадина подалась книзу, и чурбак развалился на две кривые половины.

К обеду уже усталые, с намятыми плечами ребята кончили работу и остановились около завалинки. На завалинке, пригретый солнцем, лежал Котофеич, растянувшись во всю длину и откинув серый хвост. Он чуть приметно зыркнул глазом и легонечко шевельнул кончиком хвоста. Привыкший к почтению, Котофеич ждал восторгов и позволял мальчишкам рассмотреть себя.

— А сколько в нем весу?

— Килограммов десять, наверно, будет...

— Пуд... — уточнил Фомка. — Я его на бзмене не довесил. С ремня вырвался. А в магазине взвешивать не хотят...

Фомка только что слез с яблони и грыз налитое, свежее яблоко да еще шарил рукою у себя за пазухой, чтобы достать следующее.

— Он у нас парное молоко ух как любит, — пояснил Фомка.

— Как лису поймал, я его на охоту думал учить, а он ошейник задними лапами сдирает и царапается. Во — смотри...

Фомка достал из-под крыльца старый собачий ошейник в медных блестках и едва шагнул к коту, как тот взвился над завалинкой, пулей промчался через двор и скрылся в огороде.

— Теперь под баней до вечера будет сидеть, — сказал Фомка и бросил огрызок яблока, курям.

Глава V ЧЕРНЫШ И ГУЛЬКА

Во второй половине дня ребята перешли улицу и через проулок направились к полю. Домой идти пока что не тянуло. Бабушка Наталья вволю напоила всех молоком, и, притомленные работой, они подумали, как хорошо теперь будет полежать, растянувшись на свежей соломе.

За огородами вдалеке темнел на гумнах конопляник, высились длинная крыша льнохранилища, а справа раскинулось поле с валками пшеничной соломы, еще не прибранной в стога. Ребята с ходу плюхнулись в гущу хлебного запаха и разнесились на солнышке.

— Смотри, братва, — поднял руку Колька, — Никодимыч опять голубей запустил.

— Хорошие голуби...

— Еще бы... А сизарей теперь у него нет.

— Не держит с того случая...

А было это так.

В деревне известно каждому, что такое сизарь, обычный, не очень-то приметный голубь. Черныш как раз и был таким, с обилием темно-сизого пера, что выделяло его в разноцветной, белокрылой голубиной стае. Он выпустился из яйца от лесного голубя-дикаря и темненькой голубки, которую потом забил ястреб. Но для внимательного взгляда Черныш был по-своему красив: широкогрудый, с ожерельем из блестящей окалдинной синевы, с крепкими крыльями, с быстрой подвижной головой.

Три года назад Черныш избрал Гульку, серо-сизую небольшую голубицу, и вот уже третью весну они выводили по два голубенка. Гнездо этой пары ютилось в самом темном и узком углу голубятни на неотесанной и криво выступавшей дощечке. Беспородное гнездо мало интересовало хозяина, — к тому же в темном углу, того и гляди, стукнешься головой о перекладину.

Просторная голубятня возвышалась на крыше сараев, и там постоянно слышалось гургурканье, воркование, шуршание и шелест, хлестко раздавались частые удары крыльев изредка взлетавших на верхние полки птиц.

Черныш не любил бродить внизу по полу. Плавным и точным броском он опускался сразу возле кормушки и через каждые два-три клевка вздергивал голову, чтобы оглядеться вокруг. Однажды во дворе на него набросилась кошка. Израненный, окровавленный, он вырвался из лап и с того часа никогда не терял осторожности. Гулька спархивала сверху к нему и подбирала зернышки рядом. Малейший чуткий звук служил им сигналом. Точно вскинутые вверх, они мгновенно взлетали и

большую часть времени ютились на своей дощечке. Даже когда хозяин голубятни поднимал стаю над крышей, заливисто свистел и махал шестом с белой тряпкой на конце, Черныш и Гулька отбивались в сторону или взвивались в высоту и казались точками в небесной синеве.

Крылья белые, светло-коричневые, желтовато-палевые сливались в живое пестрое облако, и стая осыпала крышу приветливым праздничным разноцветьем. Только потом откуда-то со стороны стремительно и резко снижалась пара обыкновенных голубей.

Хозяин не любил эту пару: стоили такие голуби не дороже трешника, и покупателей на них почти не находилось. Он терпел двух сизарей: куда их денешь. Один дутыш и четыре турмана, которые могли кувыркаться и входить в выражи, были ухожены, обласканы хозяином и в качестве главной привилегии имели поциальному ящику для гнезда. И вся разноперая птичья помесь ютилась вокруг голубей породистых, уважая независимость и силу.

Один Черныш не признавал породы. Крепкий, как камень, он мог отбить крылом что турмана, что дутыша. Все важные, сановные и прочие голуби знали его нрав и не подступались к нему близко. Черныш и сам не лез в средину, где гуще сыпалось пшено, а клевал поодаль, рядом с голубицей Гулькой.

Когда хозяин видел, что Черныш бьет его красавцев, то хлестал его хворостиной. Тогда Черныш взвивался к потолку и метался там, сшибая в воздухе других птиц. Поднималась кутерьма, пылища, и хозяин выскакивал на крышу подышать свежим воздухом. Черныш понимал хозяйствское недружелюбие и всякий раз, заслышив шарканье шагов по крыше, весь напряженно скимался и вытягивал шею. Если хозяин вносил лоток с зерном, Черныш ждал, когда насыплют корм; если в руках темнела хворостина, Черныш перелетал с угла в угол, с места на место.

Спокойно и вольно жилось Чернышу в соседнем дворе. Там в саду среди яблонь стоял открытый столик, а на чисто подметенных дорожках малиновые лапки голубя переступали свободно и ровно. Именно здесь Черныш мог выразить нежные чувства. Он доверительно приспускал книзу крылья, раздувал на шее ожерелье и, бисерно переступая лапками, ходил вокруг Гульки. Изредка он вскользь задевал любимую крылом и все ворковал, ворковал и ворковал.

Утром Колька появлялся на тропинке, и Черныш взлетал к нему на плечо. Спорхнув с плеча на стол, он протяжно гугуркал, зазывая Гульку. Он не трогал корм, пока не подлетит голубка. Гулька торопливо подбирала крошки, а Черныш, клюнув раза два-три, принимался ворковать, восторженно кивая головой. Теперь в его голосе прослушивалось больше отрывис-

тых и тихих ноток, совсем как в разговоре, доверительном и близком. И сам Черныш в такие минуты был особенно галантен: он обходил Гульку полукружьем, и тогда его ожерелье сияло самой яркой синевой. Черныш ждал, когда Гулька наклюется, и шел на край стола к раскрытой мальчишеской ладони. Здесь он позволял себе наклеваться вволю для поддержания сил и бодрости духа.

Как-то раз в начале апреля выдался особенно погожий и ясный день. Небо распахнуло бездонную синеву, и можно было видеть далеко-далеко каждую летящую птицу. Земной простор, празднично освещенный, раскрылся сверкающей зеленью сосновых пролесков, темной испариной протаявших полей и голубым оголенным льдом вспухнувшей речки.

Теплынь и влага вновь наступающей весны манили на волю, и хозяин, владелец голубятни Ростислав Никодимыч Солонцов, вышел во двор. Он окинул взглядом чистое небо. В таком небе не хватало только стаи голубей, чтобы, вскинувшись ввысь, вольным стремительным полетом соединить земную красоту с бездонной синевою.

Было воскресенье, хозяин выпил с утра стопочку, попил чайку и ощущил в себе знакомое, радушное настроение.

Взобравшись наверх, Ростислав Никодимыч широко распахнул сетчатую дверь, и на него нахлынули, налетели голуби. Те, что побойчее, уселись на плечи, на шапку, иные, трепеща крыльями, взирались по рукам, другие рассыпались на крыше и вокруг и были похожи на цветастое живое покрывало.

Обласкав любимцев, Ростислав Никодимыч взял предпинющий шест с мочальным хвостом и белой тряпкой на острие, пронзительно свистнул, взмахнул пугалом — и голубиная стая, затрещав на взлете крыльями, вскинулась в синее небо.

Гулька не вспорхнула с угла: она готовилась вывести птенцов и, несмотря на шум и свист, только плотнее вжалась в гнездо. Черныш выпорхнул на крышу. Он нервно закивал головой, насторожился. Он совсем не понимал, зачем этот шум и свист около его гнезда, где происходило важное событие. Голубята уже проклонули скорлупу, и родители с нежностью ждали, когда они появятся, совсем еще беспомощные и слепые.

Хозяин заметил неспокойного сизара, шаркнул по крыше шестом и согнал его прочь. Черныш дал круг над подворьем и снова опустился на голубятню. «Фьють!» — присвистнул хозяин и подхлестнул птицу мочальным шестом. Удар не был злонамеренным, но пришелся, как на грех, по голове, — сшиб голубя с дощатой крыши, и он скатился прямо во двор. Роняя перья и трепеща, Черныш с трудом взлетел и потянул куда-то над полем к лесу. Метров за сто от опушки он стал полого забирать к вершинам, но вдруг с ольховника к нему метнулась серая хищная тень.

В ясный день смотрелось далеко, и Ростислав Никодимыч хорошо видел длиннохвостого с тупою грудью ястреба. Тетеревятник выскользнул откуда-то со стороны, из чернолесья, и потому, настигнув Черныша, не мог сбить его грудью. Он вскинулся брюхом кверху и, цапнув по воздуху длинными тонкими лапами, полоснул голубя когтями в бок. Взвихрились, закружились перья. Черныш кинулся вниз и, пока ястреб выравнивал полет, нырнул под старый замасленный ящик, который еще с прошлой осени оставили на опушке трактористы.

Ястреб пронесся над землей и сел на длинный голый сучок полузасохшей высокой осины. Он изумленно замер, поводил по сторонам головой, зорко целя немигающие желтые глаза, потом круто опустился вниз к рассыпанным голубиным перьям. Не обнаружив голубя на поле средь озимых, он поднялся и полетел низко над землей в лес, чтобы, вероятно, там, среди кустов, высмотреть пропавшую добычу.

Поначалу Ростислав Никодимыч думал, что голубь улетел-таки, но, как только ястреб снова метнулся на поле, сомнения разрешились сами собой. Хозяин знал: ястреб не падает в точку, где нет подранка либо свежей добычи. Встревоженный за стаю, хозяин бросил шест и сбежал за ружьем.

Он обошел опушку стороной, осторожно пробираясь за деревьями, вышел к месту, откуда вырвался ястреб, но хищник не обнаружил себя. Как ни был осторожен человек, птица заметила его намного раньше.

Ястреб ушел в лесную прогалину, а Ростислав Никодимыч для острактики пальнул пару раз вверх. Он вынул порожние патроны, продул стволы и очень важно вышел на поле. Рассыпанные перья сизаря окончательно убедили его, что голубь погиб. По такому случаю Ростислав Никодимыч решил было еще разок пальнуть в сторону леса, но не сыскал в патронташе заряда похуже — из тех, что выпалил не жалко.

* * *

Нырнув под ящик, Черныш забился в темный угол. Сердце билось часто — так часто, что дрожь отдавалась на кончики крыльев, и птицу бил мелкий озноб. Внутри ящика пахло застарелым мазутом, и откуда-то со стороны Пробивалась сквозь щель острая и узкая полосочка света. Смертный страх понемногу отдалился, и Черныш повернулся к свету. Глубокая ссадина под крылом сильно мешала ему. Он отступил немногоЗ из угла, поджал лапки, прилег на пожухлую прошлогоднюю траву и стал посматривать в просвет наружу. Рядом грохнули выстрелы, и страх загнал его опять в темный угол.

Чем дальше, тем сильнее мучила боль. А к вечеру так захотелось пить, что, превозмогая боль и осторожность, Черныш выставил голову из-под ящика и в борозде отыскал несколько капель воды.

Однако в ночь погода вдруг переменилась. Откуда-то с северо-запада нахлынул стылый ветер, покатил по небу серые тучи, они все плыли, все наступали, все надвигались неуклонно, пока не закрыли небо. Из туч посыпало снежком, потом — мокрой крупой, а с полночи захлестал, заморосил пронзительно холодный дождь. Вода затекла под ящик, и Черныш привстал и заходил внутри, чтобы отыскать место посушке. Кругом было холодно и сыро. Вдруг у самой стенки он наткнулся на влипшую в землю большую шестеренку. Переступая по зубцам, Черныш, словно по лесенке, взобрался под самый верх. Здесь не капало, и вскоре он заснул под шорох хлесткого холодного дождя.

Пасмурная погода держалась всю неделю. Дождь прошел, и, словно осенью, на землю легла серая тишина. Но мир ожидал, зелень после дождя густо пробивалась повсюду, и молодая озимь привольно потянулась в рост.

Освоившись, Черныш понемногу стал выходить из ящика. Он медленно выздоравливал. Ему сильно досаждала рана под крылом, но поблизости на поле попадались прошлогодние пожухлые зерна, так что можно было и кормиться. По ночам он спал на тракторной шестеренке, а днем шел пастись и гулять. Когда бы он заметил в небе голубиную стаю, то превозмог бы, наверное, и слабость[^] и боль, но Ростислав Никодимыч по пасмурным дням не гонял голубей. Он пока решил определить судьбу одинокой Гульки. То ли с тоски, то ли с недокорму Гулька не вывела своих голубят. Они проклонулись, да погибли. Вероятно, в стылую погоду у одинокой голубицы не хватило для них тепла, и в гнезде она почти не сидела, потому что не видела рядом Черныша.

Ростислав Никодимыч закинул подальше от двора два проклонутых мертвых яйца, постоял посреди голубятни, осмотрелся, размышляя над чем-то. Все голуби — кто на полу, кто поверх сколоченных грубых досок устроили гнезда, и каждая пара так была занята своими семейными делами, что до всех прочих ни у кого не находилось времени. Один только дутыш оставался без дела. Он тянулся на длинных ногах, выпячивал зоб и вельможнно бродил средь суety, большой, красивый и нерасторопный, он ежечасно ожидал особого внимания и потому не сыскал себе пары. Теперь вот, порастратив понапрасну время, дутыш невпопад ворковал, подступаясь то к одной, то к другой чужой голубке. Возникали неприятности, и дутыш бывал бит даже небольшим, но крепко обозленным голубем.

Ростислав Никодимыч любил во всем порядок, л поведение дутыша его обеспокоило. «А не подсунуть ли красавца к Гульке? — решил он. — Пусть утешится. К тому же интересно знать, какие выйдут голубята?»

Он втащил на крышу большую дощатую клетку с широкой сетчатой дверкой, прибил ее на стенку гвоздями к голубятне. Получилось хорошо, удобно. В наружной клетке любая пара могла ужиться без хлопот: здесь нет толкотни и никто не мешает. Хозяин небольшим сачком отловил сначала Гульку, а потом и дутыша, и когда поселил их вместе, то остался очень доволен и сам собою и своей хорошей выдумкой.

И вот теперь все дни подряд, с утра до позднего вечера, дутыш густо ворковал и топтался вокруг Гульки. Был он так длинноног и прямостоек, что иногда перешагивал через маленькую скромную голубицу, и тогда еще пуще в нем говорила любовь.

Гулька перепархивала с места на место и никак не хотела быть с дутышем рядом. Она прибивалась к дверке или взлетала на сетку, цепляясь ногами, и висела так, трепеща крыльями. Днем она смотрела на волю, а ночью прижималась все к той же сетке. Дутыш ночевал в другом конце клетки, нахоленный и недовольный.

Первый ясный день выпал на понедельник. Ростислав Никодимыч еще не выслужил пенсию и потому мог только по выходным дням гонять голубей.

Голуби томились взаперти, Гулька совсем поблекла, исхудала. Она не следила за собой, не охорашивалась, ее перышки неряшливо топорчились.

Но вот как-то после обеда Колька вновь увидел у себя в саду изможденного темного сизаря. Перебирая малиновыми лапками, голубь прошелся по дорожке, выискивая что-то, вспорхнул на стол и осмотрелся. «Ростислав Никодимыч, Черныш прилетел!» — едва не крикнул Колька, но вспомнил, что хозяина нет дома. Он сбежал на кухню, наскреб в хлебнице крошек и осторожно подошел к столу. Черныш стоял, недоверчиво выгнув шею: за неделю голубь немного одичал.

— Гули-гули-гули, — позвал Колька, насыпая крошек. Черныш выждал, когда Колька отойдет, и принялся клевать. Он жадно похватал с десяток крошек и, вытянув шею, насторожился. Вдруг он подскочил, ударил крыльями, завис над столом и, поднявшись над садом, сел на крышу голубятни. Склонив набок голову, он посмотрел на прибитую к стене клетку, взлетел, описал круг, сел снова и тут с налета припал на сетку и повис на ней, хлопая крыльями, Гулька вспорхнула и повисла на сетке как раз напротив. Трепыхая крыльями и цепляясь лапками, они держались так минуты две. Но вот Черныш спорхнул в сторону, дал низкий круг над крышей. Теперь он то садился на крышу, то цеплялся за сетку.

До самого вечера Черныш метался поверх голубятни, повисал на сетке или садился на крышу и ласково ворковал. И

на второй, и на третий день он метался над голубятней, ночевал на яблоне, а однажды чуть не разбился о железную сетку.

Ростислав Никодимыч приезжал с работы затемно. Колька уже спал и рассказать ему про Черныша не мог. Но в субботу хозяин заметил голубя. Он взял сачок, взобрался на сарай, накрыл сизаря и крепко ударил его ободком. Черныш сорвался с крыши и улетел далеко на колокольню заброшенной церкви, где обитали полудикие голуби.

И на другой день в воскресенье Ростислав Никодимыч никак не мог поймать Черныша. Голубь садился на дом, на сарай, но не подпускал к себе близко. И хозяин выпустил стаю. Дружная стая могла сманить не только одиночку-голубя. К сильной стае прибивались парами, а то и по трое, красавцы из чужой голубятни и даже полудикари.

В ясном небе Черныш сначала влился в стаю, а потом вдруг вышел в сторону и стал давать вокруг стаи выражи. За ним потянулись два голубя, — их увлек стремительный полет, и вся тройка все сильнее отбивалась в сторону, и было видно, что она готова оторваться и уйти. За сизарем шли два любимых турмана, и Ростислав Никодимыч прижал ладонь к сердцу. Он заметался, забегал по крыше, засвистел бог весть зачем, как видно, с перепугу. Потом он, вероятно, сообразил, что бегать по крыше и свистеть в такой момент совсем нельзя. Он кубарем скатился вниз, бегом кинулся в сарай, вынес полведра пшеницы, широкой полосой посыпал зерно во дворе. Голуби с высоты заметили корм и заторопились вниз. Они снижались, расправив белые, сизые, желтовато-коричневые крылья и, словно цветы, подвижные и живые, плавно опускались во двор.

Черныш и с ним два турмана зависли над двором последними. Но как только пара турманов пошла вниз, Черныш метнулся в сторону и сел на крышу дома.

Колька понял беду, когда хозяин вышел из дома с ружьем. Черныш только что взлетел и снова искал место, куда опуститься. Шустрый Колька вскочил к себе в окошко и включил на всю мощь радиолу. Голуби ринулись в небо, а Черныш метнулся прочь.

Весь день с Колькиного двора накатывалась музыка, от которой у соседей трещала голова. И Черныш не прилетел, не сел на крышу. А в понедельник хозяин отправился на работу.

В то же утро Колька притворился хромым и не пошел в школу. Он выждал, когда мать уйдет из дома, и ловко перелез во двор к соседу. Он быстро взобрался на крышу сарая, подкрался к клетке, открыл дверцу и сунул Гульку за пазуху. Потом слегка оторвал сетку, чтобы получилась небольшая дыра. Никто не видел, когда и как он слез, перебрался к себе и спрятался за деревом, поглядывая в небо.

Черныш прилетел внезапно. Он описал круг над голубятней, сел на крышу. Колька легонечко подкинул Гульку, и она плавно опустилась неподалеку от голубя. Черныш вытянул шею, повертел головой, вдруг распушил крылья, развернулся ожерелье и, круто выгнув шею, заворковал говорливо и поспешно.

Колька свистнул раз и два, а голуби не слетали с крыши. Тогда Колька схватил комок земли и швырнул на кровлю. Комок расшибся, стегнул по голубям. Голуби встрещали крыльями, взвились — и высоко над крышами сделали широкий круг. Гулька шла впереди, Черныш чуть поодаль, затем он сильными толчками ускорил полет и, приравнявшись к ней, стал забирать в небо все выше и выше. Гулька потянулась за ним, и там, перемещаясь в бездонной вышине, они уходили все дальше в глубь неба, пока не скрылись из виду совсем.

Пропажа не слишком огорчила хозяина. Он любил породистых птиц, и сколько после ни бывало живности в его голубятне, такой пары, как Черныш и Гулька, не водилось никогда.

А километрах в двух на церковной колокольне понемногу развелись темно-сизые, почти черные голуби. Ростислав Никодимыч видел тех голубей и все недоумевал, каким способом такая слабая голубка справилась с железной сеткой. Убыток был невелик, но как-то все скреб ему душу. А ребята хранили тайну. Они долго смотрели, лежа на соломе, как в ясном небе кружила пестрая стая голубей.

— Слушай, Колян, — спросил Трошка, — а что если тебя Никодимыч застал бы на крыше?

— Если бы... А вот не застал.

— Ну, а все-таки?

— Милицию всю поднял бы до самой Костромы... Свое Никодимыч здорово бережет... Распродавать теперь голубей собрался. Отвозит куда-то парами на «Ниве»...

— Чего-то выдумал...

— А кто его знает... Жаль, если распродаст: без голубей и небо не такое...

Глава VI ФОМКИНО ПОЛЕ

На той стороне речки Иношки могуче высился сосновый бор, а справа от него, в широкой, некогда заболоченной низине возделали картофельное поле. Мелиораторы прокопали по окрайкам низины глубоченные канавы, — низина высохла, и ее вспахали под картофельное поле. Однако речка как раз напротив низины обмелела, и через нее стали свободно ездить вброд. Заводи и омута переместились по течению ниже, ушла туда и крупная рыба, а здесь на изгибах у пере-

катов остались только гольяны. Тут их, как видно, не жрали щуки, и развелось их великое множество на радость деревенской мелкоты — всем первоклассникам, второклассникам и даже дошкольятам, что спозаранку дергали рыбешек на удочки и кормили той добычей своих кошек и котов. Иные кошки или коты приходили к речке вместе с рыбаками. Бывал тут и Котофеич в пасмурные дни, потому что в дни солнечные не выносил отблесков света с воды.

Фомка только что приноровился к поклевке, как заслыпал галдеж. Оглянувшись, он увидел, как с горы с лопатами и мешками сыпал наперегонки шестой «Б», за ним — еще другие классы, что с воскресенья были направлены на помощь в колхоз. Под шум и крик, восторженный и неуемный, мальчишки мчались копать картошку. Все формулы по алгебре и геометрии остались позади: простор и воля — без потолков и стен — распалили буйный дух школы, и даже четвертый класс напростился убирать плети с картофельного поля. Младших, вообще-то, не брали, но иногда разрешали помочь старшим в работе.

Форменные куртки, брюки, белые рубашки, фартуки, тетради, авторучки — все было оставлено дома: на картошку шли в джинсах, в сомбреро, со спичками и перочинными ножами. Трактор с картофелекопалкой не успел пройти и полгона, когда потянулись вверх дымные струйки первых костров.

Фомка считал это картофельное поле в какой-то мере своим и дней уборочных не пропускал. Он приходил к костру и наблюдал, что и как делают на поле. Фомка не торопился. Он знал, что сразу толку не будет: пока дерутся из-за корзинок, пока делят участки по классам — пройдет часа два, а то и больше. А потому Фомка поймал еще пару гольянов, навесил их на кукан, отнес Котофеичу, поел горячих оладьев, запеченных в русской печи на сметане, и потом уже пошел на поле.

Валька со своим отрядом шестого «Б» решил захватить крайнюю полосу к речке. Солнце, пробегая над лесом, хорошо прогревало ту сторону поля, картофельная ботва кустилась, а в гребнях родились картошки крупнейшие. Валька наметил для каждого звена рядки, объявил соревнование, — и работа началась. Из одиннадцати человек каждого звена четверых самых сильных Валька велел поставить позади остальных. Первый ряд быстро набирал корзины, четверо, что шли сзади, таскали их к бурту.

В шестом «А» вперед вырвались самые сильные и помчались по полю хватать картошку покрупнее.

За ольховым гребнем ловко и споро работал седьмой класс. Маргарита Тихоновна глянула мельком на крепких ребят, похвалила, и все внимание двух учителей и завуча сосредоточилось на работниках помельче.

По здравому расчету Валька надеялся вырваться в передовые. Он видел, как шестой «А» отстал безнадежно, а седьмой брал картошку за ольховым гребнем, где сбору хорошего нет. Валька был строг, подтянут и деловит. А между тем он постоянно чувствовал, как издалека за ним наблюдает Светка. Четвероклассники собирали ботву и складывали в кучи. По совету агронома, ботву сжигали, чтобы озолить закисленную торфянистую почву.

К обеду Валькин отряд почти добрал дневную норму. Беготня понемногу улеглась повсюду: мальчишки не орали, не свистели, не пуляли друг в друга картошками, не вставали на дуэль — у каждого ныла спина и саднили руки. Ребят потянуло к кострам. В огонь поддали валежника, и пламя затрещало по сучьям, запело. Оранжевый жар пробился сквозь дрова, змеистой синевою потянулся дым, и огненное взгривье пламени рванулось вверх.

Мягкая леность утихомирила, обласкала, успокоила ребят. У костров сгрудились, и пока Маргарита Тихоновна подсчитывала с учительями, сколько собрано картошки, славно было греться у костра. Отборную картошку затеялись печь.

Фомка пришел на поле к началу работы. Он ходил по взрытым рядкам и время от времени показывал: «А эту картошку чего не берешь?» Сам выискивал остатки, складывал в корзину и относил к бурту.

— Эх вы, какие с вас люди, — сказал Фомка у костра, — картошины печь не можете.

Он выбрал округлую гладкую картошину, зарыл поглубже в горячую золу и стал ждать.

— А тебе картошечек жалко? — спросил Трошка.

— А как же. Чего зря жечь. Уж лучше на поле бросить.

— Это чем же лучше?

— А сюда поросенки из лесу ходят кормиться. Я с баушкой на заре встаю. Каждый раз с горы вижу. Два их... Пусть они и съедят.

— Два их! — передразнил Трошка. — Спросонку у тебя в глазах двоится.

— А Фомка не врет, — подтвердила Светка. — Мы сами видели, как там по полу копытца напечатаны.

— Чьи копытца? Ты знаешь? — не унимался Трошка. Овца прошла, а вы ее со свиньей перепутали! — он победно глянул на Светку. — Спорим, что так?

— Давай! — обернулся Фомка (он подправлял в золе картошку).

— С тобой? — подивился Трошка.

— Со мной.

— Об чем?

— Об щелбане хочешь? — спросил Фомка, сощурив быстрые глаза.

Он заложил за спину руки и смотрел на Трошку снизу вверх.

— Только уговор, — продолжал Фомка, — ты пригнешься, а я тебе — щелбана.

— Ладно, давай, — согласился Трошка. — Пошли, покажешь своих поросенков!

— Идти далеко надо, вон туда по просеке, — показал Фомка.

— А зачем туда? — спросил Валька. — Там много следов понабито. Мы с Михой видели. И там речка идет. Но мы туда не пошли... Потому что следы есть другие, налапистые — во! — растопырил ладони Фомка. — Вдоль лужины на тине они.

— Эх-ха! — усмехнулся Трошка. — Значит, пойдем за десять верст вранье искать. А ты покажи! Тут покажи следы.

— Можно и тут, — согласился Фомка.

На край поля повалили толпой.

— Не забегай! Не забегай! — придерживал Валька. — Следы затопчете!

У самого леса нашли четыре подкопанных куста и дорожку от небольших копытец.

— Это-то что! — Трошка пнул картофельный куст. — Нет, ты мне покажи! Покажи своих кабанов!

— А если покажет? — спросило Светка.

— Хорошо! Пусть, — не отступался Трошка. — Приду к нему на заре.

Трошку заело. Получить щелбан от фомки ему, такому здоровому, было бы величайшим позором. Трошка решил посмотреть Фомкиных кабанят завтра на рассвете со двора.

— Завтра приду к твоей бабке, — обещал он. — Погляжу — и тогда получишь...

— Не к бабке, а к баушке, — поправил Фомка, поджимая пухлые губы. — Если будешь так обзываться, я в лоб из рогатки запеплю...

— Слыхали?! А! — замахнулся Трошка. — В школу только пошел, а как со старшими разговаривает!

— Ну ты, — заступил дорогу Валька. — Спор есть спор.

— Правильно! — поддержала Светка. — Махать кулаками любой дурак может.

Пока судили, что и как, испеклась картошка. Вернулись к костру. Фомка выкатил свою картошку, достал из кармана складной ножичек и жестянную коробочку с солью. Он доскреб пригоревшую кожуру до коричневой подпалины, посыпал сольцы, сморщил нос и прихватил зубами запеченный картофельный бок.

— Фомка, дай сольцы... — запросили у костра.

— А вы что без соли на картошку ходите?

— Забыли...

— Ладно, отсыпай, — Фомка великодушно подал коробок.

— А баушка говорит: кто везде торопится, с того нигде толку нет... Вы вон картошку в пламя посовали — теперь горелую глотаете. Картошка что надо получается, когда жар сгрудится, а вы всю ее жгли.

* * *

На заре Трошка к Фомке не пришел: проспал нарочно, чтобы избавиться от щелбана. А к кабаньим набегам проявил любопытство Иван Федосеич, бригадир.

— Колхозу эти свинячий дела в копеечку встали в прошлом году. В соседней бригаде кабаны бурт взрыли, и промерз весь семенной запас. А ну-ка, следопыт, покажи, где ты этих чертей видел, — обратился он к Фомке.

— А я не один, я с Михой видел...

— Тогда зови и Миху своего. Это Васильев сын, что ли?

— Он.

— Ну тогда все в порядке. Вы мне покажете, где что смотреть, а я погляжу — какое кабанье стадо на нашу картошку набегало... Похоже, не придется нам семена на поле заложить. Жаль — хранилище у нас маловато...

Фомка позвал Мишку. Бригадир усадил обоих в телегу и пустил коня шажком туда, где по приметам должны объявиться кабаны.

Телега ползла по кочкам; изредка колесо упиралось в пень, и тогда бригадир круто поворачивал коня, чтобы наискосок оббежать препятствие. Наконец-то конь вывез телегу на заливной луг в трех километрах от картофельного поля. За лугом петляла через ольховник речка Иношка. По отлогому скату к речке набилось мелколесье, сквозь которое виднелись заросли камыша и кое-где чернели початки рогоза. На средине луга темнело широкое проплешье: во время половодья в луг сносило много тины, которая потом высыхала, устилая дно, а по осени, с дождями, снова превращалась в вязкую, плотную грязь.

Бригадир остановил коня. Слез с телеги, скрипя протезом, накинул вожжи на куст.

— Ну, показывай следы!

Фомка с Михой повели его к узенькой тропе, пробитой из ельника к низинке. Иван Федосеич сначала осмотрелся, а потом прочел по следам все, что тут было и что есть. Охотник давний и ярый, Иван Федосеич за последнее время мало был в лесу. Когда вернулся с войны, то лет двадцать кряду мял моховища и тропы. Бывало, еле добирался до дому на разбитом вдребезги протезе. Но минуло сорок лет — и заболела спина

у старого солдата, захрустели суставы, и перестал Иван Федосеич бродить по лесу. Теперь сын его, Натоха, осваивал лесные тропы там, где позаросли следы его отца.

На лесной тропе, пропитанной дождями, отчетливо впечатался некрупный, расщепленный кабаний след, за ним тянулись острые, мелкие тычки порослячих копытец. Такая пропись довольно странно выглядела осенью: уж очень невелики были кабанчики — в половину, а то и в треть величины для той поры. «Наверно, мать у них была молодою, — толковал Иван Федосеич. — Явились на свет не ко времени — не как положено в апреле, а к лету. И сами-то были с орех...» — «Зато бегают шибко, — вспомнил Фомка. — Только глянешь и уж нету».

По всем приметам в теплое время кабанья семья выходила к илистому мелководью речки Иношки, сбегавшей здесь по перекатам из лесу в широкий распадок, заполненный осокой и камышом. На мелководье и по берегам водилось вволю лягушек, головастиков, червяков и змей. С лягушками и головастиками кабанята, надо полагать, управлялись, чавкая от удовольствия, а змей едят только взрослые кабаны.

С приближением холодов кабаны семьи тянутся к полям, где добирают остатки картошки, подрывают бурты с семенными запасами, а потом идут в сухие рощи, минуя первую острую наледь промоин и ручьев. Молодая семья, видно, задержалась на месте дольше других, потому что вода, укрытая в распадке, прогревалась на затишье днем, и сползла сюда всякая мелочь — жуки да червяки — хороший прикорм для кабанов.

Кабанят ходило за матерью сначала четверо. Они разбегались по сторонам, лазали по тине или ворошили носами мокрую лесную прель. Свежих следков Иван Федосеич насчитал только два. За старели, а где и совсем пропали следы матери. Каких-либо примет, что объясняли бы пропажу, не нашлось на всем пути, начиная от ельника, где семья ночевала на сухом хвойнике, и кончая рекой, куда ходила на кормежку.

Волки по осени здесь себя неглашали. И волчьих пробежек на кабаньей тропе не обнаружилось. Даже медведь, шаставший по округе, так был сыт, так много накопил под мягкой шкурой жибу, что обходил кабаны лежки и не совал свой нос к свежепахнущим вмятинам копыт.

И вдруг на закрайке низины, тинистом и ровном, Иван Федосеич нашел отчетливо продавленный след, окружлый и мягкий, без четких просадин когтей. Это был как раз тот след — налапистый, о котором рассказывал Фомка. На кабанью тропу вышла рысь. Такие большие лапы могла иметь рысь весом килограммов около сорока и в длину побольше метра. Иван Федосеич сказал ребятам, что рысь любит жить в

одиночку, а логово прячет в чащобе, на взгорье или в пещере, что рыскает она по ночам. Голос у ,рыси писклявый, дребезжащий, похожий на скрип рассохшейся двери. Рысь губит глухарей, тетеревов, зайцев, губит взрослых и птенцов, но подступает к кабанам только в крайнем случае. Иван Федосеич пока не выяснил, что заставило хищную одиночку взяться за кабаний промысел. Он рассматривал следы и места вокруг.

Речка Иношка, петляя от переката к перекату, терялась далеко за камышовым разливом, но проблеск воды ясно виделся не там, а на выходе из крупнолесья в другой стороне распадка. Там, в глубине лесной, по ту сторону, вздымался обрывистый берег с мощными соснами по склону, которые могли хорошо скрадывать рысиную дневку.

Левобережье на выходе из леса теряло крутизну, переходило в пологую долину, и только над последним перекатом, узким и шумным, держалась проросшая корнями круча. Громадный сосновый кряж съехал оползнем к реке и рухнул поперек воды, подпирая длинными ветвями брововую плотину. Бобры напичкали в свою плотину хвоста, вода журчала и кипела за плотиной и никогда не замерзала на каменистом перекате.

— Рысь — не волк и добычу свою не гонит, — объяснял Иван Федосеич. — Где-то здесь она кабанят караулить должна. Да не в мелколесье. Ей дерево нужно, откуда прыгать).

Иван Федосеич прислушался к шуму переката.

— Вон там — узенькая стежка, — указал он на пробитую в траве полосу. — Тут они идут к речке, а караулит их рысь где-то там.

Узкая, копытцами убитая стежка повела в сторону переката и оборвалась вдруг, потом проникла сквозь кручу и обнаружилась снова под рухнувшей сосною, которая легла над перекатом.

— Ну и ну,— усмехнулся Иван Федосеич. — А вон и лапы рысиные, — он указал на царапины по коре и грязные отпечатки лап. — Вот как раз на этой валежине она и ждала.

Не ко времени по тропе прошли кабанята. Рысь ловила чуткими ушами каждый шорох, каждый писк. Кабанят сначала услышала, а заметила потом — на тропе, сгорбленных от утреннего холода, со взъерошенной на загривке щетиной. По гибкому телу хищника волной прокатилось напряжение. Рысь припала к дереву, и серые пятна ее шерсти стали похожи на мелкие нарости лишайника на коре, на проталины в снегу.

Кабанята шли не торопясь — прямиком на поваленное дерево, туда, где плотина и круча. Только метров за семь от

нависшего дерева они стали и насторожились. Иван Федосеич показал на утоптанный кружок земли. Кабанята стояли здесь, навостривши уши, вздернув пятаки. У кабанов чутье отменно острое. Они что-то понимали, выбирая момент. Потом в мгновение, как два стремительных веретена, вдруг ринулись вперед. Прыжок — и сверху на них метнулась рысь. Но не хватило ей всего лишь полсекунды: кабанята исчезли. Рысь разлаписто упала на землю, встряхнула головой, понюхала темный провал земли. На ровном взгорье, проникая через кручу, шел сквозной бобровый ход. Бобры там, где берег слишком крут, прокапывают кручу от воды. Нора получается широкая — впору для собаки. Новую плотину бобры соорудили выше, а старый ход остался. Размытый вешним паводком, он как раз уводил под обрушенное дерево, к мелкому перекату за бобровой плотиной. Когда рысь прыгала сверху, кабанята ныряли вниз. Выскочив у плотины под нависшим деревом, они удирали на тот берег. Редко рысь дает промах, но, если промахнулась, добычу не преследует. Она, видимо, никак не могла взять в толк, куда и как, прямо из-под лап, исчезли кабанята.

Опасность утомила кабанью семью. Два кабаненка с матерью совсем ушли на тот берег. Два других кабаненка отбились и пошли кормиться ближе к селу на картофельное поле. За тех, что ушли, беспокоиться не приходилось. В ноябре кабаны собираются в стада. Такому стаду, где есть кабаны-секачи, навряд ли кто страшен. Но те, что остались, должны были погибнуть. Иван Федосеич отыскал еще один след — хромого рысенка, который или родился таким, или попал в беду совсем еще маленьким. Мать кормила его. Сначала пообрала в округе птиц, зверьков помельче и пошла за кабанятами.

— Ну что, мужики, — сказал Иван Федосеич, — придется мне Натоху звать, сына моего. Пускай добудет рысь либо прогонит отсюда, не то пропадут наши поросенки.

— С голodu подохнут все равно, — заметил Миха.

— А этого мы не допустим, — снимая вожжи с куста, обещал Иван Федосеич. — Вот приедем с вами на поле, скажем, чтобы всю мелочишку картофельную с края поля ссыпали. Ну, насыплем центнера три — убыток невелик. Закроем ботвою, сверху землей присыплем, и будут ваши поросенки зимой тут кормиться. Здесь ведь, скажу вам, мужики, в чем задача: вон он, этот поросенок, бегает по лесу никем не кормленный, никем не ухоженный, и затрат на него никаких. А будет их стадо — возьмет человек, сколько надо ему, чтоб не перевести, конечно, всех, не разорять напролом...

Глава VII ГРИШКА

Иван Федосеич усадил ребят в плетеную тележную кошелку. Конь медленно-премедленно стронул с места и, тягуче переступая, пошагал в обратный путь.

— Дядя Иван, а что он такой ленивый? — спросил Фомка.

— А он не ленивый — он медленный, — Иван Федосеич повеселил Чалого вожжами. — Он от породы такой. Я его отца еще знал. Был у нас в колхозе другой такой конь — Гришка. И масти одинаковой, и помедленней этого еще.

— Да уж куда медленней... — хмыкнул Миха. — Мой батька такого коня и держать бы не стал. Враз бы запродац. У цыган таких коней не бывает.

— Ну то у цыган, а то в колхозе. Отец твой, не спорю, в конях понимает. Только и кони разные бывают: одни для пробежки, другие для работы. А тот конь, отец вот этого, был конь у нас почетный.

— А где ж тот конь, что был почетный? — спросил Фомка.

— Как где? Пал давно... Там на горе за селом мы его и зарыли — с почестью... Хорошо послужил. Ему, коню тому, мальцы этакие, как вы, да еще и помельче, жизнью обязаны...

Солнце, уже отяжелевшее, усталое, наливаясь предвечерним пунцовым жаром, медленно сходило в далекую просину над лесом, и, пока телега еле-еле ползла через порубки к полю, Фомка с Михой узнали историю про Гришку — колхозного коня.

— Сорок лет минуло, а запомнилось, — говорил Иван Федосеич. — Я тогда совсем молодой был. Вернулся домой по ранению. И ведь надо же: каждую сосульку на крыше и ту как сейчас вижу, — в конце февраля как раз...

В то время около бревенчатой конюшни, в затишье, у наивной кучи стоял колхозный конь Гришка. Распустив уши и развесив губы, он дремал, пригревшись под февральским, теплым не по времени солнышком, и весь он — от хвоста до головы сытый и копытистый — выражал собою тягучую медлительность и лень. И верно: запрягали Гришку в крайнем случае, в самую что ни на есть распоследнюю очередь, и доставался он тому, кто приходил на работу попозже.

Гришка был ленив немыслимо, истощно. В упряжи, с хомутом на шее он мог передвигать ногами с такой душу изворачивающей неспешностью, что ездок, истерзанный, изведенный, вскакивал с саней или телеги, с воплем кидался под лошадиную морду и тянул за повод сам, чтобы взбодрить хоть на полшага клоповое передвижение по земле.

Хлестать Гришку было делом вовсе бесполезным. По первому удару кнута он враз тормозил четырьмя копытами, при-

жимал уши, клонил голову вниз и начинал лягаться. На каждый счет кнута он отвечал ударом мощных копыт — вышибал передок у саней, а летом разбивал телегу вдребезги. А если Гришку тянули за узду, он задирал мослатую морду и шел еще тише.

Зато пахать огороды Гришку брали нарасхват. Тягушой, медлительный, он ровно клал борозду, без рывков и скидок. Землю за лемешным плугом выносило ровной и пухлой волной. В развал кидали семенную картошку, а по второму кругу картошка зарывалась новым отвалом. Дело шло надежно и спокойно. Гришка ходил по кругу, мерно качая крупом, и останавливался сам, когда участок был вспахан и засажен. За добрую пахоту коню полагалась посоленная корочка, которую Гришка жевал, стоя в упряжке, блаженно прихлобучив веки.

Но беда великая возникала именно в тот главный день, когда Гришку давали бабам съездить на базар. Гришка, исконный пахарь, никакой гонки, беготни не выносил. Прогнать его трусцой было так же трудно, как пустить плясать покойника. Но время как раз шло военное, иного транспорта, кроме лошадей, в колхозе не водилось, и всяк бывал рад заполучить хотя бы Гришку.

Тогда и начиналась канитель: еле-еле двигая ногами, Гришка вывозил телегу либо сани за окопицу на луг и вдруг начинал забирать влево по кругу. Зимой было проще: узкая санная колея не давала черту вислоухому съехать в сторону, а вот летом — беда. Бабы тянули коня за правую вожжу, но тот упорно заворачивал влево. Его хлестали, тянули, ругали, но Гришка заворачивал и шагал назад в село. А взнужданный совсем не шел: вставал на дыбы либо лягался.

Но вот скопом, наконец-то, кругов через пять, под брань и злые слезы Гришку направляли по дороге, а возвращались на нем — слава богу, если затемно, а то и под утро.

А между тем бегать Гришка мог легко, приемисто, машисто.

На обратном пути, километра за два до села, зачувяв запах конюшни, Гришка ставил уши торчком, высвечивал сине-четные повеслевшие крупные глаза и шел в упряжке сам, стремительно и четко выстилаясь над землею. Его широкие и крутые копыта откидывались чуть наискось и в стороны и с размашистым мощным взметом давали такой рывок, что седоки держались, кто как сумеет. По той причине Гришку запрягали только в длинные оглобли, иначе он ранил о передок повозки задние ноги.

Ежедневно Гришка переходил из рук в руки, и уж верно потому привык не признавать ни окриков, ни понуканий. Могло ли это свойство быть лошадиной мудростью — кто знает. Но там, где другие лошади запальчиво срывали себе жилы, Гришка делал трудную работу с постоянной равномерной силой.

Но вот зимой 1942 года фронт, надвигаясь с запада, пригнал в здешние места очень много волков. Они убегали с обжитых мест от грохота и смерти, зимой объединялись в стаи по тридцать-сорок голов в каждой и были страшны, голодные и злые. Запомнился случай: глубоко в тылу двенадцать солдат всю ночь отстреливались от волчьей стаи. Кончились патроны, и если бы не штыки, солдаты не остались бы в живых. По скромным подсчетам они отбивались от стаи примерно в сто волков.

Однако после Сталинградской битвы фронт откатился на запад, а волки остались. В феврале правление колхоза решало срочный вопрос: как отправить детей беженцев на станцию, а там — на юг страны, в места хлебные. Все отдавал фронту колхоз, а сам еле кормился.

От села до станции дорога в шестьдесят верст, и все прошелком — от села до села, от деревни до деревни, по увалам, полям, перелескам. Тягло колхоза — волы да лошади, изморенные бескорミцей, едва справлялись с повседневной работой. Только конь Гришка оставался гладким, как арбуз, — на нем не прощупывались ребра. Крепкими кремневыми зубами Гришка перемалывал солому, веточный корм, вообще ел все что угодно — даже мерзлую рыбешку, которая застrevала в плетеных вентерях. Удивительный был зверь этот конь Гришка: на его мослатой губошлепой морде явно пряталась усмешка. Округлый, сильный, он только в том случае проявлял большую прыть, когда пытался удрачить обратно в конюшню.

На колхозном правлении долго рассуждали и наконец решили: кроме коня Гришки в хозяйстве нет иной скотины, что пройдет до станции шестьдесят верст. Медленно, но верно — Гришка довезет.

К большущим розвальням приделали спинку, вложили плетеную кошелку, нарастили борта, постелили сена. Поверх сена накинули широкую валянную полость, в санные завертки вкрутили длинные оглобли. Из семенного фонда колхоза для Гришки отсыпали меру овса. Ребятишек всех — четырнадцать человек — усадили плотно друг к другу, укрыли тулупами.

Иван Федосеич, в полуушубке, поплотнее надвинул рукавицы треух.

— Гей ты, веселый! — крикнул он, и Гришка, двинув плечами, тронулся в путь.

Съезжали от села спозаранку. Седой морозный пар окунул шапки и воротники. День восходил морозный, тихий, но тускловатый и короткий. Стоило поторопливаться: сумерки набегали все-таки по-зимнему, рановато. Но конь — тварь живая, он устает, его надо кормить, и тот пробег, что машина нынче делает за час, воз тягловый в те годы проползал за сутки.

Гришка послушно тянул большущие сани и часа за три с половиной одолел километров двадцать. Иван Федосеич свер-

нул с набитой колеи к деревне и остановился у саража. Не распрыгая коня, он отпустил подпругу и чресседельник, задал Гришке сена и укрыл его заинdevевшие бока тулулом овчиной вверх: за два часа необходимой передышки конь мог остыть на морозе и долго чахнуть потом в худобе и слабости.

Ребят завели в избу погреться. Иван Федосеич вынул из холщевого мешка круги мерзлого молока, положил в чугун и поставил в печь. Ребятишек напоили теплым молоком, и они повеселели.

Гришка наедался быстро. Охапку сена он источил за час, подобрал все озубки, что накрошились на снег, расслабил зависшее тело и заснул стоя.

Уже завечерело, когда отъехали от деревни километров на десять. Оставалось еще столько же, чтобы определиться на ночлег. Морозную мертвую тишину разрезал скрип полозьев по застывшей накрепко дороге. Малиново-красная вечерняя заря разлилась в полнеба, напитала багрянцем пухлую громаду низких туч, которые настилались с запада вслед тоскливо оди-ноким медленно ползущим саням. Мир, стылый, тревожный, должен был, казалось, с минуты на минуту зазвенеть ледяным немолкнущим звоном. Но по мере того, как убывала заря, куда-то исчезало и это созвучие тишины и багряного света, пока не заглохло совсем в кровавой полосе угасающего солнца. И тогда всех, кто сидел в санях, охватил безотчетный страх, предчувствие чего-то неизбежного.

— Гей-гей, вислоухий! Заснул! — прикрикнул на коня Иван Федосеич, чтобы взбодрить самого себя.

Но Гришка вдруг фыркнул, затрусиł по дороге, кося настороженными глазами.

Колея тянула на подъем, а Гришка, не сбавляя хода, вынес сани на взгорок. Отсюда стал виден лес, охвативший полукружьем поле слева, а справа — пологий снежный уклон по широкой равнине к оврагам, поросшим корявым мелколесьем и кустарником.

Впереди на дороге легло перепутье — другой санный ма-лоезженный след. Главная колея вела в лес, а поперечная уводила в сторону, через поле и пропадала где-то за реденьким оголенным осинником.

Съезжая со взгорка, Гришка все сильнее и сильнее прибавлял ходу, вдруг прижал уши и, хрaxя, помчался во всю рысь. Иван Федосеич глянул в сторону оврагов и там увидел в косом свете вечернего зарева что-то схожее с овечьим стадом, голов в тридцать. Стадо сдвинулось, засуетилось, и на поле выскоцил большой матерый волк. Он даже издалека отличался от прочих мощным загривком, длинной тела и хвостом, пушистым» и оттого коротковатым. За ним потянулась цепочка

волков помельче. Стая все набегала и набегала из кустов, и волки то припадали носами к снегу, то вскidyвали морды, чтобы схватить запах верхним чутьем. Все быстрее и быстрее — они уже в намети плавным угоном помчались в сторону саней. Впереди настился над снегом вожак, остальные неравномерным клином рассыпались по полю.

— Дядя Иван, гляди — собачки! — крикнул мальчуган четырех лет, но тут же осекся, побледнел от внезапной тревоги на сердце.

Вожак сделал скачок, второй, третий — и помчался наискосок, наперез саням. Стая раскинулась полукольцом и, забегая вперед и сзади, понеслась вслед, завихря морозную пыль.

Законы в стае беспощадны. Волчья стая ведет гон определенным порядком. Впереди — вожак или матерая волчица. Ближе к вожаку, позади, идут более сильные волки, потом молодняк. Нарушение порядка, особенно зимой в голодную пору, карается нередко смертью. Волки разрывают и жрут молодого и чесчур прыткого волка. Молодняк жмется в хвосте, но всегда готов вырвать кусок для голодной утробы. Даже в свалке, когда жертва сбита с ног, старшие висят на шее, молодые рвут ноги. Корову волки кладут наземь за сухожилия задних ног. Исход охоты на коня решает удачный бросок сбоку на шею. Вожак знает: всего лучше рвать шею с первого захода, когда конь волчьей повадки еще не понял и горло свое не бережет. Он косит глазами через спину, готовый ударом задних копыт отразить нападение. И в первый бросок вожак направляет всю силу.

Гришка мчался по дороге, взметая снежный вихрь копытами. Волчья стая настойчиво и плавно сближалась с санями. Первый волк показался шагах в десяти. Он заходил сбоку, опережая сани, и были хорошо видны его глаза, горящие зеленым поблеском. Уши волка были прижаты, морда сморщена легким оскалом, а глаза азартно и злобно целились куда-то вверх. С секунды на секунду волк готовился взвиться в броске, полоснуть коня зубами по горлу и явно выверял удачу. Волк испытал, похоже, не раз, как конь, перехлестнутый болью, дает неверный сбитый скачок, а на нем уже повисли три-четыре волка.

Гришка высоко выбрасывал вперед широкие копыта. Он хралел и одичало косил глазом на матерого волка. Волк вдруг вскинулся на бегу раз, два и в третьем сильном скачке взвился серой тенью в воздух. Но Гришка рванулся в сторону, и тупой конец оглобли ударили волка. Волк перевернулся, попал под задние копыта, и сани переехали его. Конь сбился с твердой колеи, забирая влево, поскакал рывками по глубокому снегу. Волки сгрудились, рванулись за санями, а Гришка вымахал к перепутью, которое вело куда-то в редкий оголенный осинник.

Ощущив твердую дорогу, Гришка снова перешел в стремительную рысь. Необычным, удивительным был бег могучего коня. Мощный взмах копыт отбрасывал снег так круто и резко, что комья вихрем взметались по бокам, и от того казалось: ноги коня смешались в кипящем, страшном водовороте, который не дает волкам подступиться близко. Волчья стая теперь была позади и не шла наперерез. Помятый санями вожак отстал, и волки гнались вразброс, без строгого охвата полукружьем. Большинство их мчалось друг за другом по дороге, где лапы не вязли в снегу.

Иван Федосеич не гнал коня, — он держал вожжи и боялся пуще всего, чтобы где-нибудь на раскате никто не выпал из саней. Фронтовик, без ноги, он бросился бы в волчью стаю и накрыл собой ребенка. Беда, что не было спичек. В войну где их было достать, и люди завели кресала. Кресало — стальная пластина — и кремень к ним — фитиль или трут. С удара высекались искры, затлевал дымный фитиль или пахучий трут — сваренный в золе, высушенный и размятый древесный гриб.

Волки приближались. Иван Федосеич вынул из-за пазухи кресало, замолотил стальной пластиной о кремень. Едким дымком занялся фитиль. Искры и запах дыма насторожили волков. Они немного отступились на гону и зашли по сторонам, когда дорога врезалась в осинник. Редколесье не мешало волчьему разгону. Лесные звери, гибкие и ловкие, они проникали сквозь деревья легко, плавно. Лес волка не держит.

Теперь стаю вел другой волк. Он, вероятно, чуял, что принял власть вожака, и потому азартно и лихо приблизился к саням. Иван Федосеич резанул его длинным кнутом по оскаленной морде. Волк, скребнув лапами, метнулся с колеи. Лес расступился — впереди показались дома.

Гришка внес сани в первый разгороженный двор. С разлета ворвался в коровий хлев, и сани заклинило в дверном проеме. Матерые волки метнулись прочь, а молодняк промчался до деревни. Из ближнего двора в них саданули картечью.

В деревне переночевали. Утром Иван Федосеич попросил ружье, но во второй половине пути даже лис не встретилось на полях и в перелесках: зверь понимает, когда человек вооружен.

С той поры Гришку никто не погонял в колхозе ни хворостиной, ни кнутом. Идет себе — и ладно. Его не забраковали и не сдали в мясопоставку. Он умер на вольной воле и от страсти. Его похоронили за селом, поставили низенький столб и прибили дощечку: «Гришка, конь. Прожил в колхозе 42 года».

За многие годы столбик сгнил и место сравнялось, а рассказать о том давно не припадал как-то Ивану Федосеичу случай. Разве что к слову пришлось, когда Миха, сын цыгана Василия, совсем забраковал Чалого, прямого потомка того

коня. Парень Фомке ровесник, а понимает в лошадях лучше иного взрослого.

— Вот так-то, Михаил Василич, — выходит, зря ты коня-то этого хулиши: он тому коню самая близкая родня, — попрекнул бригадир Миху. — В коне, что в человеке, — сила по характеру. Иной скакун с колокольчиками, а иной работник, в борозде... Тут всякому своя дорога. Вот, гляди-ко, мы и пропеску миновали, и не вывалил нас конь нигде, а то, мужики, дело самое последнее — опрокинуться дорогой.

Глава VIII БРАТЬЯ

Четыре дня кряду на ближнем участке шестые и седьмые классы собирали картошку. По совету Ивана Федосеича небольшой бурт из картофельной мелочи насыпали для кабанят на краю поля около леса. Чтобы не отвлекать старших ребят от дел более трудных, сооружать маленький бурт поручили четвертому классу. Фомка с Михой оказались тут как тут. Фомка старательно собирал картофельную мелочь в небольшое ведро. Миха от такой работы вскоре заскучал и стал швырять картошку в сторону леса.

— Миха, ты почему не работаешь? — спросила его Светка.

— А с чего это я на всякое свиное рыло работать должен? — взглянул лукаво Миха. — Жрать захотят сами все найдут.

— Но они же еще маленькие...

— Подумаешь, свиной детсад.

— Ты просто лодырь, Миха! Филон!

— А ты пороссячья воспитательница!

— Кончай, Миха! — посоветовал Фомка. — Лучше домой иди.

— Как увижу — батька по горе сено повез, так сразу и уйду, — обещал Миха.

Миха ушел, а Фомка остался на поле: во второй половине дня Маргарита Тихоновна обещала подвести итоги. Фомка то там, то тут старался выспросить у всех, какому классу дадут первое место. Он подходил к учителям, к Вальке, топтался возле основного бурта, из которого свозили картошку в хранилище, и все поглядывал в сторону седьмого класса «Б».

Наконец-то после обеда учителя занялись подсчетами. По всем приметам победить должен был шестой «Б». Но как только результат прикинули на бумаге, получилось, что в передовые вышел седьмой «Б». Последние два дня седьмой работал без учителя. За старшего оставался Венька Семенов, Трошkin старший брат. Венька, вдруг вежливый и смиренный, сам просил:

— Маргарита Тихоновна, мы хотим, чтобы с нами работали вы. — Валька понимал: чем Венька вежливее, тем больше он врет.

Картошка за ольховым гребнем — мелочь — не картошка. Венька смотрит честными глазами, и руки не помыты — все в земле, чтобы видели признаки труда. Седьмой подвозил картошку у всех на виду. Кошелку с бригадирской телеги сняли и поставили ящик, глубокий — на десять корзин, — так вмещается больше. Каждая корзина на двадцать килограммов. Один подвоз — два центнера. Телега обвилась полукругом картофельную гору, и Венька Семенов кричал:

— Маргарита Тихоновна, зафиксируйте!

— Еще десять... Молодцы, — хвалила завуч.

Телега с ящиком давала полный круг, заезжала по ту сторону картофельной горы, и корзины там опрокидывались.

Светило солнце, развеселое, лучистое, работа спорилась, и цифры росли.

Поле убрали — все до картошины. Мелочь никчемную и ту сложили на краю поля для кабанов. Нестройными рядками классы встали перед Маргаритой Тихоновной и Иваном Федосеичем, и завуч объявила результат.

— По итогам соревнования на уборке картофеля в колхозе «Рассвет» первое место присуждается седьмому классу «Б»!

Никто не видел, как в ряды старших затесался Фомка.

— Жулики! — крикнул он. — Верхние корзинки только в бурт сыпали, а нижние, что в ящике, назад везли!

— А ты видал?! — завопили из седьмого «Б».

— А вот видал! А кто Трошке обещал наподдавать, если вам три корзинки не сопрет? Или если проболтается?!

— Врет он!

— Ну-ну! Вы, большие! — Иван Федосеич поднял кнут. Седьмой притих.

— Это как же, ребятки? Не чисто здесь, значит. Так, говоришь, Фома Григорич, надули нас?

— Вот и говорю: жулики! — чувствуя защиту. Фомка наступал. — Валькин класс во как работал! А эти...

— Ах ты, салага! — Венька подошел к Фомке вплотную, с ненавистью глянул сверху вниз и дал Фомке щелбана.

Фомка вздрогнул, пошатнулся и вдруг вцепился в Веньку зубами.

— А-а-а! — завыл Венька, отдирая Фомку за уши.

Спасали Фомку скопом. Кто-то схватил Веньку за шею, кто-то за руки. Фомка разжал зубы, отступил, потер набрякшие помидорной наливью уши.

— Эх... — всхлипнул он, — а еще комсомольцы скоро будете... — И, пряча слезы, побежал домой.

* * *

Когда ушли учителья и уехал бригадир, отряд собрался у речки.

— Мужики! — сказал Валька. — Говорить с предателем будем! Трошку, выходи!

Отряд зашевелился. Чуть в стороне стали девчонки из шестого и Светка из четвертого «А» с двумя подругами.

Трошку вышел наперед, свесив руки и набыччившиесь.

— Корзинки спер? — спросил его Валька.

— Спер...

— Какие?

— Пустые...

— Зачем?

— Чтобы лишние в ящик поставить и туда-сюда возить...

А то верхние корзинки в ящик заваливаются...

— Ну, что будем? — Валька оглядел отряд.

— Понавешать ему надо!

— На собрании не положено!

— Тогда после!

— И после нельзя!

— Надо спросить его, как он думает исправляться, — предложила Светка.

— А я почем знаю, — Трошку пожал плечами. — Если бы я корзинки не взял, мне и на улицу было бы не сунуться...

— Значит, трус, — сказала Светка. — Настоящие парни так не делают.

— Ты брата, что ли, боишься? — спросил Валька.

Трошку поежился.

— Они всех нас сильнее...

— А это кто тебе сказал? — подался вперед Колька. — Подумаешь, на год старше — так и силачи! Это только ты своего Веньку боишься.

— Его брательник и дома ничего не делает — все Трошка за него, — подсказал Федька Глунин.

Трошку покраснел.

— А еще он ему щелбанов дает, — продолжал Федька, — когда заскучает. И курит. И Троху заставляет.

— Так... — помедлил Валька, соображая, что тут предпринять. — Я вот что предлагаю...

* * *

Шестой «Б» пришел на гумна, когда седьмой класс уже был там. Шестой стал полукругом напротив гуменного отвала, на котором сидел Венька с друзьями.

— Ну, зачем приползли? — спросил Венька и пустил кверху

колечко сигаретного дыма. — Хмырики... И этот туда же? — кивнул он на брата.

— А тебе-то что... — насупился Трошка.

— Герой! — Венька рассмеялся. Он протянул в сторону Трошку кулак, но Трошку вдруг сильно оттолкнул его.

Венька опрокинулся, съехал за гуменный вал, забарахтался в крапиве, брыкая толстыми ногами. Он вылез из крапивы, ошелевший и встрепанный. Такого он от брата не ожидал и теперь растерялся.

Седьмой «Б» молчал. Венька скользнул по лицам и не нашел ни одного из ребят, кого он в своем классе не задел, не обозвал бы, не щелкнул. И понял, что сейчас ему достанется. Стиснув кулаки, он затравленно глянул по сторонам.

— Ладно, братва, — сказал Валька, — пусть исчезнет. Ребята расступились. Ссгутившись, Венька прошел сквозь строй.

— Заденешь Троху — пожалеешь! — крикнул Колька ему вслед.

Венька знал, что здесь, на гумнах за подворьями, свои законы, неоспоримые и твердые. А Трошке молча смотрел брату в спину.

— Что, Троха, худо? — спросил Валька, заметив, как Трошка приуныл.

Трошка молчал.

— Братан ведь... — наконец сказал он.

Глава IX КУРЫХАН ВЕЛИКИЙ

Фомка не сразу убежал домой. Он посопел, потрогал горящие уши, отер испачканный сажей нос. Зачумазленный и одинокий, он пошел вдоль речки куда-нибудь подальше, за ивовый тальник, посидеть на сухой траве, перетерпеть, пока жжет уши, и умыться заодно.

Было по-летнему тепло и тихо. Умолк ворчавший трактор на поле, заглохли костры, последнюю картошку свезли из бурта в хранилище. Летали еще бабочки, прыгали кузнечики, гудел шмель над взгорком, у речки по голышам ходила трясогузка.

Фомка умылся, посидел, понемногу успокоился. Манеру пережить обиду в тишине и одиночестве Фомка явно перенял от Котофеича, и когда издалека послышались охлест кнута и коровье мычание, Фомке захотелось напиться парного молока.

Первая дымчатая сумеречь коснулась леса, где-то с края села не ко времени и не в срок загорланил петух, и Фомка неторопко, вразвалку направился домой. Хорошо, голосисто орал чей-то петух, а все не так, как Курыхан Великий. Однако в

последние дни началось с Курыханом что-то неладное. «А много лет все было чередом», — так уверяла бабушка Наталья.

Ровно в три часа утра — минута в минуту, когда рассвет охватывал полнеба розовой поволокой, в курятнике на верхней перекладине мощно хлопали тупые крылья и раздавалось густое и хриплое «кукаре��».

Хохлатый, громоздкий, коричнево-бурый петух, сверкнув блестящими перьями, шумно слетал с насеста и басовито кокал, приглашая к началу нового дня. И вслед за ним с насеста тут же летели молодки, грузно валились солидные старые курицы, и все наперегонки бежали доклевывать то, что уцелело там со вчерашнего дня.

Курыхан Великий — так мальчишки прозвали петуха — медленно шел по двору, высоко, важнецки задирая пятки со шпорами. Он осмотрел углы, пошаркал ногами в мусоре и, отыскав там зернышко, подозвал пеструю курочку, которая постоянно бродила чуть поодаль от него. Золотисто-серая пеструшка с желтой рябью под горлышком удостоилась особого внимания хозяина курятника. Никто из бойких глупых петушат не смел к ней приблизиться: толстый клюв Курыхана был намертво.

Старшие курицы распоряжались у корыта. Сознавая власть и превосходство, они раздавали клевки молодым. Одна из них, большая, белая и породистая, вела себя уж слишком независимо: ее почитала хозяйка. Курица все лето оставляла в гнезде самые крупные яйца. Курыхан презирал эту курицу и старался клюнуть ее при случае, когда у бабушки Натальи не темнела в руке хворостина. Тонкую хворостину Курыхан выверял сторожким круглым глазом, покуда во дворе старушка шаркала ногами.

Пестренькую главная курица клевать не смела. И если кто намеревался обидеть ее, то порядок в курином обществе нарушался. Раздавался гортанный всхрип, и Курыхан Великий карал обидчицу ударом и долго гонял ее по двору. Возникал шум и скандал: взлетали перья, кудахтали куры, в соседнем дворе лаяла собака, а на завалинке брезгливо и возмущенно фыркал кот.

Курыхану стукнуло, пожалуй, лет этак восемь. На куриный век — это больше половины жизни, но красив он был, силен и грозен: шпоры, загнутые кверху, рогатисто выступали далеко над пятками; над высокими бойцовскими ногами нависало желто-палевое подперье кружевных штанов; высокое полудужье темного хвоста отливало блестящими лентами, а гребешок и сережки, пунцовые, небольшие и плотные, возвещали о крепком здоровье. В селе ни один из самых ярых петухов не смел затеять с Курыханом драку, и даже кошки и собаки опрометью кидались прочь, заслышиав его скрежет. Иные по наивности пытались посягать на Курыхановы владенья, но

только раз — и больше никогда. Их настигала кара, смертельно жестокая. Курыхан, как смерч, налетал на кота или собаку. Устрашимость его состояла в том, что петух подскакивал на добрый метр кверху и, саданув по шкуре шпорами, бил ключом меж ушей. И не было кота, и не водилось той собаки, чтобы не знала Курыхана. Утратив всякое соображение, метался или мчался от двора побитый Курыханом зверь. Из чувства благородства Курыхан не очень-то преследовал врага, — и к тому же без присмотра нельзя оставить двор. Он возвращался важно, вскинув голову, у калитки хлопал крыльями и во всю мочь кричал: «ку-ка-ре-ку!»

Но с человечеством Курыхан уживался и ладил: ног не клевал, на спину никому не прыгал, однако и подобострастия не проявлял — не спешил к корыту и за кусочками не бегал. Он снизошел до панибратства только с внуком бабушки Натальи Фомкой и запросто кормился у него с ладони — аккуратно склевывал по зернышку, почти не касаясь руки. И хлеб он не долбил с размаху, не сорил крошками, а выбирал ровную воронку в мякише. Ежедневно пестрая курочка в сопровождении Курыхана подходила под окошко во дворе и весело поглядывала вверх: оттуда через распахнутую раму стряхивали крошки, что оставались от обеда. Остальное куриное стадо не смело подступаться близко: Курыхан того не любил. Только на призывные «кокок-коко» куры набегали к окошку. За это время пестрой курочке позволялось выхватывать кусочки по крупнее, и сам Курыхан вежливо выклевывал крошки две-три.

Потом Курыхан целый день медленно вышагивал по двору, коккол или, выгнув шею, оглушительно кукарекал. На его голос отзывались другие петухи с ближайших и дальних дворов, но ни один из них не мог петь сильнее Курыхана. Голос в петушином обществе — знак моши и солидности. Писклявый несозревший голос выдает хлипкое сложение и пугливое житье поодаль, сбоку, где воровское притязание на кур строго наказуемо немедленной погоней, битьем и потерей крупных перьев.

Вечером куры теснились возле Курыхана, чтобы бок о бок провести ночь с петухом. Всех дремотно клонило ко сну, и, если где-то слышалась в курятнике возня, Курыхан строгим «скрекре» предупреждал непоседливых и шумных.

Но вот теперь, к началу осени, когда у клушек подросли цыплята, порядок во дворе нарушился. Цыплята больше не толпились возле матерей и сновали по двору где попало. Молодые петушки пыжились, чтобы объявиться петухами в писклявой пробе голосов. И Курыхан не успевал следить за взрослыми и молодыми.

Фомка видел, сколько забот прибавилось у Курыхана. Он каждодневно подкармливал петуха из ладони, но сегодня Ку-

рыхана фомка не покормил. Фомка пришел домой в сумерки, попил парного молока, залез на печь и устало, истомленно заснул. Во сне Фомка всхлипывал, крутился с боку на бок и впервые за долгое время проспал рассвет.

На рассвете Курыхан похлопал крыльями, издал побудный клич и слетел с насеста. Шустрая стая молодок и петушков, перелетая через головы старших, заполнила двор неокрепшим писклявым галдежом. Солнце, румяное, умытое росой, улыбчиво выглянуло из-за леса и широко раскинуло яркие стрелы косого света. Оно поднималось быстро и незаметно.

Вдруг над двором, беспечным и суевитивым, скользнула быстрая тень. Большая, серая, длиннохвостая птица мелькнула серповидными крыльями и мгновенно бросилась вниз. Ястреб-тетеревятник сдавил когтистой хваткой цыпленка и низко над заборами понес добычу в поле. Цыплята и куры разлетелись веером кто куда. Куры возмущенно раскудахтались, и каждая курица изо всех сил старалась перекудахтать другую в поисках бесспорно виновной — той, что не глянула вовремя в небо.

Курыхан заскрежетал, но не стронулся с места. Он смотрел вслед улетающему хищнику и был яростно взъерошен и зол. С высокого двора просматривалось поле в низине. Ястреб опустился там на кочку близ леса и принялся рвать клювом свою добычу.

На другое утро Курыхан тревожно поглядывал в небо. И ястреб появился вновь. Он выбирал то время, когда во дворе нет человека. Хищная птица ловко схватила петушка крючьями длинных ног. Курыхан ринулся в бой — и не успел: вертким и быстрым был ястреб.

А в канун третьего дня Курыхан взлетел на дерево и остался на ночь там. Такое иногда бывало с курами, если прихлопнется дверная сетка курятника. Однако в сумерки вход в курятник был открыт, а Курыхан взлетел-таки на дерево.

Ровно в три часа утра он заорал «ку-ка-ре-ку!» под самым окошком.

— Сдурел наш кочет-то, — сказала бабушка Наталья, обращаясь к коту.

Пропажу двух цыплят бабушка Наталья пока что не приметила. Она согнала корову, подготовила для Фомки парного молока, успокоила кота полной плошкой, а петух все сидел на ветке.

И ястреб появился снова. Эта настойчивая птица изо дня в день преследует выводок, пока не выбьет всех. Бывало в деревнях хозяева не выпускают кур и держат за сеткой до обеда. А ястреб терпеливо ждет, склонившись где-нибудь на дереве шагах в трехстах от дома. Его серые с дымчатым отливом перья неприметно сливаются с тенью, и можно долго смотреть,

приглядываться, но обнаружить хищную птицу в ветвях удастся очень редко.

На этот раз хищник летел ниже, чем обычно, чтобы упасть, во двор внезапно, когда никто не ждет. Он соскользнул во двор и впился когтями в пеструшку, одиноко бродившую поодаль. Но сверху тут же сорвался Курыхан. Острые шпоры ударили ястреба в спину. Ястреб перевернулся и выпустил жертву. Теперь он лежал на спине, опервшись на растопыренные крылья, а Курыхан насекивал грудью, бил шпорами. Одна когтистая лапа хватнула Курыхана в грудь, вторая впилась в плечо. Загнутые когти вонзились в тело и давили беспощадно, медленно сжимаясь. Тяжелый Курыхан мял ястреба, бил клювом, а ястреб раздирал ему грудь. Но вот желтоглазая, хищная птица не вынесла напора, перевернулась взъерошенным клубком, подпрыгнула на длинных ногах и взлетела на забор.

Курыхан кинулася вслед, но подняться над землею не смог. Он видел, что ястреб упал на поле, и громко и долго кудахтал, возвещая миру нелегкую победу. Потом он успокоился, притих, вспрыгнул на ветку черемухи, низко свисавшую над землей, нахохлился, сник и сидел там весь день неподвижно.

К вечеру бабушка Наталья подошла к петуху, бережно взяла и отнесла в курятник.

Утром старушка нашла его у дверного лаза уже застывшим и непомерно тяжелым. Тут же рядом стояла, не понимая, что произошло, молодая пестрая курочка.

На похороны Курыхана Фомка позвал Миху.

— Ну и чего вы затеяли? — спросила бабушка Наталья.

— А мы его, как коня Гришку, похороним, — отвечал Фомка. — И дощечку прибьем.

На двух палках с подвязанными поперечинами Фомка с Михой утащили Курыхана за огород, выбрали место на склоне у лесочка. Вырыли лопатой яму, насыпали холмик, поставили легонький столбик, но с надписью не ладилось: и фомка, и Миха писали неважнецки, почерком корявым и кривым. Тогда придумали выпилить из фанеры петуха и прибить на столбик. Трудились, шмыгая носами от старания. Работали и стамеской, и ручной пилкой. Сделали птицу, на петуха не очень-то похожую, но с большим раскрашенным хвостом.

Глава X ПЕРЕПЕЛИНЫЙ БОЙ

На лужайке за двором Андрюха Чекмарев, ученик четвертого класса, показывал приемы каратэ. Он выставлял обе руки тычком, взвизгивал и с вывертом лягал вперед ногой — в телеграфный столб или в забор. Чтобы зря не зашибиться, Анд-

рюха надел старые валенки. Его ноги, тощенькие, в трико, торчали, как два карандаша в стаканах. Встопорщенный, разгоряченный Андрюха вошел в раж — неистово дрыгал ногами и визжал. О том рассказал Андрюхе его старший брат, десантник, который недавно во время побывки красовался на селе в особой форме с беретом. Имея такого брата, можно было кое-что показать, и потому Андрюха мотал ножками-мутовками что есть духу, изображая каратэ.

С белым подойником в руке на тропинку вышла Машутка Сильверстова, тринадцать лет, рослая, серьеznая, косы — в руку, ростом выше Андрюхи головы на две. Андрюха выскоил вперед, напыжился, стал, как и полагалось, в боевую позу. «*Йя-я!*» — взвизгнул он, взмахнув ногою в валенке. Машутка валко подошла и нахлобучила ему на голову подойник. Прихлопнула по донышку, по-плотнее придавила. «*Дура!*» — заудел в подойнике каратист.

— Ты знаешь! Ты знаешь! — вспеснулся он, выпростав голову. — Я те вот! — пунцовий от обиды и досады Андрюха негодовал.

Машутка взмахнула подойником.

— Еще захотел?

Под общий смех Андрюха скакнул в сторону.

— Ох, господи, — отзывалась с огорода бабушка Наталья. — И что это делается такое? Насмотрются телевизоров, кино всяких — так в драку и лезут. Намедни фомка пришел — уши, как помидоры соспелые. Спрашиваю: «Где тебе их так распарили?» Молчит.

Валька поднимался по той же тропе в гору. Он замедлил шаг, чтобы выждать, когда Машутка уйдет. Завидев Машутку, Валька всегда тянулся, старался выглядеть повыше. Машутка и Вальку заметно переросла. Такая нахлобучит подойник хоть на кого. А подерись попробуй — сразу прославят: связался с девчонкой.

— Бабушка Наталья, — Валька деловито подошел к низкому забору, — вам еще надо помочь?

— Ой, спасибо, родненький! Дровишки вы мне перекололи, а картошку я по кусточку люблю сама копать. Копнешь — глянешь, а что там наросло... Ты бы, Валюшка, вон тех поумерил — раз уж в отрядных ходишь. А то ведь день деньской друг дружке пятки в нос суют. Уж на кулачки бились бы, что ли, чедром, как бывало, а то все лягаются да лягаются... Чистый срам.

— То, бабушка Наталья, каратэ — в армии пригодится.

— Ну нет, милок, про армию уж ты мне не говори — российский солдат смешным да злым никогда не бывал. Гневный — да, а чтобы злой — так этого в роду на Руси не водилось. Оттого одолели всех... И старик мой, и сыновья воевали...

Бабушка Наталья вздохнула, умолкла, опервшись на лопату, как на клюку. Она смотрела в землю и, погруженная в думы свои, кажется, не замечала Вальку. Но вот шевельнула ладонью.

— А ты, милок, беги, играйся... Сберегли отцы вам раздолье — чего ж не жить... Ну-ну, не стой — чего тут киснуть на ста-руху глядючи...

Бабушка Наталья постояла еще у картофельных грядок, оставила лопату, покачала головой и пошла к себе в подворье.

От догляда взрослых мальчишки уходили на заброшенные гумна. Густой одичалый конопляник привольно разросся там. Высокий, пряной кислинкой пахнущий, он протянулся далеко, до льнохранилища, вымахал по отвалам старых заброшенных участков, которые посередине заросли лебедой и пшеницей-самосевкой. Самостоятельные квочки уходили в коноплю насиживать яйца и приводили домой цыплят иногда по заморозкам; кошки охотились на гумнах, собаки вспугивали зайцев. На гумнах во множестве водились перепелки. «Пить-пора, пить-пора», — слышалось в теплую вечернюю пору.

После школы мальчишки тянулись на гумна. Сегодня на первом квадрате гуменного участка предполагалась борьба на очки. Выступали мальчишки из пятого класса. За судью позвали Вальку — знали его справедливость.

Мальчишки только что перепрыгнули через крайний отвал, как увидели Маргариту Тихоновну, в шляпе, в кофте, в расклешенной юбке и на каблуках. Маргарита Тихоновна шла от льнохранилища. В ближайшее Время школьникам предстояло помочь колхозу в уборке льна. Маргарита Тихоновна заметила ребят издалека, прибавила шагу, но когда подошла, не увидела никого.

Броссыль, ползком и перебежками ринулись мальчишки в коноплю. По-кошачь вжимаясь в землю, они забрались в конопляную гущу и затаились наглухо. Маргарита Тихоновна понимала своих подопечных, а вот что удрали так незаметно — ее удивило. Она прошлась вперед и обратно, всматриваясь в конопляник, — ни звука, ни шороха, повымерли гумна, застали, и даже ветерок не налетал.

Маргарита Тихоновна постояла еще, подошла поближе к высокой стене конопляника, подобрала палку, воткнула в отвал гумна, надела на палку свою шляпу и, по-мальчишески пригнувшись, сбежала под уклон в село.

— Ушла? — зашепелявил кто-то в коноплянике.

— Спряталась... Ждет... Вон ее шляпа виднеется...

— Пускай ждет — не дождется... Опять мораль читать начнет... Режим не соблюдаете...

— Молчи, а то услышит...

Валька и сам не знал, почему кинулся со всеми вместе удирать от завуча. Сказалось общее желание не попадаться завучу на глаза. Маргарита Тихоновна, строгая, дотошная, важнейшим пунктом в деле воспитания считала, безусловно, дисциплину, и каждый мальчишка старался не встречаться с ней. Иначе: «Как? Почему? Отчего? Что читаешь? Помогаешь ли родителям?»

Мальчишки нырнули в коноплю, кто куда, а Валька с Андрюхой отползли как можно дальше, на самую середину заросших гумен. Так оно спокойнее: Тихоновна могла пройти по крайнему гребню и устроить беседу, как ты только высунешься.

На середине гумна обозначилась широкая кулига из пшеничного подсева. Как-то к весне по мокрому снегу прополз через гумна трактор с санями. Везли несортовое зерно с дробленной, на птицеферму. Встряхнули, подсеяли немного, и выросла пшеничная кулига. Потом пошел самосев из года в год. По осени желтые стебли поломались или полегли, а иные еще твердо держали опустевшие колосья. Старые гумна, как известно, не огораживались плетнями. Весь мусор, лебеду от прополки, плохую солому клали обочь гумна и присыпали землею, — получался отвал, невысокая стена. В отвал свозили навоз и брали его по мере надобности, а в затишье за мягкой стеной сберегалось тепло, и шли в сильный рост картошка и тыква.

Валька с Андрюхой прилегли на заросший отвал. Со спины хорошо пригревало нисходящее на покой солнце. Пшеничный подсев, пронизанный солнечным светом, чуть-чуть поблескивал в спокойной тишине. Каждый стебель, отчетливо яркий и покрытый теплой восковой свежестью, дышал густым и прогретым запахом перезрелого хлеба.

Вдруг в густо заросшем углу шелохнулись две былинки. Качнулся порожний, легкий колосок, зашаталась травинка, и на пшеничную кулижку, четко выставляя лапки, осанисто и гордо вышел перепел с коротеньким приспущенными хвостом. Желтая полоска от глаз до туповатого клювика и дальше по вытянутой шейке украшала надменно приподнятую голову. Из великих джунглей конопляника на открытое место вышел он — настоящий перепел-петух.

— Пыть! — звонко выкрикнул перепелиный петух, и в ответ на клич, внушительный и грозный, выскоцил на простор его боевой соперник.

Решительный и широкоротый, он вскинул голову и сделал шаг, потом другой — навстречу сопернику. Бойцы столкнулись в первом стремительном ударе. И потому как никто из них не опрокинулся желтым брюшком вверх, стало ясно, что проба на храбрость и силу должна была перерасти в настоящий перепелиный бой.

Противники навостренно глянули бусинками рыжих глаз, спружинили легонечко шеями, приспустили тупые крыльшки и сшиблись снова — в налет, высоко задрав пятки. Они не долбали друг друга, как индюки, не били в головы, как дворовые петухи, — а напористо и сильно работали ногами, помогая себе крыльями. Каждый удар попадал точно и наверняка. Крыльшки распахнулись, задышали раскрытые рты.

— Гляди-ко что — как здорово работают, — шепнул чуть слышно Андрюшка.

Птицы сразу уловили шепот и насторожились, позабыв вражду. Чуть слышным чвоканьем они предупредили друг друга, и Валька шелохнуться не успел, как кулига опустела.

— Боятся — что надо, — согласился Валька.

— Вот кого бы в пограничники, — размечтался Андрюха.
— Жаль, нельзя такого вырастить покрупнее и надрессировать.

Ребята привстали, подались повыше. Шляпы на прежнем месте не было.

— Ушла... — послышалось по коноплянику.

Конопля зашевелилась. С разных концов высунулись головы, и вскоре ребята выбрались на край гумна. У старого отвала возле палки лежала шляпа. Маргарита Тихоновна, как видно, ненакрепко втиснула палку в отвал — а то сидеть бы всем до сумерек в крапивнике да в конопле.

— Расстрелять шляпу! — Андрюха яро выхватил рогатку.

Мальчишки похватали кто камень, кто палку, кто ком земли.

— Братва, стой! — крикнул Валька. — Попортим вещь. А в ней Тихоновна красавая.

— И то гляди — с лентой, — Андрюха надел шляпу, встал на цыпочки, сделал рожу: — Ребята, нарушаете режим!

— Тихоновна! Сюда- идет! — мальчишки рванулись через конопляник, как кролики, мелькая пятками.

Валька стряхнул землю со шляпы, пошел навстречу завучу.

— Маргарита Тихоновна, вы шляпу позабыли... Там — возле гумна.

— Неужто?! — лукаво удивилась она. — А я-то все думаю: где моя шляпа?

* * *

Маргарита Тихоновна не стала задерживать Вальку, она была довольна и весела. Валька через проулок вышел на лицевую сторону дворов. Дворы стояли в один ряд по взгорью. Каждый двор имел два огорода — один, со стороны позадворьев, для картошки, второй, по склону горы к речке, для капусты и огурцов. В горе проточили дорожки ключи. Мужики ставили у ключиков небольшие срубы, чтобы черпать воду. Две других улицы села, двурядные, раскинулись на ровном месте поодаль от реки, — там были школа, правление колхоза, Дом культуры.

С речной тропинки открывалось приволье. Высвечененный солнцем перекат рябил светящимся переливом. За излучиной, по ту сторону, вписалась в ольховник заросшая дягилем опушка; выше по увалу вздымался сосновый бор, стройный, могучий, а еще дальше и левее начинался старый шатровый ельник.

Валька давеча приметил где-то здесь у речки Светку. Он и сам не сознавал, что ищет ее, — просто пошел прогуляться, поразвеяться от дел. С малых лет Валька недолюбливал девчонок — привередливое племя. Вот вчера: идет Валька по коридору, смотрит, а второклассник дверь приоткрыл и орет в свой класс что есть мочи: «Гошка, подь сюда! Гошка, подь сюда!» Сзади — две девчонки, ростом еще меньше этого. «Вы его заставили орать?» — спрашивает Валька. — «Мы, — прошипали, да так независимо. — Не самим же нам кричать». А Светка — не чета другим, с ней можно и поговорить. Тот второклассник для девчонок — так себе, вроде веника. Таких девчонки не принимают всерьез, но держат возле себя на всякий случай. Валька много раз ловил себя на мысли: «А какой он сам для Светки?»

С толстыми, длиннющими косами, с ясными, как голубая даль, глазами, Светка имела характер смелый, независимый, прямой. Валька заметил мелькнувшее платьице у речки и пошел туда будто невзначай.

— Здравствуй, Валька! — крикнула Светка. — Куда это ты?

— Здорово, Светка! А ты куда?

— А я гуляю... Кузю вот вожу.

Возле Светки вертелась и прыгала резвая собачонка. Темнорыженькая, с торчащими ушками, она весело и живо поглядывала вокруг и с ласковым доверием льнула к своей хозяйке.

— Ты назвала ее так, потому что и мать у нее так же зовут?

— Конечно...

— Интересно, где она теперь?

Историю про Джуля и Кузю хорошо запомнили в поселке.

Глава XI ДЖУЛЬ И КУЗЯ

Однажды на верхней улице возле двухэтажного дома, выкрашенного по фасаду в салатный цвет, собралось почти все собачье общество села. Одиннадцать псов, разномастных, разношерстных, мелких и крупных, куцых и хвостатых, сидели, лежали, не замечая февральской стужи, за штакетным, насквозь просвечивающим забором, который протянулся вдоль усыпанной гравием дороги. Изредка какой-либо из псов взвывал и лаял, и тогда собачье нетерпение отзывалось всеобщим тявканьем, вразнобой и невпопад, мелкой грызней, визгом и рычань-

ем. И как только свора стихала, собачьи морды вновь и вновь совались в широкий просвет штакетника, где сидел мощный и широкоспинный рыжевато-серый пес по кличке Джуль. Чуть поодаль от него на клочке прошлогоднего сена, уложив голову на вытянутые вперед лапы, лежала остромордая и миловидная дворовая собачка Кузя.

Вся свора за штакетником видела, как Джуль, склонив чуть набок лохматую голову, следил за каждым движением собачонки, а его уши, слегка смятые на кончиках, шевелились или во-стороженно топорщились. Вместе с тем на его собачьей морде с улыбчиво приоткрытой пастью сияло выражение наидобрейшее. И в самом деле: глаза пса светились радушием, кончик хвоста легонечко колотился о снег, и глянув на этого громадного псуна, никто из прохожих не пугался его.

Однако в те минуты, когда грызня и визг за штакетником становились громче, загривок у Джуля вдруг дыбился, пес мгновенным мощным броском подскакивал к забору, и сквозь пролом в штакетнике выставлялась страшно рычащая морда. Уличное сорище отскакивало прочь, а Джуль возвращался на прежнее место.

Никто из своры не смел войти во двор. Вбежал туда лишь Карат, сильный и красивый пес, из породы немецких овчарок. И тогда вся робкая стая разношерстных женихов протрусила в раскрытые ворота, держась шагов на десять позади.

Двое соперников, равных по силе, оскалившись и вздыбив шерсть, встали друг против друга и, зорко следя за каждым движением противника, примерялись и выказывали мощь. Противники стояли, рыча, и не двигались с места. Был важный момент, определяющий, каким собакам на чьей быть стороне, а самые трусливые надеялись в общей свалке куснуть кого-нибудь или вырвать клочок шерсти и тем утешить свое мелкое собачье тщеславие. Многим хотелось приподнять хоть на минуту вечно поджатый под брюхо хвост.

Вдруг Джуль ударом сбоку свалил Карата и, нападая сзади, принял остервенело рвать холеную породистую спину. С покусанной шеей и порванным ухом Карат метнулся в сторону, ударился о забор и не сразу нашел ворота. Выскочив на улицу, он помчался домой — туда, где была его цепь, темная будка, сытная еда и очень важный, солидный хозяин. Там, истерзанный и жалкий, Карат слышал, как грозился кому-то его хозяин, Ростислав Никодимыч, как он ругал жену за то, что отпустила гулять дорогую собаку. Потом хозяин посадил его, как и прежде, на цепь, а еще через полчаса на той же цепи повел в ветеринарную лечебницу.

На улице около забора все так же толпились псы, и никто из них не смел даже приблизиться к воротам.

Хозяин передал поводок жене, поднял с дороги палку и, размахнувшись во всю мощь, запустил палкой в собак. Раздался визг, и стая кинулась врассыпную. Хозяин пересек улицу, подобрал палку и пошел во двор.

Визг, тонкий и жалкий, раздался во дворе: хозяин палкой ударили Кузю по голове. Кузя, невысокая и хрупкая собачка, завертелась волчком от боли и ужаса.

Хозяин сделал шаг, и следующий удар пришелся на Джулья. Пес дрогнул, гавкнул, отпрянул в сторону. Шерсть его встопоршилась дыбом, желтые глаза загорелись, оскалились зубы в беспощадной злобе. Рука опять взметнулась для удара, и в ту же секунду Джуль бросился на человека. Хозяин бил пса куда попало, а пес рвал ему штаны, пальто и наконец вгрызся в податливую мякоть. Хозяин выронил палку, вцепился в собачий загривок и рухнул в сугроб. Он кричал и бился, но Джуль внезапно, как и налетел, оставил человека.

Не найдя Кузи, Джуль метнулся в одну, другую сторону и опрометью выскочил со двора.

Заметно потеплело. Февральское солнце светило играющи и весело. У заборов подтаял снег, на карнизах, сверкая, повисли ледяные сосульки, и воробы, оживленно шумя и чирикая, расселись у соседнего двора на пригреве по кустам палисадника.

Джуль, пометавшись по улице, дал круг, принюхался к натоптанным следам и, выбрав только ему внятную незримую нить запаха, помчался вдоль домов, свернул в переулок за огорода. Размеренным плавным махом он потянул через поле на противоположный край села. Село было знакомо ему из конца в конец. И все знали лохматого большого пса. В ясную пору Джуль забавлял ребятишек: те, что помельче, садились на него верхом, те, что постарше, запрягали его в санки. Он добродушно возился с каждым, улыбчивый и беззубидный, и, когда его кормили, не хватал внахлест — брал аккуратненько из рук или с земли, уходил в стороночку к забору, ел не спешна, сощурив умные глаза.

Теперь ему не надо было ни улиц, ни двора, ни людской доброты. Он мчался туда, где по еле уловимой ниточке запаха мог отыскать свою Кузю.

Он нашел ее за лесоскладом. Она забилась под нависшие толстые доски, дрожала и тихо повизгивала, превозмогая еще не утихшую боль. Ростислав Никодимыч угодил ей как раз выше крыльцев носа, и залезать ушибленное место было нельзя.

Джуль с трудом пролез под доски. Под навесом сбереглось сухое место, а сбоку, сквозь широкую щель пригревало солнце. Джуль лизнул Кузю широким мягким языком и потом долго зализывал ее мордочку. Язык его шероховато и ласково промазывал снизу мордочки до уха, и Кузя мало помалу повесе-

лела. Когда он лег, Кузя свернулась клубочком у его лохматого подбрюшья, уложив свою голову ему на лапу.

Ночь выдалась морозная. Исчезло дневное первое тепло. Звезды мерцали ледяными иглами, и в тишине раздавался легкий скрип отмякших днем и снова стынивших деревьев. На расвете Джуль вылез из согретой лежанки под досками и побежал в поселок. Он постоял возле хлебного магазина, но магазин еще не открыли, и никто не бросил ему ни сухаря, ни кусочка хлеба. Потом он сбежал на пекарню, над которой постоянно витал запах только что испеченного хлеба, но и там ему не кинули и корочки от забракованной буханки. Затем он отправился к оврагу на свалку, однако и туда небросили ничего съестного.

За дворами Джуль заметил старый санный след, ведущий в поле. Туда ездили, как видно, редко. Дорогу перемело, и осевший снег уже успел затвердеть в сугробах. Джуль поднял морду и вдруг уловил в той стороне едва приметную, слегка протявшую затхлость. Ведомый верхним чутьем, он побрел на этот новый запах, который становился все отчетливее и сильнее.

Вскоре он прибежал к небольшой котловине за полем, где раньше выкапывали глину. Теперь сюда приносили и сбрасывали замерзших за зиму кур и погибших кроликов.

Пошарив носом, Джуль откопал в снегу тяжелую куриную тушку и, зажав в зубах, понес в свое пристанище за дровяным складом. Кузя, еще слабая и робкая, встретила его, благодарно повизгивая, но ела осторожно и с трудом: разбитая мордочка еще не зажила и болела.

* * *

Джуль ежедневно бегал к котловине и острым чутьем находил, что скрыто под глубоким снегом.

Два раза он забегал в село. в свой обжитой двор. И только тут выяснилось, что у этого большого лохматого пса давным-давно нет опекуна и родного пристанища. Двухэтажный жилой дом, построенный на селе, оказался неуютным и гулким. Люди плохо уживались в этом доме. Еще полтора года тому назад отсюда съехали супруги, очень вздорные, за которыми числился Джуль, а остальные жильцы вообще не вникали ни, в какую собачью судьбу. Они давно привыкли к тому, что Джуль живет под большим опрокинутым ящиком за общественными салями, знали, что дети балуют собаку кто чем, и до последнего случая не интересовались, на каких, собственно, правах в их дворе обитает пес. Но, как только Джуль порвал пальто и укусил хозяина овчарки, все возмущались, зашумели, кто-то позвонил в милицию, детям строжайше наказали не подходить к собакам вообще, а напуганные матери боялись отпускать малышей одиних во двор. Собачий ящик сломали и сожгли.

Джуль стоял во дворе, вежливо повиливал пушистым кончиком хвоста и виновато поглядывал по сторонам.

— Джуль! Джуль! — загадали ребяташки, и детский восторг стал причиной новых бедствий для собаки.

День как раз был воскресный, из квартир повыскакивали родители, и наиболее храбрые из них запустили в собаку кто поленом, кто печным совком и даже худой кастрюлей.

Джуль помчался прочь вдоль улицы, но за самым крайним двором гулкий и грозный удар настиг его. Взвизгнула срикошетившая дробь, кожу ожгло: несколько раскаленных, саднивших иголок вонзились в тело. Джуль взвизгнул, кувыркнулся через голову и бросился прочь так стремительно и отчаянно, что второй выстрел не настиг его.

Он приплелся к дровяному складу, скрюченный и жалкий. Дробины, засевшие под шкурой, разъедали тело, мешали двигаться. Боль нагоняла слабость, отчаянье, тоску. Джуль заполз под доски, лег рядом с Кузей и тихо, сквозь вздохи, застонал. Кузя повылизала ранки, и это немного успокоило его.

В ту ночь они спали голодные, скуля и постанывая во сне, но разыгралась февральская метель, убаюкала мерным посвистом и шуршанием.

Наутро метель угомонилась, а Джуль, скованно поднявшись, застонал и лег снова на угретое за ночь место. Кузя лизнула его поверх носа и, разворочив пухлый наст намеченного снега, выбралась наружу. Сиял день. Слегка подморозило, но в воздухе ощущалось чуть приметное, еще далекое весеннее дыхание.

Робко поджав хвост, Кузя осторожно пошла от склада по уезженной машинами дороге, изредка принюхиваясь к снегу и озираясь по сторонам. Она миновала улицу, переулок и выбежала к школе.

На широкой площадке возле школы можно было чем-то поживиться — остатком булки, пирожка, вылизать стаканчик из-под мороженого. Но Кузя давно усвоила, что на площадке у школы вести себя следует опасливо и настороженно. Здесь могли прilаскать, накормить и ударить снежком. Ее однажды поймали шестиклассники, привязали маленький рыбакский колокольчик на хвост и спрятали под парту. Когда на уроке физики что-то зажужжало на учительском столе, Кузя затянула. Поднялся шум. Сначала за Кузей гонялись по классу, потом по коридору и по обоим этажам. Директор бегал за собакой вместе с учениками, и глаза у него были круглые и злые... Потом, спрятавшись за сарайми, Кузя долго сгрызала больно давящую веревочку и с того времени никогда не подходила близко к дверям школы.

Сегодня ей удалось найти конфету, кем-то оброненную на тропе. Вскоре отыскался надкусенный мерзлый пирожок. Кузя

выскребла его лапами из снега и понесла к дровяному складу, истекая слюной... Таких пирожков, пахнущих маслом и жареной капустой, она, пожалуй, не ела очень давно — во всяком случае с того времени, когда в дом для престарелых ушла ее добрая одинокая хозяйка. И хотя Кузю препоручили другой вполне порядочной женщине, Кузя помнила прежнюю старушку, у которой жилось тепло и спокойно. От новой хозяйки уж не пахло пирожками с капустой, от нее исходил душный запах губной помады и духов. Кузя никак не могла привыкнуть к такой ошеломляющей смеси запахов, — она чихала, тявкала и зарывалась в коврик носом. Тогда Кузю выгнали за беспокойство на крыльце нижнего этажа. Во дворе витали иные запахи, и было много простора. Вскоре она привыкла к холодам и подружилась с Джулем.

* * *

Спустя два месяца, в середине апреля, снег стаял с бревен и досок лесосклада. Освободился проезд в самый глухой угол двора, и кто-то из рабочих услышал тихое

щенячье поскуливание под дощатым штабелем. Один из щенков, наиболее сердитый, даже тявкнул раза три. В то время отгружали доски. Грузовик с длинным прицепом подогнал к штабелю бортом, почти вплотную.

Когда сняли половину верхнего слоя, то обнаружили около забора под досками небольшое логово с шестью серовато-коричневыми, еще полуслепыми щенятами. Под забором был широко разгрызай лаз, от которого в поле вела проторенная собачья тропинка. Через лаз на улицу выскочил громадный лохматый пес. Он отбежал от забора шагов на пятьдесят и пугливо, озлобленно наблюдал за тем, что происходит. Один из рабочих сунул поперек дыры в заборе широкую доску, перекрыл выход, и Кузя, дрожа от страха, забилась меж досок.

На Кузе был ошейник, уцелевший от прежней домашней жизни — прочный, ременный. Быстрый, крепкий рабочий привнес с противопожарной площадки багор, подцепил Кузю крючком за ошейник и вынул ее, хрюпая, на доски. Второй рабочий, смелый и ловкий, привязал к ошейнику провод, и Кузю поволокли к сторожке.

— Гляди-ка, куроеды! А?! — кричал кто-то, глядя в лого-во. — Перьев-то сколько! Перьев!

— Да тут и шерсть кроличья!

— Пристукнуть за такое надо!

— Стой! Это продавщицы собака! Еще зимой сбежала!

— Ладно, привяжи пока...

— Поедешь мимо — остановись там... Скажи...

— А щенков куда?

— Пораздай кому-нибудь...

Вторая Кузина хозяйка отнеслась к известию без радости и удивления:

— Куда мне ее? Дел и так по горло, а тут еще с собаками возиться. Пусть к сельсоветскому складу вон привяжут. Карапузы будут, хлеб честно зарабатывать, а не кур воровать... И сторожу веселее — охрана как-никак...

В истории села никто не помнил, чтобы сельсоветский склад когда-нибудь ограбили, однако Кузю посадили на цепь внутри плотно обнесенного досками двора, оприходовали в книге как собаку сторожевую и зачислили на довольствие.

— То-то, — назидал привязанной собаке бородатый, прокуренный и всегда хмельной сторож. — Ишь, блудня, попалась. Теперь курятинки тебе уж здесь не перепадет.

В первую же ночь Кузя, усевшись на опилках, задрала в небо мордочку и принялась тоскливо и протяжно выть.

Из-за склада ей тут же ответил густой, басовито воющий голос. Сторож, подслеповатый и дряхлый, зашаркал сапогами вдоль забора и, заметив очертания большого лохматого пса, пальнул порожним зарядом в его сторону. Джуль скакнул и бешено бросился прочь. На вторую, на третью и следующие ночи Джуль не отзывался на жалобный голос Кузи.

Но вот как-то в конце мая Кузя исчезла со двора. Сторож обнаружил целехонькую цепь, а на ней изъеденный и перекусенный ошейник. Сторож немало удивился, как это собака изловчилась сгребти на себе ошейник. Но вскоре обнаружили подкоп под дощатым забором и следы мощных собачьих лап.

Ребята потом видели, как за телегой проезжавших цыган бежал, прижавши уши и высунув язык, громадный лохматый пес Джуль, а рядом с ним, перебирая лапками, легкой и невесомой трусцой передвигалась небольшая остромордая собачка Кузя.

Щенят от Кузи разобрали по селу, и Светка свою собачонку назвала тоже Кузей.

Валька и Светка играли с собачонкой на берегу до самого вечера.

А между тем...

Глава XII ЖИВОЕ СУЩЕСТВО

Неподалеку от ворот, возле широкого дощатого забора, в тени лежала небольшая шоколадного цвета собака. Ее ровная, с буровато-золотистым оттенком шерсть лоснилась чистым блеском, а в глаза, умные, слегка навыкате, запала глубоко растворенная грусть. Уже отяжелевшая и слабая, она доживала свой короткий собачий век и теперь на двенадцатом году честной службы униженно прижимала уши и смотрела снизу

вверх, как двое — хозяин и еще какой-то незнакомый человек — сидели друг против друга за столом и что-то говорили без умолку, распространяя едкий запах табака и водки.

— Вот я и говорю, — рассуждал хозяин, — собака... Что собака? Любую пятачу, кормить надо... Овчарку советуешь снова завести? А ты знаешь, сколько овчарка жрет? А? Знаешь? Нет, ты скажи, знаешь? Свинью прокормишь... А на что? Знаю... Держал овчарку, да продал... В городе — там другое дело. Там собака для фасону нужна. Чтобы ты помнил, что ты человек. Для общения, так сказать, с природой. Пуделя там есть всякие, стерьеры-фоксы, или та — бульдожина... Вот как мотнусь отсюдова... — и, обозлившись на что-то, он стиснул кулаки. — Пусть другие тут свиней разводят... А мне что... Квартиру кооперативная в городе готова — три комнаты, — он улыбнулся блаженно и широко. — Вот там я себе — рры! — хозяин двинул тупой челюстью. — Бульдожину на шестой этаж втащу. И буду в пивной бар с ней ходить. А из этой, — он глянул на собаку, — шапку сошью... Ты глянь, что за шкура! Лучше бобра...

Натоха опытным взглядом прикинула ценность собачьей шкуры: мех еще не огрубел к середине октября, не щетинился зимней остью и был плотно забит мягким темным подшерстком. Из такой шкуры шапка вышла бы отменная: ровный, блестящий, коричневый, пробитый золотинкой ворс, — но мысль, что для этого надо стрелять и обдирать собаку, была противна Натохе.

— В пивном бару да в собачьей шапке — это ты здорово придумал, — нехотя отозвался он.

— А что? — всхрапнул хозяин. — С твоей гончей проку, что ли, больше? Ты ее год кормишь, а зайцев она гоняет тебе два месяца. И то — по субботам, по воскресеньям... А в будние дни тоже дома сидит — кашу, хлебец, приварочек лопает!

— Так по-твоему совсем не держать?

— Правильно! — похвалил хозяин. — Бесполезную скотинку держать нечего! Хрять! — и все тут!

Собака дрогнула, еще ниже опустила уши и почти прижала голову к земле. В глазах ее, все так же внимательных, появился испуг.

В такие вот яркие, не по времени теплые дни она чаще всего лежала в пропыленном углу двора, не прячась в душную будку, и очень гневила этим своего хозяина, когда попадалась ему на глаза. Ростислав Никодимыч не выносил какой-либо бесполезности, — старая собака явно мешала ему. Он еще в прошлом году договорился о покупке молодого щенка — не из породистых, но злейшей крови, что стерегут, так стерегут — рычат и тявкают, что легко приживаются на своей цепи и благодарны хозяину за добрую кормежку. Но вот беда: старая

собака за целый год не сдохла, того щенка купил сосед, в городе подоспела очередь на кооперативную квартиру, — Ростислав Никодимыч свертывал хозяйство, все распродавал, но ему напоследок приглянулась собачья шкура — уж так-то была хороша! Потому и позвал он Натоху, охотника, чтобы пальнуть в собачий лоб, не попортив остального меха.

Именно по такому случаю на стол была воздвигнута бутылка, а к ней сковородка поджаренной картошки с мясом и четыре малосольных огурца. Огурцы были особенно кстати, — запоздальные, хрусткие, с последних пожухлых плетей парника. Натоха загулял к субботе после получки в своем леспромхозе, а в воскресенье жена устроила ему разгон. Он поспешил удрать из дома с утра пораньше, и вот — на тебе! — наняли его для собачьей погибели за бутылку водки.

Ружье Натоха пока не прихватил с собою, потому как знал, что зовут его — охотника, на дело-то, в общем, постыдное, но поллитровка, укропный аромат малосольных огурцов под раскидистой березой постепенно делали свое дело.

Он тоже, как и хозяин, поглядывал на собаку, но сочувственно, а порой и грустно, и тогда хозяин помалости подливал ему водку.

Собака следила за людьми, за каждым словом и движением. Она отползла чуть в сторону, к незнакомому человеку, к Натохе, и все тревожнее смотрела на хозяина. Она ловила его хмельной .брезгливый взгляд, барабанила кончиком хвоста, юлила по земле. Она так унижалась, так заискивала, что на нее, кажется, можно было стать ногою, и потому новый приступ раздражения охватил хозяина.

— Тыфу! — Он плонул в сторону собаки. — Ты ей в лоб цель! — Хозяин поучительно вознес палец. — В лоб! — И ткнул перстом в точку меж собачьими надбровьями.

И глаза собаки, умные, влажные, тихонечко заслезились.

Собака свесила к земле морду, и только изредка брови ее вскидывались вверх, а в светло-карих зрачках дрожала глухая, неизбывная тоска. Она робко, с трудом поднялась и стояла на дрожащих лапах, показывая, что у нее еще есть силы.

— У, коряга чертова, — сказал хозяин. — Жратъ только можешь! — он вспомнил, что старуха-мать, такая же беспомощная, не хочет с ним ехать в город, во все удобства, и, конечно, срамит его. А еще и дом числится за ней, завещала сыну только после своей смерти. А сыщи попробуй потом покупателя. И пойдет такая хоромина на дрова.

— Давай, что ль, еще по малой, — предложил он Натохе. — А как пальнешь, — другой пузырек раздавим... Жестокий вы народ, охотники... Ты вот сколько всяких душ на свете, разных там птиц, зверей погубил? А? Хе-хе... — решил пошутить Ростислав Никодимыч. — Жизнь животных по телевизору не смотришь...

Натоха помолчал.

Собака все так же жалостно стояла с опущенным хвостом. Теперь озлобленный, бесцеремонно размашистый хозяин не слишком-то пугал ее. Она уже не боялась его пинка, легонечко жалась в его сторону, напряженно, чутко ловила искоса поставленный взгляд охотника. Его правый зрачок, тренированный и острый, выщеливал ее.

Натоха украдкой вздыхал и старался поменьше смотреть на собаку. Он медлил, тянул, и собака не ластилась, не унижалась, а ждала. Что-то ей одной понятное исходило от охотника. Убежать, защититься ей было не по силам, а понимать — она понимала все.

Наконец Натоха выпил последнюю рюмку, кивнул хозяину, одобрав угощение, и быстро встал. Он глянул на собаку, слегка припустив левое веко. Сухим, устойчивым блеском вспыхнул его взгляд. Он чем-то напоминал ястреба, что, притулившись на сучке, вдруг высмотрел жертву. И собака едва слышно заскулила.

А между тем глаза у собаки тускнели. Потихонечку скуля, она подалась в одну, в другую сторону. Она еще поглядывала исподлобья то на охотника, то на хозяина, но вдруг сгорбилась, поджала хвост, подошла к забору возле старой конуры и легла там на брюхо. На левую переднюю лапу она положила голову, второй лапой прикрыла себе нос. Она вздохнула, всхлипнула, простонала раза два, замолкла и смыжила веки.

— Ну вот и ладно, — сказал хозяин. — Тащи сюда ружье...

— Погоди-ка ты, — остановил его Натоха.

Он тронул собачий бок сапогом — тело откинулось: собака была мертва.

— Неужто поняла? — воровато спросил хозяин.

— А как же не понять-то, — вздохнул Натоха, — тоже ведь — живое существо...

Он постоял немного, пошарил по карманам, достал рубль с горстью мелочи, легонечко встряхнул — прикинул на вес, что там есть на ладони, — и опрокинул горкой на стол.

— Это тебе, чтоб без убытку, — шагая со двора, сказал он хозяину. — А то выходит, зря водку покупал...

Глава XIII ЯМА С КАРАСЯМИ

Заполучив собачью шкуру без ружейного выстрела, Ростислав Никодимыч уезжать не торопился: осень — время благодатное, грибное, а бывать в лесу Никодимыч любил. Зима не нагрянула пока что, и какие-то дела, помимо колхозных, еще держали Ростислава Никодимыча в деревенском подворье. Но в переулке, примыкавшем к его огороду, затеялась в последнее

время настоящая война между кошками и собаками. Кошачьи пути почему-то прочуяли собаки и набегали в переулок гоняться за кошками. Кошки стали сбредаться в переулок со всего села, — здесь их стерегли собаки, которым страсть как нравилось гоняться за кошками. Кошки, задрав хвосты и выгнув спины, мигом взлетали на плотный и высокий забор Ростислава Никодимыча. Кошки проторили три узких прохода и, когда поблизости не было собак, подлезали под забор.

Натоха, крепко пристыженный гибелю собаки, не знал, как вести себя дальше. Он повсюду рассказывал, как живая тварь может почутить свою гибель. Жена его, красивая, визгливая, настырная, прослышиав о том, пожалела Натоху. На неделе была с Натохой ласкова, как с больным, и Натоха после смены не торчал у магазина. Иван Федосеич сначала выругал сына, как надо, а потом посоветовал Натохе заняться делом: либо взять, либо выгнать с нахоженного места рысь, чтоб не задрала кабанят.

Мальчишки судили по-разному. Многие не верили и говорили, что собаку Никодимыч отравил, потому что уже стрелял в Джуляя.

Миха, сноровистый, подвижный, перевел все на коммерческий толк:

— Нынче шапки меховые, пушистые в цене, — просвещал он Фомку. — Мамка у меня на базаре в Костроме бывает. Кроличья — сороковка, а собачья и все шестьдесят потянет. А если шубы шить собачьи? — рассуждал он. — Вот увидишь, сманил всех собак Никодимыч, обдерет — и вторую машину себе купит. А как поймает Котофеича, — во какую шапку себе сделает! — и Миха растопырил руки над кудрявой головой.

— А я его самого тогда, — обещал Фомка и сунул в карман рогатку.

Он предложил узнать, почему вдруг кошки и собаки сбредаются к подворью Никодимыча? А что если Никодимыч и в самом деле решил сманить да перебить всех кошек и собак?

Фомка с Михой подошли к переулку со стороны огорода.

С забора поднялись две вороны, а из дыры опрометью выскочила кошка.

— Смотри-ка, рыбка! Ворона потеряла, — удивился Миха.

— Карась... — узнал Фомка. — Откуда-то притащила. А в речке караси не водятся. Мне папка и то одного только раздобыл, в калужине после половодья...

По ту сторону забора послышались шаги. Кто-то грузно протопал к яме в углу, что-то смачно шмякнул из ведра и так же грузно удалился.

— А может, оттуда карась-то, — шепнул Миха и показал на забор.

Мальчишки подошли ближе, чтобы отыскать щель, но забор был сшит так добротно — доска к доске, что посмотреть сквозь щель не удалось. Вскоре стукнула калитка, — хозяин ушел, и мальчишки осмелились.

— Давай друг на дружку встанем, — предложил Миха.

— Давай... А кто на кого?

— Посчитаемся...

Выиграл Фомка, Миха подставил плечи. Взобравшись на Миху, Фомка схватился за верхний край забора, подтянулся, заскреб ногами.

— Тише ты — уши оборвешь, — закрутил головою Миха.

Фомка наконец-то подтянулся, повис на руках, взглянул за забор.

— Во! Вижу! — воскликнул он. — Два хвоста торчат из ямы... И рыбы там!

Фомка спрыгнул вниз, покрасневший от натуги.

— Тухлая... Воняет... И откуда он взял столько?

— а кто его знает... Он на тракторе куда-то ездил. На своем, с ковшом который. Я коня батькиного пас — и сам видел. И мешки мокрые, набитые у него за кабиной были привязаны...

Ростислав Никодимыч работал на тракторе «Беларусь» с двумя универсальными подвесками: спереди — нож бульдозера, сзади — небольшой экскаваторный ковш, как голова на хоботе.

— А откуда он ехал? — спросил Фомка.

— А воин с той стороны, от Сабур.

— В Сабурах и воды-то никакой нет. Ни речки, ни озера. Мы туда с баушкой за грибами ходили. Колодец есть. Глубокий, еле воду видно, а речки нет, и озера тоже.

Фомка с Михой гадали так и сяк. Сперва надо было выведать, где ловятся караси, потолковать со старшими — с Валькой, например, или с Колькой.

Вальку с Колькой они нашли во второй половине дня, когда закончились уроки. Привели их в переулок к Никодимычу. Но старшие тоже запутались в догадках и ничего толкового сказать не могли. К тому времени на деревья, на сарай, на забор налетело превеликое множество ворон. Они каркали, поражаясь человеческой беспечности. Три кошки шмыгнули с зажатыми в зубах рыбешками, а со стороны улицы в проулок забежали две собаки и выжидающе остановились там.

— Пошли, — взглянув на тухлую рыбку, сказал Валька. — Пусть хоть вороны подкормятся. Наверно, где-нибудь в бочаге карасей начерпал. Иной раз с верховьев заносит к нам откуда-то карасей в половодье.

— Так это что... — насупился Фомка. — Кабы в дело, а то в яму...

— Ну, ладно-ладно — нечего сопеть, — утешил его Валь-

ка. — Сами можете узнать, откуда что Никодимычу привалило. Юные следопыты будете. Как в кино. А потом старшим дождите. Лады?

— Лады... — нехотя отозвался Фомка и, помедлив, добавил:
— В кино тухлятиной не пахнет...

Валька и не думал ввязываться в Фомкины дела. Забот хватко без того. В те дни в райцентре проводился смотр художественной самодеятельности школ, выставка поделок, рисунков, фотографий. Людмила Павловна создала-таки сводный школьный хор — голос в голос, нота в ноту. Валька тоже пел. Его поместили высоко, в последнем ряду — к «басам», и оттуда он видел Светку, стоящую в первом ряду.

Колхоз выделил автобус, так что Валька Светка и Колька приехали к районному Дому культуры часам к восьми утра. До начала смотра была уйма времени, и ребята пошли к киоску с мороженым.

Еще не съели мороженое, когда к ним подошел Федька. Федька, изобретатель и математик, смастерил настольного робота с электроприводом от розетки. Робот крутил головой, дергал одной рукой и катался на колесиках. Работа приняли в серию школьных поделок. С утра Федька разглядывал машины, легковушки и грузовики, мотоциклы и мопеды, но и его потянуло к киоску с мороженым.

— А я Никодимыча видел, — сообщил Федька. — Вот деньгу гребет: один мешок — на мопед целый.

Ребята посмотрели на Федьку.

— Он там, — махнул рукой Федька, — у пивной вяленой рыбой торгует. По полтиннику за карася. Один мешок сразу расхватали. Он тогда второй из-за угла приволок.

Валька с Колькой переглянулись.

— А ну — пошли...

Обогнув базарные ряды, ребята очутились как раз напротив пивной. Никодимыч стоял неподалеку от входа в пивную и уже вытряхивал из мешка остатки чешуи. Последнего вяленого карасишку он отдал кому-то задарма, от щедрости душевной. За толпой празднично снувшего народа Ростислав Никодимыч не заметил односельчан.

— Ладно, пусть себе подавится, — сказал Валька, — а нам к выступлению готовиться пора...

* * *

Автобус, переминаясь по проселку, гудел и карабкался на подъемах или тряско катился под уклон. Валька, Светка, Колька и Федька разместились на заднем сиденье, самом беспокойном и просторном.

— Федька, а сколько по-твоему карасей уместится вот в

этакой яме? — спросил Валька, заикнувшись на ухабине. — Ну, в четверть автобуса... Ты у нас математик. Прикинь.

— Объем надо знать. Ну и среднее количество штук на кубический дециметр, например.

— А на погляд если? Приблизительно? Вот таких, как у пивной.

Федька призадумался.

— Не могу я вычислить точно. Тысяч двадцать-двадцать пять будет... А зачем тебе цифра?

— У Никодимыча вся помойка карасями завалена...

— Да ну??

— Точно. Я сам видел. И Колька тоже. Фомка с Михой доглядели. Сходи в переулок — сам увидишь. За забором, в углу.

Однако на другой день Ростислав Никодимыч забросал яму землей, и над его двором перестали кружить вороньи, разбежались из проулка кошки, перестали тявкать собаки. И как ни задела Вальку жадность ненасытная Никодимыча — ничему он помешать не мог. Старшим мальчишкам и без того хватало забот: предстояло убрать лен с поля, и думать о карасях было попросту некогда. Только на третий день после смотра, встретив Фомку с Михой, Валька подумал, что этим мальцам можно вполне довериться.

— Здорово, мужики! — возгласил Валька для порядка.

— Здорово... — и Фомка с Михой выжидающе нацелили глаза.

С того времени, когда командир пионеротряда ничего не предпринял против Никодимыча, у мальчишек зародилось недоверие к нему, и они поглядывали снизу вверх, пытливо выверяя Вальку взглядом.

— А вот что, мужики, — не совсем уверенно продолжал Валька, — надо бы узнать все-таки, где караси у Никодимыча так шибко ловятся. Место посмотреть...

— Эге, — усмехнулся Миха, — теперь ищи! Никодимыч сам взял, а другим во какой кукиш выкрутит! — и Миха показал, какой кукиш должен выкрутить Никодимыч. — Не, — продолжал Миха, — в то место теперь уж он не пойдет. Я батьке говорю, дай коня — съезжу

в лес по тракторному следу, — глядишь, и место найду. А кнута не хочешь, говорит, конь тебе не трактор: ноги попортить по валежнику.

Валька не знал, что предложить еще, и потому только напомнил:

— Если Никодимыч вез мешки из лесу, значит, место где-то там.

— Понятно, — согласился Фомка. — А посмотреть — чего ж не посмотреть. Вот если снова он поедет...

— А у батьки коня все равно уведу, — Миха весело расхохотался. Ему очень хотелось увести у батьки коня. — Увидеть бы Никодимыча. Он покатит, а мы — следом...

И Никодимыч покатил...

Глава XIV ЛАЗУРНЫЙ ЦВЕТ ЗЕМЛИ

Ты гляди, что делает?! — шумел цыган Василий в воскресенье поутру, ополоснувши голову у колодца. — Коня у родного батьки увел! Цыган... Вот цыган! Жена! — крикнул он. — Ступай к соседям — стаканов и тарелок попроси, — гостей звать буду! Печаль у меня!

Жена Василия, сухощавая, бойкая и обозленная, замахала руками.

Василий попил студеной водицы из ведра, фыркнул и сел на скамеечку у колодезного сруба. На том и кончился праздник Василия. До полудня он продержал на тулупе в прихожей, попил чайку, вышел во двор, кинул козлу в загоне вилок плохой капусты и пошел на другой край села к бабушке Наталье.

— Слыхала, бабка, — спросил он, — что сын мой учинил с твоим внуком вместе?

— А как же не слыхала? — улыбнулась старушка. — И слыхала, и видела. При мне собирались. И харчами запаслись, и одежонкой, и накидушку на случай непогоды прихватили. Конь твой смирный — не расшибет небось твоего цыганенка...

— Что, бабка, мелешь зря? Да мой сын на жеребце, как клещ, держится! Цыган! — гордо добавил он. — Гляди, как бы твой не свалился!

— А мой за твоим притулился, за него и держится. Одеялку стеганую приторочили — так шажком и подались. «Ты, бабуя, не бойся, — сказали. — Дело обещали мы сделать». Пусть к делу приучаются...

— Приучаются... — вздохнул Василий. — Коней у батьки красть...

— А поехали они вон как раз по-над бровкой, — бабушка Наталья указала скрюченной ладошкой, — где на тракторе намеднись Никодимыч в лес покатил... К вечеру, гляди-кося, являются...

* * *

Миновал день, а Фомка с Михой не возвратились. Погода стояла как на заказ — ясная, легкая, но к вечеру засверкали холодно звезды, мутной мглою заклубилась дневная испарина над лесом и лугами, чтобы потом к утру осесть на траву нетающей до полудня налетной проседью первых холодов.

Не вернулся, кстати говоря, и Ростислав Никодимыч — вместе с трактором.

Цыган Василий пришел снова к бабушке Наталье во двор.

— Эй, старуха, наших-то у тебя не видать?

— Не видать, молохец, не видать...

— Мой-то не пропадет, — поскреб бороду Василий. — Вот норов... Цыган, ну цыган...

— И наш не пропадет, — бабушка Наталья из-под платка посмотрела вдаль, к лесу. — И вдвоем они. На коне. Ускакут, если что. Спички взяли, одежонку. Чего им станется — не городские... — говорила старушка, чувствуя, как занялась душа непрошеною тревогой.

* * *

Наевшись у бабушки Натальи оладьев, запеченных в сметане, круtyх яиц с огурцами, пирога с яблоками, Фомка с Михой, взобравшись на коня, ощутили, что скакать или ехать рысью для животов-то будет тряско. Поехали шажком. Спустились по уклону к мелколесью, заметили озубренный след тракторных шин, который вывел к ельнику, потянулся по заросшей высоченным травостоем старой дороге.

Сытый конь блаженно щурился от солнышка, изредка вздергивал мордой: щекотали удила. Полное, заутреннее солнце грело не хуже, чем летом, но в затененных местах веяло крепкой прохладой. Проминая твердыми копытами сухой травостой, Серый торопился выбраться на прогретые солнцем просветы.

— Хороший конь, — рассуждал Миха. — Батька его на корову выменял. И придачи взял двадцать пять рублей. На коне он огороды пахать стал. А на двадцать пять — козла купил. С козой хлопот не то что с коровой — коза и хворост жрет. А наш козел, он и махорку лопает. А корове сколько сена надо? Ой-ой-ой! Где семья сильная, там легко корову держать. У цыгана того, с Суходола, которому батька корову отдал, семья в двенадцать человек. Им — молоко, а нам конь нужен. Без коня — жизнь разве? Куда хотел, туда и ехал. И дороги не надо — конь копытами протопчет. Ты, Фома, зря не цыган. Коня бы имел, плясать бы научился. Ты видал, как батька мой пляшет? Эге! А поет как! А как запоют с мамкой вдвоем да под гитару... Ээх! — Миха подернул повод и пронзительно свистнул.

Старая дорога полого поднималась по ельнику все в гору и в гору и наконец на выходе из леса круто свернула влево. Конь вышел к лобастому взгорью, сплошь укрытыму перестойной некошеной травой. На самом взгорье, на ровном просторном месте, в один ряд стояли восемь больших бревенчатых домов — деревня Суходол. Крыши высокие, крытые дранью, ажур-

ная вязь наличников — у каждого дома своя. Есть луковицы, завитушки, крестики, цветы, а всего больше кружевной вязи под березовый лист, и потому дома овеяны приветным ласковым покоем. От дворов вниз под гору тянулась узкая тропинка к небольшому крытому срубу.

— Во! — показал Миха. — Один колодец на всю деревню. Глубина — глянуть, аж мутит! А живут люди и ехать никуда не едут. Простор тут, воля. Кому чего...

— А школы тут нет, — напомнил Фомка.

— Школа что. В школу колхоз отвезет и привезет...

Серый, понапружиив спину и склонив голову, зацокал копытами вверх по тропе. Сидеть на нем стало ловчее, забавнее: круп коня пошатывало с боку на бок, мягко изгибалась спина, а взгорье будто бы само по себе в один дух набегало под ноги.

— Гей, пошел! — мальчишки пятками забарабанили о сытые бока.

На высоком взгорье Серый шумно дохнул, фыркнул, и Миха придержал его.

— Передохнуть коню надо, — пояснил он деловито и развернул коня к простору.

От взгорья по низу разметнулась даль необъятная — над лесом, пролесками, увалами. Мальчишки притихли, окинув земную ширь удивленно-радостными взглядами. Им показалось, что сама воля и простор нахлынули к ним в грудь, и стали они вдруг сильными и гордыми, как древние богатыри. Мир, голубой и бесконечный, открылся для них, бесстрашных и могучих, готовых взмыть и устремиться туда, где лазурный цвет земли, сливаясь с синим горизонтом, соединил в одно великое чувство глубины — и силу души, и сердце, и разум.

— Эка, жизнь... — восхищенно вздохнул Миха. — Эх, Фома, давай рванем с тобой куда подальше! — А Никодимыч? А след?

— Э-гей! А куда он денется? Под елку с трактором спрячется, что ли? Найдем. Гей ты, красивый! — и Миха свистнул, подстегнув коня.

Серый вперевалку затрусиł по горе мимо бревенчатых домов, но продавленные ленты тракторного следа свернули в обезд деревни, и седоки выехали на широкий, почти не проторенный выгул. Он чуть приметно рассекался напополам малоезженой дорогой, по которой гоняли скот на пастьбу в перелесья, а траву за деревней косили, и потому росла здесь трава луговая.

На задворьях в деревне всюду торчали островерхие стога.

— Хорошо на стогу ехать, когда его к ферме волокут, — вспомнил Фомка.

— Как на пароходе, — согласился Миха. — А в прошлом году нам по шапкам надавали. Полезли все наперед — чуть-чуть не придавило.

— Нынче брать не будут, — потужил Фомка. — Взрослые, они всего боятся... Мало ли что...

Серый вальяжно шагал по дороге, пока не вошел снова в лес, глухой, темный, дремучий. Следы шин обозначились четче. Валялись проломанные, промятые трактором палки и сучья, а в небольших рыхвинах блестела вода, недавно взбаламученная и еще не успевшая отстояться.

— Напролом жал, — кивнул головою Миха.

— Здорово катился, — отозвался Фомка,

Лес, молчаливый, громадный, уводил ездоков все вглубь и вглубь, и мальчишки мало-помалу притихли. Теперь Серый с его спокойствием и силой казался им единственной защитой, и они крепче обжимали ногами его сытые бока. Ехали долго, как вдруг что-то тупо загудело, хрястнуло сшибленными ветками.

— Фух ты! Глухарь поднялся! — перевел дух Фомка.

— И то, гляжу, он... Здоровый... — опомнившись от испуга, вымолвил Миха. — А что, если ему за ноги схватиться, поднял бы в воздух?

— Сматря какой глухарь...

И тут мальчишки далеко-далеко засыпали тракторный рокот.

— Эге, Фома, слышишь?

— Слышу.

— Эй ты, красивый! — Миха повеселил коня, но шум трактора внезапно смолк.

— Мотор заглушил, должно быть...

— Не, газ сбросил, — уточнил Фомка. — У «Беларуся» теперь глушитель хороший сделали.

Фомка гордился техническими познаньями и говорил внушиительно.

Миха не спорил. И верно: трактор снова затарахтел где-то далеко, потом опять стих. Звук то взрывался, то гас — и так все время попеременно.

— Ковшом работает, — размышлял вслух Фомка. — Хорошая машина. Чего хочешь сделает: хоть пруд бульдозером, хоть траншею ковшом.

— На чем зря Никодимыч работать не станет, — заметил Миха. — Уж это так. Мне батька говорил: Никодимыч неделю с председателем торговался — за что, почем и как работать. Свое он выжмет. Знает, что трактористов в колхозе не хватает.

Миха подстегнул Серого, и конь потрусиł в ту сторону, откуда набегал рычащий машинный звук.

Густой, темный бор остался позади, старая дорога завела сначала на поляну, а дальше — в березки. Белоствольные бересы приветливо толпились по уклону. Плотные стволы, гладкие, округлые, стояли вразнобой. Старая дорога сплошь

устелилась разноцветьем опавших листьев, оранжево-желтых, фиолетово-красных и бурых. Усыпанные ровно, они далеко вперед обозначили дорогу в светлом лесу и мягко шуршали под копытами коня. Сверху, в просвете над дорогою, в небе сверкали редкие облака.

Средь оголенных веток бойко цвикали синички, где-то неподалеку застукал о сухостойник дятел, скрипуче затрещала сойка, предостерегающе затетекали дрозды.

За березняком к дороге подступился ельник, широколапистый, кряжистый, плотно забитый молодым подлеском. Шум трактора приглох в густолесье и объявился снова на просторе, когда конь выбрался на заброшенное поле.

— Эй, Фома! — Миха отщелкнул крышку старинных карманных часов. — Мы с тобой на три часа с полтиной едем уже.

— Три — ладно, а на полтину у тебя показывать нечем — большой стрелки нет, — возразил нехотя Фомка.

— Стрелку большую я сам сколупнул, чтоб не путалась. Чтоб видно было сразу, сколько показывает.

— А ты считать хорошо можешь?

— Считать я могу — меня никакая продавщица не надует.

— А я читать лучше могу, — похвалился Фомка.

— Ну, с чтением я в школе разберусь, — обещал Миха. — Э, чуешь, Фома, — трактор-то загло...

Мальчишки остановили коня и прислушались. Пропищала синица, заскрежетала сойка, машинный звук исчез.

— Ничего — найдем по следу, — посапывая носом, Фомка огляделся по сторонам.

Солнце, по-зимнему низкое, светило теперь блекло и косо.

— А холодаает, — поежился Фомка.

— Эко дело — костер разожжем, — Миха стронул коня. На просторе Серый зашагал веселее, но предвечерняя тишина наполнила души мальчишеск чувством сиротливости.

Миха с Фомкой переехали заброшенное поле, и за редким гребнем ольховника опять открылась голубая даль.

Далеко впереди темнели два обветшалых полурухнувших дома, сарай, а поодаль желтел камышовым надбровьем невысокий вал деревенского пруда.

— Деревня заброшенная, — Миха поторопил коня.

— Миха, стой! — Фомка дернул друга за пиджак. — Трактор видишь? За двором.

— Вижу... А Никодимыч где?

— Там, наверно. Подъедем — увидим.

— Нет, так нельзя, — Миха остановил коня. — Никодимыч враз по шее накостыляет. На такое дело он серьезный. Я к нему только разок в сад заглянул, а он меня теперь все время помнит, — и Миха поскреб кудрявый затылок. — Давай лучше коня в

ельнике спрячем, а сами по закрайку подползем. Из-за сарайки все будет видно. Даже наверх можно влезть...

Миха с Фомкой завели Серого в ельник, привязали на длинном поводе, навесили на морду коня торбу с овсом и вперебежку стали подбираться к деревне. Славно было пробежать пригнувшись, опрокинуться в гладкий волосистый метельник, поваляться, проползти вперед и посмотреть — где там Никодимыч.

Никодимыч пока не показывался, и мальчишки без помех добрались до сарая. Невысокий сарай, подгнивший, наполовину раскрытый, стоял как раз напротив пруда. Мальчишки быстро вскарабкались с угла под крышу и сверху увидели Никодимыча. Голова Никодимыча в клеенчатой кепке торчала из пруда и время от времени то кланялась и пропадала, то высовывалась из-за ровного набережного вала.

Мишка с Фомкой спрыгнули с сараюшки и, краудучись, подобрались к пруду. Пруд был достаточно велик — шагов на сто в ширину. Когда-то его вырыли вручную, правильным квадратом. Вокруг пруда торчали темные початки рагоза. Созревшие и легкие, они кое-где распушились желтоватыми летучими хлопьями. Выше по валу щетинилась осока. Мальчишки заползли на вал, раздвинули остролистый гребешок осоки: Никодимыч в болотных сапогах стоял на чем-то твердом посреди пруда и черпал карасей из небольшой выемки широким проволочным сачком. Крупные, сильные, они бронзово трепыхались под косым светом солнца, щелкали хвостами и подскакивали. Никодимыч встряхивал твердый сачок, и тогда сквозь ячейки на голую тину осыпалась мелочь. Крупных карасей он опрокидывал в корзину.

— Эх, да... — шепнул Миха, — а пруд-то он спустил... Фомка глянул на противоположную сторону пруда и увидел там черный выем — глубоко расхваченный навесным экскаватором берег.

— Жулик! — взвизгнул Фомка. Миха придавил его к земле.

— Тихо, — зашептал он в страхе. — А вот он нам сейчас башки пооткрутит... .

Мальчишки кубарем скатились с вала и что есть духу дали Стрекача.

Они плюхнулись в какую-то заросшую канаву, которой раньше не заметили, оглянулись — никто за ними не бежал. Никодимыч вылез из пруда и, приседая на толстых ножках, помчался к трактору «Беларусь», покатил куда-то к лесу. Никодимыч жал вовсю: машина хрюпела, испускала дизельный дым, но вот вломилась в узкий лесной проем, скрылась из виду, и звук мотора стал гаснуть.

— Все... Удрал... — сказал Фомка. — Нашкодил и удрал. Пошли, Миха, пруд глядеть. Миха вылез из канавы.

— За конем сходить надо... А то мало ли что... Жди, если хочешь.

— Нет, и я с тобой.

Фомка с Михою обхеяли пруд на коне. Полеглая трава, густо усеянная карасишками, золотилась и пестрела. В мятых тракторных колеях уцелела водица, и там карасей набилось много — они трепыхались, хватали жабрами остатки влаги, стремились пробиться где глубже, но большинство уже хлопали ртами в последних смертных муках, а вокруг на траве уже подсыхала мертвая рыба.

— Траншею засыпать бы, — горестно сказал Фомка. — А по весне снова вода придет.

— Ты посмотри — он уже второй раз пруд разоряет, — Миха указал на старую канаву. Один раз набил мешки, а этих оставил на другой раз.

— Теперь вся рыба передохнет, — тужил Фомка. — Жалко-то как...

— В яме на средине пруда чего-либо уцелеет, — обнадеживал Миха.

— Зимой промерзнет наглухо — и всем конец. Поехали отсюда, Миха, — чего тут стоять.

Миха стронул коня.

— Фома, а может, рыбки возьмем?

— Не... — отозвался Фомка. — Я лучше сам наловлю. У меня удочка есть...

Рокот трактора стал слышней, но потом ушел в сторону.

— По другой дороге хочет драпать, — прислушался Миха.

— Вроде он тут сроду не был.

Трактор приблизился, но внезапно вскрипел и надсадно заклокотал. Что-то заскрипало в нем во всю мощь, громко хрестнуло, ударило, и вслед за тем легла странная колодезная тишина.

— Эй-ей-ей-ей! — вскинулось через минуту над лесом. — Помоги-тя-а!

— Хать ты черт! — всполохнулся Миха. — Придавило мужика. Опрокинулся с перепугу!

Он ужалил коня плеткой под брюхо, конь взбрыкнул и понес туда, где закричал попавший в беду человек.

Глава XV НИКОДИМЫЧ

Крик оборвался так же внезапно, как и возник. В ушах еще натянуто и высоко звенел этот отчаянный звук, а лес молчал, дремучий и спокойный. Конь быстро протрусил до ельника и вознамерился было влезть в чащобу, но Миха заставил его свер-

нуть в чистый просвет меж елями. Отсюда начиналась полуза-росшая просека. Тянуло сыростью, раскисшими грибами, а где-то впереди отзывался острой кислинкой запах мшарица. Вскоре просека уткнулась в край болота, и Мишка остановил коня.

— Правее орал вроде... — прислушался он к тишине.

— Больше не орет, — тревожно отозвался Фомка.

— Готов, поди... — Миха обстоятельно, по-мужицки про-кашлялся и закричал что есть духу: — Эге-гей! Никодимыч!

Лес молчал.

— Давай покличем еще, — посоветовал Фомка.

— Давай.

— Эй, Никодимыч! — завопили два ребячих голоса.

— Ого-го-го! — вдруг басовито отозвалось в низине.

По кромке болота тянулась хорошо промятая лосиная тропа, и Серый засеменил по ней копытами. Деревья рассступились все шире и шире; за крупным ельником появился бронзовый сосняк, потом по взгорью набежали березы, и тропа круто вывела к суглинистому взлобью, желтевшему средь леса. Там в низинном провале блеснула вода. Серый вынес седоков на просторное место и, фыркнув, встал.

Внизу, средь черной жижи и гнилых торчащих бревен, сидел на экскаваторном ковше человек. Чумазый, в осклилой затхлой тине, он моргал глазами и держался руками за железные ребрины.

— Никодимыч, ты, что ли? — догадался Миха.

— Ребятики, — в страхе молвил Никодимыч, — трактор-то вниз затягивает...

— А ты плыви...

— Ногу мне повредило — утопну я... Слава богу, вот рычаг надавил нечаянно, когда на дно шел, — ковш ну и вскинулся... Не то каюк бы мне... Тут никакому пловцу через трясину не выбраться...

От глинистого взлобья до Никодимыча темнело метров на десять вонючее болотное месиво. Проплыть тут по хлюпкой жиже через гнилые сучья, палки, коряги и обломки бревен было невозможно: завязнут ноги, руки, и засосет кисельная гниль. Свою обреченность Никодимыч понимал, и ему было теперь ни до чего. Сгоряча сунулся он с трактором в объезд на Гнилой мост — так называлось это место. Люди издавна мостили через болото переход. Потом деревня съехала, бревна прогнили и держались на плаву. Под трактором гнилой мост рухнул, как раскисший блин.

Миха с Фомкой спрыгнули с коня.

— Никодимыч, а ты, может, зря думаешь, что тонешь? — спросил Фомка. — Мы бы часа за четыре до села доскакали за мужиками!

— Не-ет... — жалобно отозвался Никодимыч. — Вы, ребятики, теперь тут помочь оказать мне должны — так вас в школе учат...

— Слыши, Никодимыч, — посоветовал Миха, — а ты потрожь вон то бревно, что с тобой рядом.

— Ну... — отозвался Никодимыч.

— Как оно плавает? Держит?

— Держит.

— Если трактор засасывать глубже начнет, ты за бревно уцепишься.

— Вот спасибошки, — обрадовался Никодимыч.

Мишка смотрел вокруг блестящими острыми глазами, соображая, что предпринять. Фомка сутился, хватал то палку, то искал слегу.

— Слыши, Никодимыч, — окликнул Миха, — у тебя там в тракторе веревки нет?

— Так ежели и есть, как ее достанешь?

Миха ткнул в болотную жижу палкой.

— А что, если мы тебе длинную слегу срубим? С сучком на конце. Ты пошарь ей, как крючком. Если веревку нашаришь. Серый тебя на берег вытащит.

Мальчишки достали из переметной сумки топорик, срубили высокую березку и кинули слегу Никодимычу. Никодимыч пригреб слегу к себе, развернулся и принялся. шарить слегой. Он поводил деревянным крючком и вдруг хихикнул, точно от щекотки:

— Ай, вот-сь она! Всплыла! Ой, топнет! — Никодимыч схватил осклизлую веревку.

Судорожно перебирая руками, он собрал веревку в кольца и сильно метнул ее к берегу.

— Давай-давай, ребятушки, — приговаривал он. Конец веревки упал у самого края.

— Коротка! — крикнули мальчишки.

— Ничего-ничего, — взахлеб бормотал Никодимыч, — за слегу навяжем, будет как раз...

Серый проволок Никодимыча по кислому болотному месиву. На взгорке Никодимыч отполз на карачках от топи для верности еще метров на пять, сел, смахнул с лица грязь ладонью и смачно выругался.

— Ну, хлопчики, — сказал он, — в больницу меня надо отправлять немедленно.

Никодимыч встал и, прихрамывая на правую ногу, подошел к коню.

— Тут харчишки, что ль, ваши? — пощупал он сумку.

— Ладно — оставим. Телогрейки, что ли, две? Тоже до кучи, — рассуждал он. Отвязал веревку, на которой его вытащи-

ли. — Так вот, значит, я поеду, а вы — так это по дорожке и топайте помалу. Мужики вы бравые. Тут вы нигде не сбьетесь...

Он уже собрался взлезть на коня, но вдруг замешкался и, опервшись рукою на холку Серого, приложил палец к губам:

— А про то, чего здесь видели, — ни гу-гу... Ларец там в пруд когда-то кинули... Я его сам ногой щупал. На нем и стоял. В тине он. Засосало. Потому, и пруд спустил. Ну а карасей-то жаль. Вот я их и почерпал, чтоб не пропали зря. В ларце-то денег старинных под самую крышку...

— Ну?! — удивился Миха.

— Вот те и ну! Вот подлечусь как — достанем, в музей сдадим. Нам за то еще и двадцать пять процентов от ихней стоимости отвалят. По закону. А пока не того — не шурши... Поняли? Народ-то он какой? Враз уволокут. Кинутся скопом за процентами.

— Уж так и кинутся? — усомнился Фомка.

— Ну ладно — ты не кинешься... А другие как навалются — весь пруд затолкнут, всех последних карасей передавют. А про музей так уж и не говори: ничего не попадет туда. А вы кто? Пионеры! Богатство это самое историческое охранять, стало быть, должны. Ну и честно, чтоб без обиды, на всех троих. А коли деньги вам не нужны, — и то лучше. Для Родины, скажут, постарались, значит.

— Для Родины можно... — согласился Фомка.

— Так а я про что? — Перебил его Никодимыч. — Не приведи бог, прознает если кто-либо! На вас первых свалют: мол, сами сперли все да потом и перепрятали. Вот то-то. Поняли, какая лапша тут получается?.. Так что гляди: молчок намертво...

— Ну да мы никому! — в два голоса заверили ребята.

— Вот это так! — похвалил Никодимыч. — Чтоб ни гу-гу! — еще раз напомнил он.

Никодимыч взвалился на коня и шваркнул Серого палкой по крупу. Серый метнулся и понес круто вверх, отметая глину копытами.

Мальчишки постояли, оцепенелые, удивленные. — Слыши, Фома, айда к пруду! Достанем ларец, — опомнился Миха.

— Нехорошо. Нечестно. Тебе тайну сказали, а ты? Мне баушка говорит: обманом жизнь не проживешь.

— Ха! — Миха пошмыгал носом, вздохнул. — Уж больно ты бабушку слушаешь! А мой вон батька говорит: бабушка надвое сказала! Чего ж теперь? И на пруд взглянуть нельзя?

— Ну ладно — пошли, — согласился Фомка. — На пруд чего ж не посмотреть...

Глава XVI ТРЕВОГА

Домой Ростислав Никодимыч не заехал и, как был весь грязный, проскакал мимо Новина в Бессоновку к врачу. Он поступил в участковую больницу с растяжением жил в правой ноге. Там его отмыли, наложили тугую повязку на щиколотку, и он позвонил средь ночи председателю колхоза, что попал в беду.

— Дровишек матери-старушке решил приглядеть, — со-крушился он, — и вот, как на грех, поувечился. Ты вот что, председатель, — посоветовал он в трубку, — парнишек там двоих отметь — Мишку-цыгана да фомку, бабки Натальи внука. Геройские пацаны, можно сказать. Мне помочь оказали. Там, за Суходолом. Ты не поскучись, председатель, купи там им по спиннингу, по фотоаппарату либо... Похвали их там на собра-нии, что ли...

Он не сказал, что бросил ребят в лесу. Но Фомка с Михой не вернулись в ночь, не вернулись наутро, не вернулись за весь следующий день, и в поселке о пропаже ребят забеспокоились не на шутку.

Валька созвал отряд на лужайке у правления колхоза и предложил сейчас же идти через Суходол в лес — кричать, искать, светить фонариками. Председатель колхоза выделил громадину трактор «Кировец», который легко пролезет в глубь леса, остановится там и не будет глушить мотор до утра, а время от времени сигнализировать. Шум трактора раскатится далеко, и мальчишки наверняка пойдут на этот звук. Набрались ребята из других отрядов. Отряды разделились пополам. Первую группу вел Валька, вторую — пионервожатый Сема. Маргарита Тихоновна ехала на тракторе, с ней в кабину увязалась Светка.

Цыган Василий попросил свезти его в Бессоновку за конем.

— Вот ведь какой парень у меня... Эх... — сказал он,широко вздыхая. — Коня отдал, а еще цыганом называется.

Но тревога мучила Василия куда как больше, чем других. Он-то понимал, что на спине Серого уместились бы трое — и взрослый, и двое мальчишек. Но почему Никодимыч приехал один?

Василий пригнал коня в Новино во второй половине ночи, привязал к тыну и постучал к бабушке Наталье в окошко.

— Эй, старуха, спиши?

— Чего барабанишь-то? Стара я, в окошки-то ко мне ломиться...

Бабушка Наталья скрипнула половицами, ступила на крылечко. Сиял месяц, в мягком сиянии неба старушка похожа была на лесную невеличку-бабушку, что вышла погреться в серебристый тихий свет.

— Видала, что делают? — говорил Василий. — Вторую ночь дома не ночуют. Кнута захотели...

— Полню, Василий, — остановила его старушка, — не томи уж душу, говори как есть.

— Да уж что там, старая... Пропасть в лесу не пропадут. Да ведь вот этот плешиивый из болота вылез. А вдруг наши-то в болоте потонули? Хотел я повыспросить, да сестрица в палату не пустила, а сам плешиивый ко мне не выглядел. Спасибо, коня люди добрые покормили да поберегли.

— А ты сердцем-то что чуешь?

— Да сердцем понимаю, вроде беды нет... Живы... Ох, и драть я своего буду, и твоему достанется кнута.

— Чудак ты, Василий, — на ребячьеи спине лечить свою болячку хочешь. У них, поди, со страху сердце теперь занялось, а ты им кнута готовишь. А все потому, виши ты, что сердце твое забеспокоилось. Тронь только, леший косматый. Да я тебя сама костылем проучу.

Котофеич потерся о ногу старушки и басовито замурлыкал.

— Что? И тебе не спится? — спросила кота бабушка Наталья. — Не видать твоего заступника. Непутевый он. Ты-то на печи вон, а он где теперь? Дрогнет поди-ка...

— Костер запалят. У костра-то как хочешь согреются, — успокоил Василий. — Нам только, старая, видно, нынче не спать. Покормлю коня и в лес подамся... Ух, худо ждать, бабка. Душе на ходу всегда легче.

Василий постоял еще немного, взял Серого за повод и повел домой. Жена не спала — ворожила, раскинув карты на широком сундуке.

— Ну что там? — спросил ее Василий.

— А ничего... Целы... Лихой человек беду им напрочил... Печаль... Дорога к дому...

Василий оседлал коня часа в три утра, когда октябрьский поздний рассвет широким тусклым пятном едва-едва занялся в небе. Минуя нижнюю дорогу, он пустил коня вдоль старых гумен, а там напрямик — через поле на пролески и на Суходол. В пролеске раскустился мелкий осинник, через который проторили тропинку грибовики. Серый медленно тукал копытами и мерно похрапывал на ходу. Осенняя стынь, склонувшая на выезде с села, не сквозила в лесной гущине, и конь сильнее грунел здесь от усталости, еще не скинутой от прежней гонки.

За Суходолом Василий поехал через три поляны. Он знал эти места и, сокращая путь, не петлял по старым дорогам. Нынешней осенью в той стороне, далеко за Суходолом, Василий слышал на заре далекий волчий вой. Волчий выводок бродил где-то там на границе с соседним районом. Василий верил, что мальчишки не пропадут, а вот если натерпятся страху —

это плохо. С детства перепуганный человек всю жизнь жмется душой. Что говорить, Мишка — парень расторопный, вольный, он и на дерево вскочит, и костер запалит, и в стогу зароется, и корней рогозных напечет, чтобы с голоду не пропасть. Но мало ли что... Да уцелел бы только...

Плещивый, чего доброго, и в трясину мог обоих покидать. Накануне Фомка прибегал к Мишке. Шептались. «Карасищи-то — во! — сопел Фомка. — Вяленые. Валька видел и Федька тоже. Полому и яму закопал». И что за караси такие, и откуда они тут завелись? И какая яма? Слышино было, что Никодимыч где-то карасей будто бы ловит. Неужто с пацанами чего не поделил? У родителей сердце на версту вперед беды торопится. Всякое надумаешь.

Василий ехал и ехал от поляны к поляне. Что-то неясное, смутное тревожило его. Какой-то дух беспокойства и напряжения, незримый, но существующий, прятался среди темных елей, таился в тени стволов и в блеклом просветлении полян.

На выезде к третьей поляне Василий остановил коня и, подавшись вперед, посмотрел туда, где на поляну заступило несколько елок. Невысокие и густые, сарафанно раскидистые, они стояли хороводом и застыли, будто всего лишь на миг, чтобы с минуты на минуту сдвинуться плавно, выйти на средину поляны. «Спят где-либо под елкой», — подумал Василий про ребят. — Сон под утро кого хочешь сморит». И вдруг ему почудилось, что крайняя елка чуть-чуть шевельнулась, плавно, как улитка, сдвинулась с места и замерла. Василий протер глаза, взглянул вперед — и все повторилось снова. Точно так повторялось и раз и два, пока он не понял, что это обман зрения. «А каково мальцам!» — снова подумал Василий и, поеживаясь от набежавшего холода, поехал через поляну.

Василий еще с полчаса пробирался по лесу в предрассветной мгле. Постепенно мутная расплывчатость теней сменилась четкой прописью деревьев, и Василий услышал далекий шум трактора. Галдеж и крик, что затягивали в лесу ребята с вечера, умолк, и только рокочущий звук дизеля катился по лесу устало и монотонно. Василий направил коня в ту сторону и вскоре выбрался на старую дорогу, где промял две глубокие колеи тяжелый «Кировец». Потянуло смоляным дымком костра.

Под утро ребята сбились на шум трактора и теперь, обогретые, усталые, вповалку лежали на еловом лапнике. Ночью все надеялись, что кто-то обязательно встретит мальчишек или они сами придут на рассвете, но утро, спокойное и яркое, окинуло лес ослепительным светом, а Фомка и Миха нигде не нашлись.

Василий привязал коня и грустно посмотрел на спящих вповалку ребят. Укрытые кто чем — телогрейками и куртками, они зарылись с ушами в одежонку и, разомлевшие, были беспомощны и беззащитны. В кабине трактора, обнявшись со

Светкой, уснула Маргарита Тихоновна. Пионервожатый дремал на тулупе рядом с трактористом. У костра сидели Валька с Колькой. Эти двое, упорнее и крепче других, были взбудоражены неудачей и казались обозленными.

— Ну как, дядь Василий? — спросил Валька.

Василий развел руками и ничего не сказал.

— Теперь светло, — продолжал Валька, — и нечего ходить всем стадом. Можно и по пять человек разбиться.

Валька посмотрел в лицо Василия, потемневшее от бессонной тревоги.

— Идти надо, — поднялся он с места. — Ты, Колька, идешь?

— Иду.

— А ты, Троха?

— Угу... — встрепенулся Трошко.

— Ну и мне сидеть тут нечего, — сказал Василий. — Вы, ребята, какую сторону себе выберете?

— Мы — сюда, — Валька показал на старую деревню.

— А я поперек поеду, — призадумавшись о чем-то, объявил Василий, — на болото, а там вдоль кромки выеду на Гнилой мост...

Валька разделил отряд на группы, взял с собой еще Федьку и Витьку, а Василий поехал один. Он ехал так часа полтора и все в одном направлении. Где-то далеко и звонко катилась на заре по лесу перекличка пионерских отрядов. Кто-то пронзительно свистел, наслаждаясь таким нужным теперь делом, тявкали собачонки.

Василий напрямую выехал к промоинной топи. Русло неширокой низины, петляя по лесу, пропускало паводок, а потом все лето стоячая болотная жижа парилась и тухла на многие версты по лесному затишью. Километрах в шести отсюда, в стороне, по черному хлюпкому застою был проложен наплыvной бревенчатый настил, прозванный Гнилым, и Василий пустил коня вдоль мшаристой кромки в сторону Гнилого моста. Обступила тишина. Вдали ребячий галдеж погас, в лесной непролазной чащобе завязло рокочущее бормотанье трактора. Усталый конь медленно переставлял ноги, понуро свесив морду.

Лес постепенно оживал: засуетились синицы, пропела протяжно желна. Где-то далеко послышался будто знакомый голос. Василий остановил коня, прислушался.

Еще с полчаса ехал Василий, и снова тот же голос позвал его. Было непонятно, звенело ли в ушах или от бессонницы ему мерещился голос сына, но Василий подстегнул коня, заторопился вдоль болота. Жалобно и стонуще канул в чаще горестный звук — «...аатя!» — и снова умолк, чтобы совсем тихо и просыща повториться. Голос пробился из лесу по ту сторону болота, и Василий, резанув плеткой коня, пустил его прямо через болото.

Серый рванулся раз, два и три, — на четвертый скачок завяз по брюхо, — тяжело и стонуще всхрапел и пополз через жадное черное месиво. Круп коня быстро осел, Серый встал на дыбы, высоко поднял голову и пронзительно заржал. Его глаза вспыхнули одичалым блеском, храп оскалился, и он забил передними копытами, вышибай жижу и грязь.

Василий привстал на стременах: впереди до мшарного наплыва оставалось метра два. Чувствуя, как конь свечою уходит в топь, Василий оперся на холку, встал в рост и прыгнул на спасительную кромку. Плавучее торфянище заколебалось, провисло, и Василий, вминая руки в кислую воду, выполз на берег. Он рванулся туда, где только что послышался жалобный голос, замер и увидел два перехлестнутых у вершин ствола. От легкого дуновения ветра они терлись друг о друга, порождая скрипучий, тоскливо очеловеченный вскрик.

Василий вспыхах кинулся обратно к болоту. Конь храл и бился. Над черной жижей торчали уши, и глаза коня, страшно накаленные предсмертной мукой, горели как угли. Но вот Серый простонал, взвигнул и разом канул в трясину. На том месте вздулся и лопнул пузырь, заколебалось по окрайкам наплывное торфянище. Василий сел на валежину, вцепился руками в кудрявое серебро волос, неловко вздернул широкие плечи и сдавленно заплакал.

Глава XVII ПОД ЛУННЫМ СВЕТОМ

Как только Никодимыч ускакал поправлять свое здоровье, Миха с Фомкой подались в одну, потом в другую сторону, предполагая поскорее выбраться на дорогу. Никодимыч промял тут трактором колеи. Мальчишки пошли по одной из них, где виднелись полукружья от копыт, но в быстро набежавших сумерках следы стали теряться, а потом и пропали совсем: Никодимыч свернул в сторону. Тракторная колея тянулась все дальше и дальше, уводила вдоль болота в лесную низину и, наверно, там должна была развернуться назад, иначе Никодимыч не попал бы на Гнилой мост.

— Зря мы сюда топали, — сказал Миха. — Надо бы вдоль болота на просеку выйти, а оттуда — к старой деревне.

— Теперь темно уже, — настороженно огляделся Фомка.

Фомка заметно устал, и Мишка тоже. Без коня прибавилось груза: харчи, одежонка, топорик и сапоги резиновые были тяжелы.

— Придется ночь тут где-нибудь перебиться, — объявил уверенno Миха. — Чего там. Зима, что ли? Пошли, Фома, место выберем посуше. Костер запалим. Ночевать вот зимой в лесу

неловко... Один бок у костра припекает, а другой сводит со- всем. Крутнешься согреть, а за теплое место мороз схватывает, аж еще хуже...

Солнце погасло быстро, и луна, медленно всплывая с закраины неба, еще не высветила лес. Мрак и стынь обступали все плотнее, и мальчишки заторопились выйти на сухой взгорок. Они выбралис из низины, но отыскать ночевку поприветливей никак не могли. Темные деревья и сучья, о которые постоянно приходилось спотыкаться, подгоняли их куда-то. Наконец они совсем сбились с промятой колеи и, вероятно, пошли по кругу. У густой шатровой ели Миха остановился.

— Фома, спички давай, а то мы совсем закрутимся.

Фомка пошарил в карманах непромокаемой куртки:

— Нету спичек...

— А ты пошарь, пошарь... — забеспокоился Миха. — Нет...

— Фомка прошарил все карманы. — Никодимыч одежонку на землю кинул, — вспомнил он, — спички, видно, выпали.

— Э, Фома, а топорик где?

— Вот...

— Давай!

В наступившей тьме Миха на ощупь раздвинул лапник ели, долез до ствола и стал срубать нижние ветки. Он устал лапником усыпанную хвоей землю, сел, прислонившись спиной к стволу.

— Залазь сюда, — позвал он Фомку.

Фомка сел рядом, и они прижались друг к другу.

Невесело взошла луна, вокруг просветлело, и в заполненный тусклым светом лес вступили длинные черные тени. Через еловую прореху было видно, как эти стерегущие тени медленно вставали за деревьями, и лесной мрак постепенно оживал. В лунном свете меж вершинами мелькала блеклая звездочка, а небо не просматривалось вглубь.

Внезапно вдалеке за спиной раздался тихий подголосок, скрипящий и высокий, и за ним вслед потянулся густой и протяжный вой. К этому вою добавились еще голоса, и волчий хор сдавил детские души цепенящим страхом.

Продираясь сквозь густо торчащие сучья, Фомка и Миха взобрались на ель. Они уселись там на сучьях, обнимая ствол. Первое чувство спасительной недосягаемости было так велико, что ребята позабыли и усталость, и страх.

А волки все выли и выли. Изнуренные напряжением, Фомка с Михой до полуночи едва не попадали вниз.

— Миха, я упаду сейчас, — взмолился Фомка.

— И я, того гляди, ляпнусь, — сознался Миха. — Кошелки надо делать, — меня так батька учил, — ватник полой и рукавами навязать меж веток, а потом сесть, как в кошелку.

Фомка заметно обессилен, и Миха привязал для друга его куртку меж узко расставленных веток.

— Сиди, а зря не дрыгайся, — посоветовал он.

Толстые рукава и полы ватника плохо вязались в узлы. Миха выдернул со штанов ремень, второй ремень взял у Фомки. Облегченно дыша, Миха уселся в свою зыбку, дотянулся рукой до друга.

— Эй, Фома, давай орать будем! Волков напугаем.

— А если сюда прибегут?

— А кто их знает...

Волки перестали выть. Набежал ветерок, зацвиркала какая-то птичка, а рассвет едва-едва пробился в небе. В полуодрёмате обнимая ствол ели. Фомка с Михой ожидали утро, и, как только стало видно землю внизу, они отвязали одежонку, слезли с дерева, чтобы выйти вдоль болота к просеке, а там и к старой деревне. Но болото куда-то пропало. Ночью мальчишки уклонились в противоположную сторону.

— Погоди, — призадумался Миха, — Заря-то у нас где? Уходить от нее надо, потому что вчера было наоборот.

Фомка поплелся за Михой, и сквозь деревья проглянулось вскоре мшарище.

— Во, — не без гордости толковал Миха, — как раз нам туда и надо! У меня батька дорогу, знаешь, как понимает! Эге, вот! Что днем, что ночью, что на заре — не собьется. Едем с ним вот летом куда-нибудь, а он дороги ни у кого никогда не спрашивает.

По закрайку болота мальчишки вышли к Гнилому мосту. Остановились на глинистом взлобке. Было зябко и неуютно после бессонной ночи. Ковш экскаваторной подвески все еще торчал из черной трясины.

— Фома, смотри-ка, — усмехнулся Миха, — а Никодимыч до утра-то и не утон бы!

Миновали просеку. В лицо глянуло солнышко, и жизнь на земле объявилась иная, веселая, хлопотливая, светлая. Через открытый выгон мальчишки припустились бегом, но выдохлись тут же. Дотянули до сарая из последних силенок, взобрались наверх, плюхнулись на старую сенную труху. Никакие волки не могли здесь до них дотянуться. Фомка с Михой приткнулись друг к другу головами и сразу заснули глухим, беззвучным сном.

Они проснулись в сумерки. На широком травянистом прогоне было еще светло. Солнце только что кануло в непроглядный еловый вершинник, и где-то в дальней дали за лесом вечерняя заря развернула по небу свой красный венец; она быстро тускнела и гасла, словно угольный жар под синеватой пеленою пепла. И снова ночь все быстрей и быстрей надвигалась на землю. Вечернее зарево поблекло, синие тучи с краю неба распластались над потемневшими вершинами и застыли

там, тяжелые и угрюмые. Четко обозначилась в небосводе низкая луна, а над мертвым прудом воспарил белесый холодный туман.

В тишине заброшенной деревни было боязно говорить. Что-то таинственно глухое пряталось здесь. Два полуразрушенных дома смотрели тьмою пустых проемов окон. Луна распространяла тускло-прозрачное сияние вокруг, и над чернеющей плотиной засверкал распластанный туман. Легкая изморозь заискрилась на травах, мутной дымкой окутался лес.

Мишка с Фомкой спрятались в тень уцелевшей половины крыши. Спать пока не спалось. Напряжение минувшей ночи и полный смутной тревоги дневной сон расслабили ребят. Они вспомнили, что ничего не ели с того часа, как уехали из дома. В сумке имелась литровая банка топленого молока, закрытая пластмассовой крышкой, каленые в печи яйца, ломтики сала, хлеб. И вдруг голод, лихорадочный и нестерпимый, проснулся в них, отошедших со вчерашнего дня. Миха с Фомкой не заметили даже, как смяли все.

Неподалеку за прудом над ключьями тумана беззвучно мелькнули в воздухе крылья. «Ке-ке-ке-кеу! Ке-ке-ке-кеу!» — раздалось по лунной тишине, и тупоголовая быстрая птица села на торчащие стропила дома. «Кеу-кеу», — отозвалось издалека, а в лесу, вдали, в низине пробухало и прокатилось: «Гу-гу-гу-гу!»

Затаившись на сарае, мальчишки заметили, как от широкой опушки по серебристой, схваченной изморозью траве пробирается лиса. Лиса то принюхивалась к чему-то под ногами, то трусцой продвигалась прямо к пруду. Вот она скрылась в тени за плотиной, а потом сразу объявилась на открытом месте, где на траву током воды вынесло рыбу. Лисица аккуратно совалась носом к выемкам и вмятинам на земле. Видно, бывала она здесь не впервые и понимала толк в карасях. Около размыва, оберегая лапы от сырости, лиса прошлась по кругу, и когда стала боком под лунный свет, то оказалась длинной и поджарой: зверь еще не полностью оделся в зимний плотный мех.

Вдруг лисица прянуть в сторону, подняла голову и насторожилась. Чуткие уши и нос восприняли приметы, тревожные, незваные. Что-то появилось там — со стороны опушки, у леса. Сверкнув зелеными блестками глаз, лисица вспрыгнула на отвал пруда, на секунду замерла и сразу же нырнула вниз.

Она на мгновение исчезла в черной тени и объявилась далеко на выгоне, мелькнула там раза два и совсем пропала. На краю опушки обозначились светло-серые подвижные пятна. Прямо и неторопко очи плыли в сторону пруда. Сколько их было — шесть или восемь — Миха и Фомка не считали, только под сердцем защемил непрошенный страх. Что-то уверенно зловещее пропустяло в движении новых зверей. По мере при-

ближения прояснились очертания первого зверя, крупного, гравастого, на сухих, легких ногах. За ним цепочкой бежали остальные, ростом поменьше, а чуть сбоку, отступя на шаг, трусцой бежал еще зверь, плотный, приземистый и широкоспинный.

— Волки... — чуть слышно выдохнул Фомка и подался назад, поглубже под крышу.

— Они... — тихо согласился Миха.

Фомка с Михой, притихшие и обомлевшие, видели, как волки подбежали к пруду, где только что кормилась лисица, и принялись хватать карасей прямо с земли. Двое — крупные, как видно, волк и волчица — прошли вперед к размыву и кормились там, потягивая кверху морды. Волки молодые скакали, прыгали, метались, опережая друг друга. Два молодых волка столкнулись носами у промоины, вскочили на дыбки, бешено хрюпя. Старый волк рванулся, скачком настиг молодых, хватнул крепкой пастью одного, другого. Молодые волки взвизгнули, и порядок снова воцарился в стае: старые волки ели в стороне у промоины, где больше всего накопилось рыбы, молодые шлепали лапами по воде, лезли в грязь. Обшарив место около пруда и сожравши все, что было перемешано с ряской и тиной, волки поплелись вразвалку к негустому осинничку, который светлым островком разросся поодаль от последнего старого подворья.

Очертания зверей смешались и тускнели, потом превратились снова в светло-серые подвижные пятна, которые исчезли совсем, когда волки забрели в осинник.

Нажравшись, волки не выли.

— А что, Фома, давай спать, — посоветовал Миха. — По мне — лишь бы крыша. В шатре с батькой здорово спать, — вспомнил он с наслаждением. — Две перины под себя, одной периной укроешься — аж плывешь... На любом холоду жарко.

— А голову отморозишь если? — усомнился Фомка.

— Голова — она волосатая, ей ничего не будет.

Миха ногами зарылся в сенную труху, укрылся телогрейкой. фомка медлил, стараясь взглянуться в мутно светлеющий осинник.

— Ложись спать, — советовал Миха. — Накормил волков Никодимыч. Эх, пропал такой-то пруд. Знать бы раньше — все лето сюда бы ездили...

Миха поерзал, поплотнее укрылся. Спать на воле ему было привычно. Просторнее дышалось ему на воле, а домашнее тепло принималось только зимой.

Фомка тепло любил не меньше Котофеича. В Костроме, в городской квартире родителей, он затевал нытье, почему нет никакой печки. Он сопел и пыжился кашлять, чтобы попасть в деревню на волю и печь. Четвертый по счету в семье и самый младший. Фомка извлекал выгоду из своего положения. Фомка

тянулся в деревню и хорошо понимал, что человеку невзрослуому старшие уступают быстро, когда затеешься ныть. Фомку берегли, опекали, покупали ему конструкторы и всякие там заводные игрушки, но он мог сутками изводить всех нытьем и воплями. Наконец он добивался своего — жить на воле у бабушки Натальи: быть на речке сколько хочешь летом, кататься зимой на санках с любой горы, лазить по сугробам, на лыжах ездить в лес, лежа на прогретой печке рядом с Котофеичем, ждать парного молока. И катилось тогда времечко, как солнышко по небу, — и радостно, и светло.

На сенной трухе старого сарая Фомка долго возился и все никак не мог улечься. Потом он притиснулся к Мишке спиной, укрылся с головой курткой и сладко засопел. Ему привиделась добрая-добрая бабушка Наталья, Котофеич на печи, а во дворе корова Белянка.

Ночь, прозрачно застывшая, распростерлась над заброшенной деревней, и опять всклёкала сова: «кеу-кеу-кее-ке-ке». Чухнул в бору филин, выскочил из чащобы перепуганный заяц, замер столбиком, повертел ушастой головой и скакнул назад, высоко подкинув пятки.

Волки отдыхали в осиннике. В волчьей жизни сытое брюхо главное всего. Всю рыбу волки сразу сожрать не могли и под утро наведались к пруду снова. Осоловелые и вялые, грязные и мокрые, они скрылись в блеклой стыни утра.

А небо полегонечку светлело. Луна погасила сияние свое и, как обведенная иглою по краям, четко обозначилась в синеве. Две-три звездочки, ослепленные ночью лунным сиянием, замигали трепетно, запуганно и виновато. Вскрикнул проснувшийся ворон, зацвикиали птички — приближался новый день.

Фомка сладко еще сопел во сне, а Миха проснулся. Он просыпался чутко и враз, мгновенно принимал звуки, запахи и свежесть утра. Миха приподнял кудрявую голову, глянул в небо и по сторонам. За лесом, пунцово вспыхивала заря.

— Эй, Фома! — он толкнул друга в бок. — Начинай жить! Так мой батька говорит.

Фомка проснулся надутый и недовольный. У бабушки Натальи он привык вставать спозаранку, а здесь пораскис, поразмяк и не хотел подниматься с нагреветого за ночь места. Но делать нечего: Фомка вытряхнул из-за воротника сенную труху, протер глаза.

По белесой траве, прихваченной утренней изморозью, Фомка с Михой вышли на старую дорогу и бойко зашагали по ней. Примерно через час они заслышили далекий рокот трактора и пронзительно звенящие по лесу голоса. «Фомка! Миха!» — кричал кто-то. «А мы ту-ут!» — что есть мочи ответили мальчишки, и Валька с ребятами припустились бегом навстречу к им.

Василию дали знать горном. Накануне условились: если найдут — трубить три раза кряду. К счастью, нашлось поваленное дерево, и Василий перебрался через топь. Всклокоченный, усталый и постаревший, он гладил узловатыми ладонями Мишкину голову и все повторял:

— Эх ты, цыган... Вот цыган... А мать-то тебе пирожков в столовке купила... Ей-богу... Штук десять... вот...

Глава XVIII НЕ ВО СЛАВУ ПОЧЕТ

Ростислав Никодимыч не сразу вышел из больницы. От сидения в болоте у него возник радикулит. На людях он хромал и держался ладонью пониже поясницы, толковал о разных средствах при такой вот напасти.

Трактор «Беларусь» зацепили тросом, поддели стальным крюком, и мощный «Кировец» вытащил его на берег. В машинной мойке, возле колхозной мастерской, тугой струей смыли с трактора грязищу, и он снова заголубел блестящей эмалевой окраской. Потом машину заправили чистым горючим, сменили смазку и завели. Механизатора на такую машину не сразу съяешь, трактористов в колхозе не хватало, и председатель любыми средствами старался удержать в хозяйстве каждого из них. Ростислав Никодимыч и планы перевыполнял постоянно, и дело делал, и зарабатывал хорошо — потерять такого специалиста было бы начисто.

Все знали, что Никодимыч хочет уехать, но председатель рассчитывал удержать его, пока не отлажена подача воды на комплекс, в котором помещалось триста коров. Трубы к комплексу проложили неудачно: при строительстве не учли, что береговой оползень разрушит водопроводную сеть. Так оно и вышло: по весне трубы покоробило, требовалось перестроить водоснабжение. Новую скважину пробурили на горе, в твердом месте, и теперь торопились подвести воду к ферме до заморозков. Ростислав Никодимыч выполнял главную работу — тянул траншею от скважины к ферме. Без него колхозу пришлось бы договариваться с какой-либо строительной организацией, а там — сметы, проекты, из-за которых на прокладку водопроводных труб уходят месяцы.

Ростислав Никодимыч видел нужду колхоза и знал цену себе. Правление шло на хорошую сделанную оплату,

потому что дело стоило затрат, а по окончании работ в конце октября предполагали среди лучших работников колхоза вручить премию и Ростиславу Никодимычу.

Подзадержавшись в больнице лишних два дня, Ростислав Никодимыч выписался в аккурат к субботней бане.

— Хворать мне некогда, — возвестил он великолепно, — работа в колхозе стоит.

На председательском «уазике» Никодимыча привезли домой.

Разрытый старый пруд за восемнадцать километров от Новина было недосуг кому-либо смотреть. Остатки дохлой рыбы растащили вороны, доели волки, разрушенный берег осыпался, сдержал остатки воды, и среди более важных дел некогда было думать, кто тут поживился карасями. Любопытство мучило Миху. Он что ни день зудил: «Эй, Фома, махнем на пруд!» Он готов был снова где-либо увести коня, но в школе шли занятия, кроме того, восемнадцать верст и волки на пруду пугали Фомку. Да и Фомка никак не мог согласиться, чтобы тайно, без Ростислава Никодимыча утащить находку. Но заметив как-то Никодимыча, который только что вышел из ремонтной мастерской, Миха дернул Фомку за рукав.

— Айда слово утопленнику скажем, — и первый помчался наперерез Никодимычу.

— Никодимыч, а когда же на пруд-то поедем?

— А не торопись... не торопись, ребятки... — поперхнувшись, Никодимыч заспешил было, но Миха не отставал.

— А все-таки? — выспрашивал он.

— А дела, дела, ребятки, — примирительно заворковал Никодимыч. — Ну и сами понимаете, развал-то на пруду пробкой затянуло, — водица-то опять накопилась, а мы ее жах! — и спустим... Нехорошо... Карасишки-то последние передохнут. Вот ведь какая вермишель тут получается. Вот и обидим мы с вами, значит, природу. А природу обижать нельзя. Вы вон как-никак, а пионеры...

— Октябрята мы, — поправил Фомка.

— Ну и ладно, — согласился Никодимыч. — Все одно передовая, значит, молодежь. Из того же теста сделаны... Досужи до всего, стало быть... А я полагаю, все как следует надо сделать: либо ковшом экскаваторным, либо тросом ящик тот подцепить и наружу вытащить. В тине он засел, так что либо пруд надо спускать, либо вот так аккуратно, честь по чести все сделать. Тут, я полагаю, обождать надо, работы колхозные завершить, а вот уж как по итогам праздник пройдет, так мы втроем к пруду и поедем. С легким сердцем, значит. Потому как долг свой трудовой выполним. Ясно?

— Ясно, чего ж тут не понять, — согласился Фомка. Миха промолчал.

— А пока — ни гу-гу... — сурово напомнил Никодимыч и снова приложил палец к губам.

За работу по прокладке водопровода Никодимыч взялся рьяно. За неделю второй половины октября он отгрозил

столько, что другому хватило бы на месяц. Его лик, полный и круглый, поместили на Доске почета, и весомость Никодимыча в колхозном хозяйстве возросла.

Фомку с Михой причислили на селе к героям. В детском садике организовали нечто вроде приема. Малыши встали за столом и хором крикнули: «Здравствуйте, Фома и Миса!» Взрослые мужики по-дружески подавали спасителям человека натруженные, крепкие ладони, женщины совали в карманы конфеты, а бабушка Наталья целую неделю кормила обоих сметаной да сливками и вволю отпаивала парным молоком.

— Во жизнь! — довольнехонько смеялся Миха. — А давай Никодимыча как-нибудь сами утопим, а потом за шкирку опять вынем! Соврем ему про болото погуще, что караси там водятся, и покажем дорогу туда!

Фомка пожимал плечами, терялся и не знал, как применитьсь к жизни теперь, когда его так нахваливали. — Ходить в героях было лестно, но исковерканный пруд, россыпь погибших карасей и смутное недоверие к Никодимычу не давали ему жить спокойно. Он все норовил попасться Никодимычу на глаза, но тот, занятой, деловитый, старательно избегал встречи с ребятами и только однажды, столкнувшись с Фомкой в упор, подмигнул мальцу, приложив опять-таки палец к губам: «знай, мол, да помалкивай, придет время — свое возьмем».

И вот кончилось страдное время, наступил праздник, и в очередное воскресенье, часам к трем дня, Мишку и Фомку пригласили в колхозный Дом культуры. Пришел за ними Валька в новехоньком красном галстуке, в отутюженных брюках, в блестящей куртке на молниях.

Мальчики вышли на улицу, по которой, не торопясь, ехал на телеге Иван Федосеевич.

— Здравствуйте, Иван Федосеич!

— Здорово, мужики! Садись, подвезу!

Ребята попрыгали в тележную кошелку с какими-то коробками.

— А я вот хлопочу, — пояснил бригадир. — Банquet поручено готовить.

Конь медленно затрусили по проселку мимо домов с резными наличниками на окнах, мимо палисадников с рябинками, с черемухой, с сиренью, мимо колодцев с тесовыми навесами. Ездить в Новино по улицам на тракторах было запрещено, и потому улицы были ровнехоньки, с травой-лапчаткой, без колдобин. На бархатистой травке гуляли куры, вылеживались гуси, накормившись до отяжеления, играли котята, смешно выгнув спину и задрав хвосты.

— И-их, какая благодать-то, — сказал Иван Федосеевич.

— Ну где вот такое еще найдешь? А ведь дураков не перевелось: вот вчера только ездил на то место, где Никодимыч чуть

не утоп. Так вот там кто-то пруд начисто разорил. Спустил воду. А зачем? Нет чтобы место оберечь. Эх, народ! А еще какой-то олух потехи ради, видно, сундук со старыми валенками да сапогами по пруду плавать пустил. Деревню бросил, а добро свое это оставил.

— Какой сундук? — спросил Фомка, холodeя от догадки.

— Как какой? Да самый обыкновенный. Небольшой такой. Плавал он плавал, видно, намок да утоп. Гляжу, в тине крышка обозначилась на самой середке. Полез я к нему, чудак этакий, по грязище. Уж не добро ли, мол, какое? ан — валенки гнилые с сапогами...

* * *

Маргарита Тихоновна встретила ребят сразу же у входа в Дом культуры и повела их поближе к сцене. Фомка, недовольный, красный, насупленный, все порывался что-то сказать Михе, но звучали речи, меж ребятами стояла Маргарита Тихоновна, а когда пришел черед чествовать передовиков, народ нахлынул с улицы. Стиснутый со всех сторон Фомка стоял жаркий, потный, нелюдимый. Счастливые люди выходили на сцену — им воздавали честь и награждали премией.

Ростислав Никодимыч получил премию в числе первых и сел на свое место очень важный и самодовольный.

— А вот теперь и юные герои наши! — объявил громко председатель и показал на Мишку и Фомку. Председатель весело улыбался.

— Тут особый случай! — он отодвинул стул и вышел на средину сцены. — Тут мы должны поздравить наше новое, очень молодое поколение за смелость, за находчивость, за стойкий характер!

Мишку с Фомкой завели на сцену. Они стояли рядышком, пунцовые от смущения.

— Вот эти два героя, — звучно огласил председатель, — человеку жизнь спасли! Не дали погибнуть нашему передовику, лучшему трактористу-экскаваторщику колхоза Ростиславу Никодимовичу Солонцову! Поздравим же наших героев, дорогие товарищи!

Председатель ударил в ладоши, и весь зал шумно поддержал его.

— А так как они ребята свойские и знают толк в рыбакских делах, то правление колхоза решило отметить их поступок и премировало... — председатель замешкался, отвернулся к столу. — Вот вам, ребята, по спиннингу, а еще — два велосипеда под ваш рост...

Фомка с Михой, оглушенные вниманием, оторопело смотрели в зал. Пионеры с обеих сторон сцены выкатили к ним два сверкающих велосипеда, а спиннинги поставили к плечу каждого.

го, как ружья. Ослепительно блеснув вспышкой, местный корреспондент запечатлел Фомку и Мишку со спиннингами, торчавшими кверху, и велосипедами, приткнутыми сбоку.

Ростислав Никодимыч сидел в первом ряду неподалеку от сцены. Он тоже улыбался и хлопал в ладоши. Его крепкая шея надулась под тугим воротничком белой рубашки в крапинку; на сиреневом галстуке поблескивал золоченый зажим; каштановый пиджак придавал весомую значительность всей фигуре Ростислава Никодимыча.

Фомка сначала и не заметил его в первом ряду. Множество лиц сливалось в одно. и только ощущив на себе пристальный взгляд, Фомка увидел Никодимыча. Никодимыч сидел в кресле, почти как в ковше на болоте.

«Вот ты, малец, сейчас раскиснешь от подарка, — торжествовал Никодимыч. — И позабудешь про все».

Фомка вперился в глаза Никодимычу. Его взгляд, сверкающий, готовый, кажется, пронзить насквозь, насторожил тех, кто сидел ближе, и скоро все заметили, что Фомка смотрит на Ростислава Никодимыча. Шум в зале сам собою умерился. Что-то неловкое примешалось в торжество.

Фомка то бледнел, то покрывался розовыми пятнами и не мог пошевелиться. Это было явно по нраву Ростиславу Никодимычу, он подмигнул Фомке и улыбнулся

— Жулик! — вдруг взвизгнул Фомка и, отшвырнув спиннинг, спрыгнул со сцены. С грохотом упал велосипед.

Фомка вряд ли помнил, как кинулся прочь, прошибаясь головой сквозь взрослых, как оглянулся у входа и всхлипнул.

Он помчался задворьями домой, пронырнул за баню через лаз в штакетнике. Здесь он долго сидел на бревнышке и гладил Котофеича. Две-три слезинки капнули вниз. Фомка шмыгал носом, а Котофеич утешительно, рокочуще мурлыкал.

* * *

В поселке после случившегося стало неловко и нехорошо. Разрушился праздник, упало настроение, поблекло торжество, а кое-кто судачил: «Вот они, детки-то... Все для них... А они?»

Им вторил и Никодимыч.

— Вот каких выращиваем, — говорил он, шумно вздыхая.

Председатель хмурился и будто бы не замечал Никодимыча. Но всего больше председателя смущила Маргарита Тихоновна.

— Всё здесь не так-то просто, Петр Иванович, — запальчиво говорила она. — Душа ребячья, вы знаете, вообще ранима, а здесь какая-то драма! Понимаете, драма! — Да-да... — соглашался председатель, но понять ничего не мог.

* * *

Фомка горевал еще за баней, когда Светка окликнула его.

— Фомка, ты чего тут сидишь? Она просунула голову через дыру в штакетнике.

— Тебе-то что...

— А хлюпаешь зачем? Тебя кто-нибудь обидел? Почему ты удрал?

— Я не удидал, я торопился.

— К кому?

— А тебе чего тут надо? — осерчал Фомка.

— А ничего... Я видела, как ты спиннинг швырнул. Зачем ты так?

— Потому что Никодимыч пруд раскопал и воду спустил...

Большую рыбку себе загреб, а мелочь вся подохла.

И карасями вялеными у пивной торговал.

— Так у нас прудов здесь нет.

— Там есть, где мы с Михой ночевали.

— А ребята, — вздохнула Светка, — знают про пруд?

— Если видели, то знают. А может, и не поняли: думают, что всегда так было.

— Вы им говорили?

— Нет, мы молчали накрепко. Никодимыч нас надул, сказал, что ларец с монетами в тине там торчит, а там валенки старые да сапоги драные...

— Да ну??

— Чё ну? Иван Федосеич тот сундук открывал. А Никодимыч хмыкал над нами... А теперь вот...

Когда Светка шмыгнула назад через дыру в заборе, Фомка посидел-посидел за баней и пошел домой. На кухне, пыхтя и отдуваясь, попил топленого молока, потом залез на печь и заснул там вскоре, разомлевший и усталый.

Скоротечный осенний день быстро прогнал солнышко по небу, и Фомка проснулся только на следующее утро. Сосновый бор по ту сторону речки, высвечененный на взгорье, стоял резко очерченный и величавый. Фомка надел куртку, кепку и вышел во двор. За избой у забора была врыта в землю пребольшущая, глубокая кадушка. Над кадушкой подведен деревянный желоб-водосток. Во время дождя в кадушку на текала вода с крыши. Фомка подошел с незатененной стороны и стал внимательно смотреть в глубинную темень воды. Идти в школу было еще слишком рано, и Фомка пока что никуда не торопился.

— Привет!

Фомка обернулся, — в калитку вошел Валька.

— Ты чего у кадушки скучаешь, Фома?

— А у меня там рак в клетке. Он у меня с весны во какой вымахал! — и Фомка подтянул за бечевку небольшой проволочный садок. — Я его салом кормлю, — пояснил он важно.

— А зачем он в клетке?

— А чтобы карася не схапал...

— А где карась?

— А карась ученый. Он только на свист выныривает. Я еще ясельный был, когда его сюда посадили. Отец нашел его весной в калужине. Принесло откуда-то — он там подыхал. Отец взял и пустил сюда. Вот он и живет. Кашу любит... Пшенную с маслом...

Фомка присел на корточки над зеркальным кругом воды, стиснул зубы и тонюсенько посвистел.

Карась объявился не сразу. Медлительный, сытый, величина в две больших ладони, он показал спину, пустил легкие волны, сделал круг и остановился, легонечко работая плавниками. Фомка достал из кармана куртки хлебного мякиша, отщипнул, бросил в воду. Карась схватил хлеб, проглотил и опять остановился, тараща глаза.

— Никодимыч воз таких погубил, — напомнил Фомка.

— Слыкал, — вздохнул Валька. — Мне Светка сказала. Она всем новость разнесла. А потом жена Никодимыча в магазине с бабами судачила. Мало ли чего, кричала, пацаны наврут. Все они тут хулиганы. Только и глядят, как бы спереть чего да честного труженика оговорить попусту...

— Чего там слушать, — хмурился Фомка. — А ты поезжай — увидишь. Там в яме караси еще остались. А на лугу которые были — тех волки полопали. И лиса приходила. Это когда мы с Михой на сарае ночевали.

— А как ехать?

— Да все по тракторному следу. Теперь туда намяли колею. До старой деревни доедешь — там и пруд.

— Ладно, Фома. Сейчас в школу пора, а на завтра отпросимся да сгоняем туда на велосипедах. Ты потом к вечеру на гумна приходи.

— Не, не пойду... — горестно потупился Фомка. — Я карася кормить буду.

— Ну как знаешь.

Из всех Фомкиных горестей самой тягостной была одна: Миха, друг заветный, от подарков не отказался — взял себе и спиннинг, и велосипед.

Глава XIX ИДОЛИЩЕ ЛУПОГЛАЗОЕ

Фомка так и не переболел обидою, а всего лишь притих от печали. Только на другой день к вечеру улеглась его обида, и Фомка пришел на гумна, хмурый и вялый.

За конопляником собрались Валька, Колька, Трошка, Витька, Федька и Миха, как всегда, веселый и лукавый. Вчера после уроков ребята шестого «Б» поехали до старой деревни. Катили по расхлябанной тракторами дороге велосипеды с рюкзаками. Ночь провели в лесу у костра, утром видели пруд и к вечеру сегодня вернулись усталые и возбужденные. Грязные велосипеды стояли у гуменной насыпи. Ребята еще не заезжали домой, и каждый думал, как бы и что бы такое устроить Никодимычу. Устроить так, чтоб припекло, запомнилось и опозорило. Они понимали: у взрослых дел и без того полно, и тратить время и нервы на человека, который не нынче-завтра уедет из села, было, в общем-то, и ни к чему. Ну что там пруд в какой-то брошенной деревне? Мало ли осталось таких. Убыток невелик, чтоб очень беспокоиться.

Мальчишки сидели на валу, отдыхали, размышляя всяк по-своему. Один Миха скакал по гребню вала — искал, где место поупружистей, с соломой, чтобы зыбилось у него под ногами.

— Эх, вы, — говорил Миха. — Несуразные вы — вот кто! Такой и речку изуродует, а вы будете сидеть и молчать иль у мамули спрашивать, можно ли ему фитиля накрутить?

— А ты, Миха, не трави, а то получишь, — пригрозил ему Трошка.

— Хе-э! Хе-э! — заплясал перед Трошкой Миха и ловко увернулся от затрецины.

— Троха, ты что — маленький? — одернул Валька. — Думай лучше, что предпримем.

— А жалобу начинайте писать! — дразнился Миха. — С лошадиную попону шириной! Во какую! Никодимыч заплачет сразу! Хе-хе-хе! Хо-хо-хо!

Миха мстил за то, что его отец потерял коня, а главное — ему было досадно от упрека, с которым лучший друг Фомка смотрел на него.

— А мой батька говорит, надо делать так, чтоб дураки не поняли, а для умных чтобы весело было!

И скоро...

Цыган Василий в дощатом сарае держал козла. Мухартай был единственным козлом в пегом и короткохвостом стаде поселка. Козел ел все: и репу, и капусту, а то жевал

даже газеты. Темно-бурый и гладкий, он таращил свои синевато-белесые навыкате глаза с узкими прощельными, как у змеи, зрачками. Идолище лупоглазое — так нарекли козла Мухартая. Воистину упрямый по-козлиному, он был еще невыносимо, назойливо бодлив. Дурной характер укоренился в нем давно, потому что козла постоянно дразнили мальчишки. «Кезя! Кезя! Бе-е-е!» — визжали они, кривляясь и бегая вокруг.

Козел, скосив голову и мелко перебирая копытами, целил рогами и вдруг с подскоком кидался за ними. Мальчишки стремительно и врассыпную взлетали у магазина на забор. За забором высилась горою пустая тара — ящики. На ящиках можно было стоять, опираясь о забор руками, и орать в свое удовольствие целый час — все обеденное время, пока закрыт магазин. Галдеж, вопли, меканья изводили Мухартая. Он нервно похаживал туда-сюда, не в силах избыть великую досаду: уже в который раз перед козлиными рогами мелькал тощий мальчишеский зад и вмиг исчезал, вспрыгнув наверх.

Кончалась дразниловка после обеда, когда возвращалась продавщица. Мальчишек прогоняли с ящиков, а козел ложился поперек дороги и мучил шоферов. Чтобы не задавить козла, шоферы тормозили и сигналили. Мухартай будто не замечал ни скрипучих тормозов, ни ревущих сигналов. Однако в самую последнюю секунду он отстранялся чуть-чуть — не больше как на палец от переднего колеса. У водителя обрывало дух, а козел таращил бесстыжие гляделки — смотрел на шофера прямо, настырно и не мигал.

И еще водилось за козлом одно: враждовал козел со всеми собаками, каких только знал. Нежное собачье чутье возбуждалось от прогорклого-удушающего запаха зрелого козлища. И собаки порвали бы Мухартая наверняка, но легкий на выдумки Василий навострил рашпилем козлиные рога. Зажатый для такой процедуры, козел мекал и брыкался, но быстро понял силу заостренных, как шило, рогов. Теперь козел не шарахался, не метался, не убегал от собак. Как истукан, стоял он, не шевелясь и не ведая страха. С брехом неслась к нему собака. Козел смотрел будто в сторону, но стоило собаке налететь, как в последний миг Мухартай подставлял ей жуткие рога. Слегка выгнутые, черные и длинные, они впивались в межреберье, как рогатина. С воем кувыркался пес через голову, скуля, мчался прочь, а потом тякал весь день откуда-нибудь издалека в козлину сторону.

Дом Василия стоял по ту сторону улицы, как раз напротив магазина. Когда козла сгоняли все-таки с дороги, он ложился под окошком у хозяина и часами пережевывал жвач-

ку. Это занятие доставляло ему удовольствие. Бесовские глаза Мухартая блаженно щурились, нижняя челюсть двигалась, как терка, из стороны в сторону, а под челюстью моталась узкая и ржавая козлиная борода.

Посредине улицы мимо магазина ходил на обед и Ростислав Никодимыч. Водопровод он дотянул до фермы, но вода и грязь в тракторных узлах все-таки сделали свое дело. Свежее масло помогло ненадолго — трактор забарахлил в ходовой части и в сцеплении. Ростислав Никодимыч занялся ремонтом. О своем переезде в город он помалкивал, опасаясь, как бы с него не вычли стоимость ремонта.

Мальчишки выследили, когда Никодимыч ходит на обед. Это время требовалось знать совершенно точно, и Миха сбегал к местному умельцу-часовщику, чтобы поставил на его часы минутную стрелку.

Местный умелец Аркадий Платоныч осмотрел карманые часы, похвалил старинный механизм, поставил минутную стрелку, а рубля, который принес Миха, не взял, и Миха потратил деньги на пряники.

В среду Валька не пошел в школу. На гумнах его ждали Троха, Федька и Витька.

— Ну как — пробовали? — спросил Валька.

— Пробовали...

— Получается?

— Как на хоре. Еще и лучше...

— А Мухартай?

— Бросается, как зверь...

* * *

Ростислав Никодимыч ходил на обед немного с опозданием. Пока то да се, разговор да перекуры — время тянуло к половине первого. В этот час улица пуста, и Ростислав Никодимыч шагал по ее средине.

Напротив магазина Ростислав Никодимыч заслышал какую-то мышиную возню. Он прислушался, замедлив шаг, но тут за плотным высоким забором завыли песню в три голоса. Завыли исступленно, с воем, с визгом, вразнобой, вкривьвкось и наперекосяк. Выли на мотив старозаветного «Хазбулата», а слова сочинили совершенно иные:

Никодим удалой
На деревню напал,
И осенней порой
Он там пруд раскопал.

Ростислав Никодимыч споткнулся, замер, зыркнул взгля-

дом по сторонам. На пустынной улице нет ни души, однако кто-то спрятался с песней по ту сторону забора.

Там он пруд раскопал,
Карасей придушил,
А потом продавал,
«Жигули» он купил...

Ростислав Никодимыч метнулся к забору, вскинул руки на верхний дощатый край, грузно напружинился, уперся ногами в забор, чтобы подтянуться и увидеть хулиганов. В ту же минуту на другой стороне улицы приоткрылась калитка, и Миха с Фомкой пустили козла. Набыченный Мухартай кинулся на вой. Он заметил плотный зад, нависший с забора, и что есть мочи всадил в него рога.

Ростислав Никодимыч примчался в медпункт, вцепившись, обеими руками в штаны. Молодая фельдшерица, заставив улыбку, смазала ему два кровоточащих места йодом, сделала укол от столбняка и хотела выписать «больничку». От бюллетеня Никодимыч отказался и два дня кряду не выглядывал из дома. А на третий день он сел в «Ниву», свирепо газанул до визга в моторе и умчался в город, ни на кого не глядя и не попрощавшись ни с кем.

Мальчишки посвистели ему вслед, а бабушка Наталья горестно, тоскливо посмотрела с крылечка на проскользнувший по улице вездеход, научила не в черед Котофеичу молока и сказала задумчиво, неспешно:

— А пускай его катит... На что он здесь такой...

Село хворало от смеха.

* * *

Во двор к бабушке Наталье к концу недели пришел сам председатель Петр Иванович. Он прикатил велосипед и принес для Фомки спиннинг.

— Ну что, Фома Григорич, — сказал он без тени улыбки. — Мириться давай, что ли? И подарки ты возьми. Не за мародера вас колхоз наградил, а за доброту, отзывчивость, за храбрость вашу. Ну-ка, скажи ты мне: вон если бы твой кот погибал средь трясины, ты его спасать бы стал?

— Понятно...

— А человека тем более надо... А пруд мы починим. Послал я «Кировца» с прицепом. Щебенки из карьера прихватили с десяток тонн. Ну, сам понимаешь, опрокинут тележку — так пробка и ляжет в раскоп.

— А вода-то утекла, — вздохнул Фомка.

— Знаю. Зато колодец там есть. Пожарную помпу наладим и перекачаем воду из колодца в пруд.

— А рыбу откуда накачаете? — не унимался Фомка.

— Ну карась, во-первых, — он приспособленный, — в тину зарывается, а во-вторых, я слыхал, у тебя свой большущий карась есть. На развод и запустим.

— На развод можно, — согласился Фомка. — Только сначала глянуть надо, как плотину заделали. Размоет по весне-то...

— Не размоет. Мы пару мешков цемента прихватим. Зацементируем щебенку, и все будет как надо...

— Ладно, отдам карася, — обещал Фомка. — В кадушке какая ему жизнь — скукота одна...

Глава XX ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

На карася Котофеич покушался не раз. Сторожко подходил он на мягких лапах к деревянному краю кадушки и смотрел, как отражалась в воде кошачья усатая морда. Но карась и не думал всплыть на встречу с котом. Шевельнув хвостом, он изредка пускал круги, и Котофеич, изнуренный собственным долготерпением, трогал лапой воду, фыркал, мурзился и убегал.

Сегодня он впервые увидел карася во весь рост, когда тот, бронзовый, широкий, затрепыхался испуганно в сачке и был помещен в ведро с водою. Котофеич подпрыгнул, чтобы вцепиться в карася, но получил удар хворостинкой и удрал под крыльцо, раздосадованный и злой.

Фомка и на самом деле отдал карася. Вместе с Михой они сидели в кабине трехосного «ЗИЛа» и держали за дужку ведро, чтобы не расплескалось на ухабах. Карась в ведре сидел смирно, а рак возился в клетке и шерохтел клешнями.

Плотину старого пруда залатали, но воды, взятой в старом колодце, хватило всего на половину прежнего уровня. Как только воду перекачали, старый колодезный сруб просел, и колодец тут же завалился. Оставалось ждать, что на будущий год талый снег сделает пруд полноводным.

В выходной к полудню приехал в большом крытом кузове «ЗИЛа» отряд шестого «Б» в полном составе. Поразмыслив, ребята решили посадить вокруг пруда по гребню плотины деревья: зимой они задержат снег, а весной зазеленеют.

Фомкиного карася отпускали в пруд с речью, предваряющей такой торжественный случай. Федька Глунин взошел на свежий щебеночный бугор плотины.

— Граждане шестого класса «Б», — начал он высоким голосом, — сегодня вы присутствуете при историческом событии — запуске Фомкиного карася в вольную стихию восстановленного пруда! Плешивый Никодимыч разорил этот

пруд, но Фомка с Михой не утопили его в трясине, а даже спасли. Они поступили благородно, но неосмотрительно, и только козел Мухартай был решителен и тверд в своих намерениях до конца! Сейчас, многочтимые иуважаемые граждане добровольцы, прежде чем Фомкин карась вильнет вам хвостом, я запущу сначала верного стражи пруда от всяческой гнили! — И Федька вытянул из клетки за усы большущего рака. — Ура!

— Ура-а! — закричал шестой класс, а Федька положил рака у самой кромки берега. Рак тихонечко попятился, вдруг, щелкнув хвостом, врезался в воду и сразу исчез в глубине.

Карась в пруду лениво и плавно дал круг под верхним водяным слоем, застыл в недоумении, постоял и потом медленно-медленно ушел на дно.

Фомка вздохнул, отвернулся и отошел в сторону.

Со второй половины дня повеяло холодом. Последнее тепло низко светящего солнца не прогревало землю. На буграх да в затишие еще поднималась испарина, которая к вечеру исчезала под легким морозцем.

К старой деревне подъехал «уазик». За рулем сидел Петр Иванович, рядом Маргарита Тихоновна, а с заднего сиденья выглядывала Светкина голова в пуховой вязаной шапке.

Первые две елочки на гребне плотины сажали Фомка и Миха.

— Послушайте, ребята! — вбежала наверх Светка. — Хотите, я вам дело скажу?

— Говори!

Востроглазая, в брюках и свитере, Светка сдернула шапку с головы.

— Этот пруд я предлагаю отныне назвать Фо-ми-хинским! В честь Фомы и Михи!

Фомка с Михой застыли смущенные, отряд вскричал «Ура!», — и началась работа. Деревца брали в лесу и сажали по всему квадрату пруда.

К вечеру пруд был очерчен двумя рядами: первым — из елок, вторым — из берез. Отряд запалил превеликий костер ближе к лесу, где громоздились одна на другой валежины. Куча палок и сучьев схватилась пламенем, затрещала, острые огненные шильца пробились сквозь ветки, костер засвистел, загудел торопливо и трубно, взвился дымной шапкой вверх, возвещая свою силу.

Фомка стоял у костра. Пламя грело лицо, а脊на ощущала ровный устойчивый холод. Фомка повернулся, погрел спину и пошел прочь от костра в сторону заброшенной деревни. Он обогнул старую канаву и выбрался к пруду. Гал-

деж у костра, приглушенный расстоянием, долетал сюда скучо и невнятно.

Фомка перебрался через насыпь плотины, спустился к воде, присел на корточки. Тихая гладь пруда, зябко застойная и глянцевитая, не рябила нигде и не колыхалась.. Фомка пригнулся к воде и тонюсенько посвистел. Он посвистел так раз, другой и третий — ничто не тронуло гладь воды, не всплеснулось и не двинулось. Фомка повременил, позвал снова, и что-то грустно стало ему. Он потер защекотавшийся нос, шмыгнул, утерся, достал из кармана кулечек пшеничной каши с маслом и потихонечку высыпал в воду.

Наверху, на плотине он оглянулся, постоял недолго и вдруг увидел, как по воде от малого всплеска разошелся круг. Но вот круги пошли цепочкой, как бывает от ударов верхним пером хвоста. Большая, бронзовая рыбина толкнула носом комок пшеничной каши и унырнула вглубь. То ли шум помешал, то ли место было непривычное, но не всплыл больше к старому другу карась, видно, вспомнил он сытость, от которой некуда деться, побоялся приманки и метнулся на волю, прочь.

К ночи потянуло ненастьем, и на обратном пути ветер захлестал по брезентовой крыше кузова. Плотно сидели ребята. Песни и те не хотелось петь. А когда вернулись домой, завихрился снег, поприжал мороз, и сосновый бор по ту сторону речки загудел угрюмо, ропотно и глухо. Утром в непогоду приехал из Костромы к Фомке отец. Что-то рассказал ему Никодимыч, разбаловался, дескать, парень в проклятой деревне, две ночи в лесу ночевал и с хулиганами водится.

— Ты вот что, Гриша, скажу-ка тебе, — вмешалась бабушка Наталья, — злых людей слушать — так это только добрый свет мучить. Парня колхоз наградил. И где ты видывал, чтоб хулигану какому была такая честь. Нехорошо так, Гриша. Ведь вот он вырастет и будет тебе самый верный человек.

Фомка наступил, влез по-быстрому на печь и подался там вглубь.

— Ну и чего же ты прячешься? — улыбнулся отец. — Чего пугаешься? Неужто мне хочется душу твою поломать? Не за Тем я приехал, чтобы поперек твоей жизни встать... Только вот уговор: грамоту учи...

— И у нас все нынче грамотеи, — заторопилась поведать бабушка Наталья.—.И парни хорошие растут. Вон Валька со своими пионерами приходил. По хозяйству помогли... Надо — так и Фомке помогут в чем.

— Ну что ж, сын, — отец снял Фомку с печки, — быть по-вашему. — И двое они, большой и малый, обнялись по-свойски, крепко, по-мужски.

Глава XXI ЧИВРИК ИЗ КОНОПЛЯНОГО ГУМНА

Зима схватилась разом: притаилась где-то, подстерегла белый свет и в одну ночь взяла свое. Снегу напорошило чуть, а мороз прижал. И там, где осенняя обнаженная серость не укрылась первой порошью, сквозил холод, ожесточенный неприветливым равнодушием земли.

Звери забились в норы, а перепуганные птицы, встопорщенные, зябкие, жались в ветках, сберегая тепло. Затаились в застreichах под крышами новинские воробы. Днем они налетали в сады и старались вжаться поглубже в кусты — туда, где меньше ветра.

Одна воробьяная стая объявилась у бабушки Натальи во дворе. Воробы насыпались в густой рябинник, и один из них, самый крупный, все смотрел по сторонам и оглядывался. Он прилетал всегда первым, садился на вершину, давал сигнал «чеп-чеп» — и тогда вслед за ним налетала вся стая. Этот воробей водил стаю с осени. Стая прилетала со стороны гумна — от большого навеса льнохранилища — и кормилась обычно в соседнем саду. Но получилось так, что пришлоось воробьям осваивать двор, где хозяйствовал Котофеич. Старый воробей умел остерегать стаю. Чиврик из конопляного гумна — так прозвал Фомка главного воробья.

Насколько помнил себя Чиврик, он оперился в застreichе под крышей льнохранилища и совершил свой первый полет, скувыркнувшись в конопляник. Зависнув на зеленом граненом стебле, он популал глазами, смутно уяснив, что свершилось с ним, и с того дня начал трудную жизнь среди тревог и грозных столкновений.

Справа от льнохранилища раскинулся широкий укатанный ток, куда перед укладкой свозились снопы льна, а слева по неторенной стороне гумна широкой полосой тянулся конопляник. Высокий, густой и зеленый, остро пахнущий пряной кислинкой, он обрывался за гумном у льняного поля. Коноплю когда-то здесь выращивали, а потом посеяли лен, с которым Чиврик, по мере своей образованности, освоился вполне и полюбил его за очень вкусные семена.

Чиврик был в полном расцвете сил, когда впервые появился во дворе у бабушки Натальи. Перья на нем лежали гладкие, с плотным подпушьем, короткий клюв был основательен и тверд, крылья — коричневые, а на голове темнела шапочка.

Как только забрезжил рассвет, Чиврик выглянул из-под карниза, где скоротал ночь, и широко растопорщил серые перышки, ощущив неминуемое шествие холодов. Узкий просвет меж карнизов и балкой Чиврик отвоевал с потерей многих перьев у таких же, как он, юрких и беспокойных воробьев, однако без того навыка, который приходит к воробью с годами и позволяет одерживать победу за победой. Только такому воробью вся стая вверяет себя, полагаясь на мудрость старейшины.

— Чеп-чеп, — сказал Чиврик, и под крышею, в застремах под карнизом запицали, завозились, зачирикали воробы.

Надвигалась стынь, и воробьяная стая перебралась в льнохранилище. Теперь каждое утро с первым позывом во-жаха там начиналась возня и шумиха, которую Чиврик не очень-то любил, потому что под шумок по крыше к стае подбирались кошки. Ему не хотелось вылезать из-под карниза. Он видел, как какой-то поздний воробьишко перелетел было вниз по открытому поднавесью, и ветер взъерошил его, зябко опахнул еще не заросшее пухом воробьиное пузо. Слишком храбрый воробей опрометью взметнулся вверх и больше на стужу не совался.

Подступала довольно трудная жизнь. Голопузый воробей еще не знал, что такое зима, и потому не привык уважать голос старшего, тревожный и стерегущий. Жесткий холод вселял в сердце страх. Чиврик еще раз глянул черной бусинкой глаза наружу, миновал подскоком балку и задержался на тупом опиленном конце. Холодная волна ветра плеснула ему в грудь, и Чиврик взлетел на крышу, а потом на самый верх, на конек. Здесь он хорошенько осмотрелся.

Мир, огромный и опасный, расстипался вокруг перед ним, но Чиврик имел отважное сердце, которое среди всемирного птичьего племени никто не воспевал. И в самом деле: орлу легко быть смелым — он сильнее всех, соколу — потому что он стремительный и зоркий, а ты попробуй поживи как воробей! Зернышко, добытое из-под конских копыт, из-под куриных ног в кормушке, из-под метлы возле амбара, обходится воробью дороже соколиной храбости, орлинной важности и спеси. И сам Чиврик еще не знал того орла, которому хватило духа сесть во дворе около корыта. И оттого-то Чиврик, серенький и неприметный, хорошо знал цену себе.

Навес с льняными снопами, из которых давно вымогли семя, стоял за селом довольно далеко. К селу поутру в поисках чего-либо уже слетались вороны и сороки.

Вороны под встречным ветром взмывали над лесом вверх, а пестом полого спускались к позадворьям; сороки летели низко, суетливо махая крыльями, и те из них, что не сразу одолели ветер, ныряли в кусты большого сада и там трещали сварливо и скандально.

Казалось, что лето ушло навечно, и Чиврик еще крепче вцепился лапками в конец крыши. Совсем маленький, темноголовый, он собирался одолеть очередную зиму, всем умением и мужеством своим готовился сыскать кормежку, спастись от кошек и ворон, в стужу лютую уцелеть и не замерзнуть. Прошлую зиму, например, Чиврик уводил воробышнюю стаю в стог. Там, в пущистой сухости разнотравья, воробы забивались вглубь и уцелели в самые лютые пятидесятиградусные морозы. Те из воробьев, что улетели на скотный двор в парное тепло коровника, не вернулись вовсе, потому что в сам коровник влетать было опасно, а на чердаке морозы сковали всех. Чиврик хорошо запомнил там широкие пролеты, меж которыми его гоняли шапками мальчишки.

Чиврик зорко и напряженно смотрел в сторону села. Там, в саду, укрывая дома, кустился вишненник, оголенный и тусклый; он издали был похож на всклубившийся застывший дым. Но осенние костры в садах уже не дымили: сучья и листья сожгли в добрую пору, и деревья, зябкие, сонные, уже не шелестели листвой, а по голому вишненнику катился скучный, холодный гул.

А ведь совсем недавно вишненник был главным пристанищем воробьев. Воробы обобрали там с деревьев всех гусениц, и потому сад пышно цвел и дал великое множество вишен. Воробы тоже любили вишни и делали оклёвушки. Тонкая вишневая кисточка не держала воробья, и воробей, отщипнув кусочек мякоти со спелой вишни, спархивал в сторону. Проклюнутая сбоку вишненка подсыхала, быстрее темнела, в нее плотнее набиралась сладость. Мальчишки искали оклёвушки всюду на ветках за их сладчайше ароматный вкус.

Теперь в саду не осталось гусениц и вишен, но внизу под кустами, средь мелкого мусора, еще попадались усохшие личинки, куколки червяков, а ветер застревал в кустах.

Как и подобает главному воробью, Чиврик не спешил с решением. Возня и чириканье все сильнее раздавались под крышей. Воробы порхали и ссорились в предвосхищении грядущего дня, но никто из них не лез на ветер — большинство жались под карнизом, иные налетали к обмоловенным снопам, где поживиться было нечем. Наконец Чиврик спорхнул с конька на толстую балку под карнизом.

— Чвик-чвик, чвик-чвик, — произнес он строго, воробышная стая высыпала вслед за ним на крышу.

Ветер сдувал воробышек, топорщил им перышки, воробыши сжимались в комочки, и вся их бойкая перепалка и возня сменилась тосклившим ожиданием сигнала.

— Чеп-чеп, чеп-чеп, — сказал Чиврик, что означало: «Внимание, готовься!» — Чвик-чвик! — воскликнул он громко и сильным толчком взметнулся вверх.

Стая вспорхнула за ним и, подражая старшему, полетела навстречу ветру, порывисто врезаясь в тугой воздух. Чиврик то резко бил крыльями ветер, то, сжимаясь в комок, нырял вперед по наклонной. И все воробыши понимали, что так лететь сквозь ветер легче.

На вишенник стая нахлынула разом. Сейчас сюда в большинстве своем прилетали молодые, неопытные воробыши. Их надо было постоянно предсторегать от легкомыслия и всевозможной опасности. Густое сплетение оголенных веток гасило стылый, нижущий ветер, и шум, перебранка, возня и чириканье заклубились с новой силой, побуждая молодых воробьев к легкомыслию и дракам.

Особенно старался один, самый мелкий и проворный, тот, что вылупился из яйца, когда миновала почти половина лета. На этом воробье еще не хватало перьев, и если он храбро топорщился, то сквозь редкое опушье мелькало красное от холода тело. Этот воробей чем-то очень напоминал плохо одетого мальчишку, который выскоцил на стужу, потому что характер имел задиристый и показной. Чиврик для вразумления клюнул его однажды раза два, и с той минуты шустрый воробей держался от него подальше. У воробьев отличная память. Угодив в опасность однажды, воробей во второй раз никогда не повторит ошибки, и не зря о человеке иногда скажут: «Он стреляный воробей».

Когда стая склынула под кусты в затишье, Чиврик остался на верхней ветке: ему следовало осмотреться, все заметить, выверить и предугадать. Чиврик перелетел с одной вишни на другую, потом на третью и вдруг заметил что-то темное и громоздкое, что висело на яблоне и качалось на ветру. Чиврик склонил голову в темной шапочке набок и внимательно разглядел новый предмет, которого он не видел раньше в большом саду. Ящик, странный и нелепый, с четырьмя стойками и дном, похожим на лоток для зерна. Ящик страшил, но лоток манил воробья.

— Чеп-чеп, — произнес Чиврик, предупреждая стаю, и сделал круг в воздухе, чтобы подобраться поближе.

Он долго высматривал, нет ли здесь ловушки. Прошлой зимой он видел, как синица попалась в клетку-западню, точь-

в-точь похожую на этот ящик. Желтогрудая, белощекая, она отчаянно билась, щипала клювиком решетку. Потом пленницу вместе с клеткой куда-то унесли, и Чиврик никогда больше не садился в березняке близ опасного места.

Ящик мерно покачивался на ветру, и Чиврик не заметил в нем меж стоек страшных решеток. Он перелетел ближе, сначала на вершину над ящиком, потом сбоку, покружил еще и еще раз и, собравшись с духом, сел наконец-то на крышу ящика. Крыша была фанерной, гладкой, и Чиврик завис на ее краю, скосивши голову вниз. Золотистой рябью в лотке порассыпалось зерно, темнели семечки и крошки. «Чив-чив!» — вскричал Чиврик и спрыгнул на край лотка. Он клюнул раз и два, мгновенно вскидывая голову и глядя по сторонам. Он уже хотел позвать сюда стаю, когда увидел, что по саду идет человек.

Чиврик взвился на вершину. «Чеп-чеп!» — предупреждая, сказал он и стал рассматривать идущего. Человек был в ватнике и в валенках. Он не целил из рогатки, не хватал камней с земли, чтоб кинуть в стаю, не орал и не свистел, как это делают мальчишки. Каким-то необъяснимым для себя нервным импульсом Чиврик на расстоянии мог ощутить опасность, но хозяин сада нравился ему. Человек подошел к ящику и добавил зерна.

Чиврик не сразу привел к зерну стаю. Он долго порхал и кружил, высматривал и предупреждал. Ящик с крошками и зерном пополнялся всю осень, и воробыи перестали бояться. И сам Чиврик понял, что в сад к ним ходит добрый человек.

Но вот хозяин сада не пришел однажды. Сорок пять лет тому назад он воевал, и все эти годы его мучили старые, глухо ноющие раны. Человек видел когда-то смерть и потому любил все живое. Поздней осенью к его воротам подошел грузовик с открытыми бортами. Загремел на прощанье оркестр, и молчаливая толпа проводила доброго человека до его последнего пристанища.

— Баушка, — сказал Фомка, заметив серую стайку в кустистой рябине, — а давай воробьев примем. Они теперь без никого, а я им кормушку подвешу...

— Ну а как же — отчего ж не принять, — промолвила старушка. — Был у нас грач с тобой, теперь — воробыи будут... А ты, злыдень, кыш, — пригрозила она Котофеичу. — Смотри у меня...

Котофеич свесил с печки кончик пышного хвоста, приоткрыл сощуренный зеленый глаз и сладко потянулся.



ГОРЯЩИЙ ХРАМ

Глава I В ПУТИ

Волки объявились под утро. Всего три дня тому назад они задрали племенного козла с цыганского подворья и, распаленные кровавой свежатиной, потянулись к общественной ферме. В предрассветной мутной мгле они бесшумно появились из елового клина, обошли загон издалека, — промелькнули серыми плывущими пятнами средь травы и бурьянника. Молодняк остался позади, матерые подались к загону. Волчица посунулась носом в щель частокола, втянула густой и манящий запах. Ближние телята насторожились, вскочили и, задрав хвосты, отступили прочь.

Фомка подтолкнул Миху плечом.

— Видишь? — чуть слышно шепнул он. — Наверняка те самые, что твоего козла слопали.

— Вижу. Далеко... Не возьмем...

— Ближе не будет. Давай вместе, разом...

С крайнего старого сарая грохнули выстрелы. Картечь разнесло, но крупный зверь упал, вскочил и, ковыляя передней лапой, мотнулся к лесу.

Как ни торопил друга Миха, Фомка, парень обстоятельный, забежал домой, собрал-таки насконо два рюкзака: прихватил харчей, спичек, лишних патронов, втиснул самодельную палатку и взял Тимку на поводок. Полугодовалый Тимка за лето хорошо подрос, приподнялся на лапах, стал тощеватым, голенастым, большеголовым, порывистым и беспокойным. Кровь чистопородной лайки кипела в нем, резкое чутье влекло на разные разности, а в характере так и сквозил врожденный охотничий азарт. Ростом он был, пожалуй, пониже летних волчат, но его широкая грудь уже обозначала в нескладном еще теле будущую мощь, выносливость и ярость.

Едва Фомка отошел от дома, как тут же объявился Котофеич. Кот вспрыгнул по привычке к Фомке на плечо и перебрался на рюкзак. «Ну вот и ты тут, — проворчал Фомка. — А ну — брысь!» он знал: теперь кот не отвяжется, и не очень-то гнал его. Любил Котофеич бродить по чащобам вокруг села и по лесам вслед за ребятами.

Тимка дергал поводок то в одну, то в другую сторону. Привычный к воле, он не понимал, почему его ведут на поводке, и старался как-нибудь освободиться. Но как только вышли на крапленный кровью след, он ощетинился, зарычал и вздыбил шерсть. Фомка отщелкнул замок поводка. Тимка пробежал немного вперед, встал и оглянулся. Ребята шли за ним, и это придавало ему храбрости.

Они прошли километров пять или шесть в глубь леса — туда, где непролазней и темней. Вдруг впереди мелькнуло сирое пятно, и Тимка замер, зарычал, слегка попятился. Ребята ринулись вперед через коряжник и завалы пока не выдохлись вполов.

— Ну вот тебе и волки, — рухнул в траву Фомка.

— И то правда... — Миха повалился рядом. — Давай, Фома, костер запалим — чай пить будем. Я с утра голодный, — теперь бы и волка съел жареного... С луком, понимаешь. Как, бывало, в таборе мясо жарят... Эх, допинать скорей бы школу! Вот десятый за зиму отгрохаем, а там — на волю! — Миха широко вздохнул.

* * *

Место, куда теперь попали друзья в погоне за волками, оказалось сырьим и сумрачным — ни чистого просвета, ни сухой травы, ольховая гниль да завалы. Отсюда начинался низинный угор, который опускался куда-то по чащобе и корежинам. В лесу всего лучше миновать нехорошее место. По давним приметам здесь водится всякая нечисть, чертовщина. Люди и разуверились бы в том, но чувство неуятности, а порой и тоскливого страха в таком месте навязчиво держит и мучает пока не выйдешь в доброе, чистое место. Отдышавшись, Фомка с Михой пошли дальше, чтобы поскорее миновать корежины и гниль. Где-то сзади обиженно мяукнул Котофеич. Кот находил ребят по слуху. На редкость чуткие кошачьи уши были для него точным проводником. Котофеич охотился — шарил по кустам, но всякий раз прислушивался и направлялся в ту сторону, откуда доносились голоса или хруст веток под ногами. Мокрый и встрепанный, он снова вспрыгнул к Фомке на рюкзак, впустил когти в брезентовку и поехал на спине напыщенный, сердитый.

Неуятный склон привел к широкому распадку, в котором рос непролазный низкорослый ивняк. По ту сторону вздымались одиночные ели, а дальше — непроглядный хвойный лес. Идти туда было незачем. Отыскали место посушее, запалили костер. Сумрачная нелюдимость отступала по мере того как вскинулось пламя, как повеяло дымом и теплом.

Где-то за кустами в глубине распадка ворковал ручеек, и Фомка спустился в распадок набрать котелок воды. Пробираясь сквозь ивняк, Фомка увидел впереди серую кулигу старого осота, а дальше — узкую рассадину ручья. Он только что прошарился сквозь ивняк, как почувствовал, что здесь он не один.

— Эй, не ходи туда! — услышал он голос со стороны.

На бугре поодаль стоял паренек, невысокий, плотный, черноволосый.

— Зачем туда лезешь? — спросил паренек. — Ухнешь — не вылезешь...

Паренек перекинул за спину двустволку, выдернул из чехла у пояса топорик, отсек в ивняке слегу потолще, бросил на серую щетину осоки. Срубил еще три, положил рядом. Потом взял длинную жердь, вогнал в зыбкий край осота. Жердь легко ушла вниз вся.

— С краю здесь всегда так, — говорил паренек деловито. — С краю гниль. Трава гниет, корень гниет и не держит. А там, — он показал вперед, — там трава живая. По ней зыбко, однако идешь. С краю жерди накидывать надо.

— Понятно... — проворчал Фомка, недовольный тем, что его поучают.

— А я тебя знаю, — продолжал паренек, пробуя ногой жерди. — Ты — Фома, а твой друг — Миха. Вы за волком пошли, а я наперехват. В селе сказали: «Иди, Илис, помоги ребятам».

— А ты тот самый с севера... — догадался Фомка.

— Тот самый, — отвечал паренек. — Не совсем однако с севера. С Хакасии, с Алтая мы. Это мы раньше с отцом в Якутии жили.

— Значит, ты сын приезжего охотника?

— Да, — не без гордости отвечал Илис. — я Илис Садыбаев. Садыбай отец мой. Потому я Садыбаев. Так сыну положено зваться. Мой отец большой охотник. О! — Илис широко развел руками. — Такой охотник! Очень знаменитый!

— Говорили про вас на селе, да вот сойтись не доводился случай.

— А я в лесу больше. Егерю учет помогал вести. У нас на севере в семь лет — охотник малый, а в четырнадцать лет — охотник с билетом. Отцу помогает.

— А к нам как попали?

— Лечить отца надо. Кости болят. На юг везти, в жару — там он помрет. А у вас тут в области санаторий есть. Грязью мазать будут. Шибко помогает, — многозначительно сообщил Илис. — На севере шаман мухоморы с болотной грязью мешает и прикладывает. Очень даже хорошо ломоту лечит. А тут — наука!

По хлипким жердям Фомка перебрался на травяной зыбкий наплыв, а по нему к ручью. Чистейший ручеек петлял в глубоком узком русле и впадал в небольшое разводье с темным дном, с обрывистыми невысокими краями. Вокруг нетронуто, нехожено, тихо. Отсюда от ручья за тальником, постепенно возвышаясь, заступал лес-хвойник, и потому казалось, что небо своими краями посадило на дальние верхушки елей озолоченные солнцем облака. Уходить не хотелось — от осоковой равнинки у ручья.

— Эй, иди назад! — окликнул Илис. — Быть там много не надо: устаешь шибко потом!

И тут только Фомка заметил низинную духоту, которая вливалась в тело постепенной угнетающей тяжестью и каким-то странным бездумием: все как-то неприметно забывалось в этом месте и прошлое, и настоящее. Оставался только мир неосмысленного покоя, откуда не хотелось уходить.

— Болотный дух манит, — сказал Илис.

— А говорят, такого нет, — отдохнувшись, возразил Фомка.

— Говорят — нет, а он есть. Ты мало знаешь, — упрекнул Илис. — Охотнику много знать надо, чтобы силу иметь. — Илис замолчал, прислушался. — Собаки ушли однако. Сбились со следа и ушли... — Он постоял, прислушался еще и снова вернулся к прежнему разговору: — И спать тут нельзя — совсем хворый будешь завтра. Попьем чаю — и айда на ту сторону — туда! Там люди жили. Я вас к месту приведу, а сам след искать буду. Собак найду.

* * *

Передохнули, попили чаю и часа через два пошли на ту сторону через низину. Кетофеич вскарабкался на Фомку, а Тимка шлепал лапами по воде и, вывалив язык, тяжело дышал. В липкой испарине ребята выбрались на пологое возвышение, раздышались и двинулись дальше. Им почему-то вспомнилось детство, нехоженые тропы, и теперь в последний год перед окончанием школы их потянуло вдаль еще заманчивей, призывней и сильнее. Илис вывел всех к высокому сосняку на плоском широком угорье.

— Вам вот туда! — показал он рукою. — Там тоже встречается ручеек перед первым малым холмом. А дальше сами всё увидите. Прямо-прямо — все будет так, — напутствовал он. — А мне назад и влево в обход... Зверя добирать буду...

Фомка с Михой шли час и больше, но ничего похожего на бывшее жилье не попадалось. Кетофеич, не расположенный к крупным переходам, не хотел слезать с рюкзака. Он орал и царапался, если его стряхивали на землю, а порой жалобно мякал, грустно смотрел Фомке в глаза.

— Экий ты балда, — попрекнул Фомка. — Ну зачем в даль такую потащился? — Он поднял кота, посадил на плечо. — Тяжел ты, приятель. Ладно, держись, поехали...

Фомка всякий раз брал с собою компас, но из-за спешки впервые позабыл о том. Но день был ясный, и направление легко выверялось по солнцу.

— Эх, Фома, теперь бы коней под седлами! — Миха взъерошил курчавую голову. — С той поры, как батька коня утопил, тоскует он. Говорит, во сне глаза коня вижу. Огнем смертным так и жгут. Нехороший сон это. Для батьки нехороший. А я, как коней во сне вижу, мне всегда потом везет.

— А ты давно коней во сне не видел? — спросил Фомка.

— Давно.

— Чего же ты так?

— А зачем спрашиваешь?

— Так ведь сбиваться в сторону, кажется, начали. Компас

не взяли, и коней ты во сне не видал. Обобъем понапрасну пятки, и кто знает, когда отсюда выберемся.

Тем временем вершины сосен уже озолотило солнце, и ни конца ни края не виделось впереди.

— Ну что, Миха, ночуем? — Фомка искоса глянул на друга.
— Завтра с восходом пойдем точнее.

Миха повертел головой, посмотрел на верхушки сосен, подпрыгнул и ткнул пальцем в небо.

— Ага, вон она — летит!

— Кто?

— Ворона! Понял? Все вороны у нас от села в одну сторону к вечеру летят. Ты не заметил? Нет? А я вот заметил.

— Ну и что?

— А то, что вороны нынче любят гнездиться по старым деревням, а кормиться летают в деревни жилые. Вокруг старых деревень много деревьев одиночных да высоких — для ворон самое гнездовье. Это я еще когда с батькой ездил, тогда и примирился. Летят вороны утром в одну сторону — значит, там живут люди. Езжай в ту сторону, заводи знакомства. Летят вечером в другую сторону — так и знай: глухо там, место какое-нибудь заброшенное. Вон одна, другая да третья так напрямую и наладились. И нам надо в ту сторону. Гляди-ко, и крыльями уже не машут — на спуск пошли.

— Ну, Миха, по воронам ты спец...

— А как же... Ты вон кота своего изучашь. И потому сам ты домовитый. А я — вольный, потому и птиц люблю.

— Ого! Вон они где садятся! — Фомка высмотрел путь летящей вороне. — Туда и за час не дотопаешь.

— Ничего, — ободрил Миха, — главное знать, куда идти...

Глава II **СИРИН ЧЕРНЫЙ**

У останков старой деревни стоял большой деревянный храм с колокольней и шатровой крышей. За последние лет тридцать деревня постепенно и окончательно порушилась: сгнили дома, овины, амбары, ушел в землю бревенчатый частокол, врытый некогда вокруг деревни. Остался древний храм, темный и высокий, созерцающий с высоты широкую низину и два холма, где когда-то по взгорью ютилась деревня, теперь забытая людьми давным-давно.

Густой суровый лес, кое-где побитый проседью осинника, заступал вокруг, и ельник? вековой, могучий? оберегал здесь тишину. Летом по старому месту и вокруг, куда только проникало солнце, поднимались буйные травы, а по вечерам, когда

всходил месяц, в полутьме, осеребренной тусклым светом, раздавался громкий таинственный голос: «Бу-бу-бу-бу-бу! Бууу!» Сирин или сыч домовой летал над останками былого поселения, изредка садился на храм и, подсвеченный тусклым сиянием месяца, казался зловещим и черным. Он летал, как тень, — беззвучно, проворно, быстро кружил в воздухе, а порой, круто скувыркнувшись вниз, что-то ловко хватал с земли лапами, когтистыми и мохнатыми. От земли он точно подброшенный взвивался вверх и пропадал в полутьме со своею добычей. Иногда его голос менялся. «Ку-у-у!» — кричал сирин, и был диким этот крик невидимой птицы.

Словно наваждение, сирин мог появиться и вдруг исчезнуть. В серебристые ночи он облюбовал голый сук засохшей одичалой яблони. Отсюда подавал голос и ждал, когда из леса осадисто и густо отзовется на крик царь тишины и ночи — премудрая птица филин. Сирин приходился филину роднёю, но из всех прочих неясытей-сов был темнее и за тайную nocturnую жизнь на чердаках получил прозвание сирин черный.

Перекличка совиная в ночи вызывает трепет: что-то несчастье возвещающее чудится в звуках почти очеловеченных, и оттого древние поверья утвердили за совами славу предвестников несчастий, вершителей колдовства и разных бед.

Сирин жил на чердаке колокольни и людей не видел много лет. Он самозабвенно любил ночь, заполненную прохладой и серебристой тишиной. В ночном застывшем беззвучии он был волен и смел и видел то, что недоступно прочим. В стремительном полете крылья несли его послушно и легко. Днем сирин сидел в полутьме чердака на колокольне, а ночью скользил, как тень, вокруг храма над заросшими могилами. Его полет не тревожил ночную тишину, а крик казался возвещением затерянной и трудной тайны.

Порой среди темных в ночи лесных увалов и болот сычи да филины перекликались чаще, чем обычно, и тогда сумеречь теней громадного леса сгущалась плотнее, и там мелькали точки тускло сверкающих глаз. На тропы выходили звери: начиналась новая незримая жизнь.

Иногда сирин улетал дальше, и сверкающая белизна утра, ослепительно острая и нетерпимая, заставала его в полете. В то время вороны, сороки и галки роем кружили у храма, садились на крышу, на колокольню, устраивались на стропилах, чтобы осмотреться и лететь потом по своим дневным делам. Заметив сыча, они поднимали галдеж. К вороньею и галочьему разноголосию, к треску сорок прибавлялся писклявый рой птичьей мелочи. Все налетали скопом с галдежом и возмущением, и тогда сирин не мог спрятаться под кровлю колоколь-

ни. Он вдруг стремительно уходил к большому холму и тем исчезал бесследно. Птичий рой еще долго шумел, кружил, мешался, пока день не заставлял всех разлететься. В сумерки сирин откуда-то появлялся вновь, зрачки его, желтые и круглые, становились все объемнее, все шире и, наконец, заполняли сверкающей медью глаза.

В тот вечер сирин слетел с толстой балки чердака, не смахнув даже пыли, и только паук, встревоженный в углу, пошевелил лапками на чуть приметно дрогнувшей широкой паутине. Сирин беззвучно мелькнул в узком оконце, облетел пятиглавый храм вокруг и привычно опустился на бревенчатый выступ с угла оголенной крыши. Всякий раз он садился сюда перед тем, как отправиться в ночной поиск. «Бу-бу-бу-бу! Уу-ууу!» — вскричал сирин, и когда эхо, прокатившись по лесной низине, вернуло ему отголосок, он пробубнил еще.

Месяцу узкий, как клинок, тускло освещал лес, низину, и подсвеченный его спокойным сиянием храм казался еще безмолвнее, таинственней и выше. Сирин осмотрелся вокруг. Его голова, круглая и большая, с веером лучистых перьев вокруг расширенных глаз, повернулась назад, так что затылок оказался спереди, а крючковатый клюв со стороны спины. Всезрячими медными глазами он окинул лес, и низину, и темные заросшие взбугорья — остатки старых гнивших домов.

Сирин знал в этом забытом, брошенном человеком царстве все извилины, все приметы, груды камня обвалившихся труб, но никогда не садился на них, потому что лапы его с когтями взвешенными вверх, как у кошки, ложились лучше на опору круглую. Всего чаще он опускался на большой сук старой высохшей яблони. Отсюда от взгоря спускалась под уклон узкая звериная тропинка, ведущая в низину, и по ней ночью шустро шныряли мыши-полёвки, иногда ковыляя увалистый хомяк, семенил короткими ножками ёж, а из кустов одичалой смородины высакивал длинноухий заяц.

Пролетая над тропой, сирин мог схватить добычу, но вот уже третью ночь какой-то странный зверек, злобный и верткий, сторожил тропу и хватал полёвок, ловко прикусив в затылке.

Зверь был пронырлив на редкость. Не зная устали, он рыскал днем и ночью, разорял гнезда и норы и нападал на голубей, которые паслись возле стен храма. Сирин никогда не трогал голубей. Он жил с ними в мире, и, бывало, в иной год его большеголовые сычата мирно дремали в ямке на чердаке по соседству с парой голубят. Однажды он прогнал ворону, которая хотела украсть голубенка, и не знал, почему вороны особенно не терпят сычей и сов. Из всех прочих неясностей только

филин любит воронье мясо, и надо видеть воронье возмущение, когда они заметят филина днем. Вороватые, нахальные и хитрые, они орут и мечутся, трезвонят на весь свет, что только филин ест ворон.

Тот верткий зверек своей жадной споровкой напоминал ворону: он не вступал в борьбу, а старался украсть. Даже мышь-полёвку зверек хватал исподтишка. Сирин брал добычу слета, а зверек ждал, когда полёвка остановится.

Облетев безмолвие, сирин расширил круг полета, прокользнул над низиной, у холмов, осмотрел Намятые зверем дорожки, круто развернулся и с точным плавным подскоком опустился на сук большой высохшей яблони. Карапулизить дичь с дерева, как ястреб, он никогда не карапулил. Он слушал тишину. Его широкие уши были спрятаны под мягкими перьями, лучисто обрамлявшими большую часть головы. Мышиный шорох, неверный скрип поломанной травинки — все слышал сирин и мог понять.

Он уловил юркое движение зверька под корневищем засохшей яблони. Зверек нырнул в траву, и его черная гладкая спина, блеснув под лунным светом, исчезла в густо сплетенной высокой траве. Сирин слышал, как зверек пробежал через протоптаный в бурьяне ход и замер у старой тропинки. Через минуту на тропинку шустро выбежала мышь. Сирин соскользнул с сучка, плавно вскружил над тропою и камнем канул вниз. Его лапы, широкие и когтистые, распахнулись над добычей, но в ту же секунду из травы посунулась хищная морда зверька. Крючки мохнатых совиных лап вонзились ему в шею. Зверек извернулся и взбросил гибкое узкое тело, вцепился зубами в костистую лапу. Сирин вразнобой захлопал крыльями, запутался в траве. Зверек недолго бился, и мертвая пасть его, постепенно застывая, повисла на ноге у птицы.

* * *

Фомка и Миха вышли к холмам почти затемно. Мрачным показалось им это место. На взлобье холма средь сухостойного разнотравья и приземистых кустов попадались надгробные камни, грубо отесанные, серые, древние. Храм, темный, деревянный, величаво вознес в небо пять луковиц и колокольню. Стройный и высокий, он был выше берез и старых тополей вокруг. За храмом возвышался второй холм, могучий, основательный. Великолепный храм стоял как раз меж двумя холмами на ровной площадке, забитой бурьяном и кустами. Нехоженое место в свинцовой серости наступивших сумерек вселяло подспудный гнетущий страх. Но вот из-за тучи на небе

прорезался месяц. Лишайник и мох на крыше храма вобрали его лучи и заиграли россыпью тускло сверкающих блёсток.

— Миха, а стоит ли туда идти? Давай где-нибудь с края заночуем.

— Давай, — охотно согласился Миха. — А завтра днем все как надо высмотрим. Тут в потемках — хаты! — и в яму. Шею набок или ноги пополам. Вон туда, обратно пойдем — там и устроимся. — Миха указал на место чуть повыше и подальше от низины.

Расчалки небольшой самодельной палатки наскоро привязали к кустам. Под днищем палатки умывали густую сухую траву и бурьян. Котофеич забрался в палатку вслед за Фомкой, улегся под боком, и замурлыкал. Миха лег рядом, Тимка свернулся клубком у ног. Усталость навалилась, расслабила, и все вскоре уснули крепким здоровым сном.

Проснувшись на рассвете, Котофеич вылез из палатки взлохмаченный и вялый. Участник теперь уже не детских приключений, Котофеич впервые совершил такой громадный для кота переход.

Он спросонья вспомнил о плошке с молоком, которую ему здесь никто не приготовил, почесался и поразмыслил о том, что бабушка Наталья согнала уже корову, а он, налакавшись парного молока, сидел бы на крыльце и умывался. Незнакомое место, утренний туман, роса и тишина вокруг не нравились Котофеичу. С утра его никто не погладил, не приласкал, не взял на руки. У палатки щенок Тимка совался носом то туда, то сюда. Тимка иной раз бросался за птичкой, вспорхнувшей в кустах, или подкапывал мышиную нору. Помалу-понемногу Тимка убежал от палатки.

Котофеич потянулся было за ним во след, но место ему тут не приглянулось: бурьян, кусты и нет удобных деревьев, на которые Котофеич ловко вскакивал в случае опасности. Оберегая лапы, осторожно и плавно Котофеич выбрался к ельнику. Под ельником ровно и мягко лежала стлань осыпанных иголок. Под еловые лапы не проникало солнечных лучей, и трава там не тянулась в рост. В той тени зеленели листочки заячьей капусты да попадались грибы: сыроечки, кулаки, мухоморы. На сухой веточке Котофеич заметил плохо оперенного желтого дрозда. Глупый птенец слетел с веточки и, трепыхая крыльями, промчался десяток метров до веточки другой.

Теперь за время перехода Котофеич угладился, стал будто бы длиннее, расторопней, на его усатой морде пышно встопорщились бакенбарды, а глаза засверкали хищно и нелюдимо. Беззвучным, стелющимся шагом Котофеич потянулся за птенцом...

Тимка обшарил кусты, серое ольховое мелколесье, пробежал в невысокий березнячок, остановился у ельника. В густой еловой сумеречи Тимка притих, припустил книзу свой бравый хвост и прилежнее, чем прежде, принюхался. Пахло грибами, хвойником и машарищем. Тимка повернул назад — на свет к всходящему солнышку, выбежал на едва приметную звериную тропинку, ведущую в гору к старой засохшей яблоне.

* * *

— Миха, слышь, — замерев и вытянув шею, спросил Фомка.

— Чего?

— Тимка гавкает.

— А может, не он...

— Как не он! Заливистый пес.

И точно: голос Тимки все яростней и яростней наседал на кого-то. Щенок повизгивал, рычал и гавкал взахлеб, в напор и с воем.

— Ай, собачий дух! — воскликнул Миха. — Волка нашел! Подранок! Иль дохлого! Бежал, бежал — и сдох!

— Сейчас узнаем... — не слишком-то доверяя собачьему брёху, прислушался Фомка.

Прихватив ружья, ребята кинулись на лай. С низинки они заметили птицу на тропе. Распахнув крылья, сирин отбивался от собаки. Он шипел, опрокинувшись на куст, растопырил когтистую лапу. На второй лапе намертво зажатый лежал дохлый хорь. Сыча накрыли курткой. Скрюченные на хориной шее когти поддавали палочкой. С трудом из острозубой хориной пасти высвободили тонкую птичью голень. Птичья лапа с когтями-крючьями была сломана и разжаться не могла.

На птичью ногу наложили лубок из бересты, умотали веревочкой и подкинули сирину вверх. Сирин на секунду задержался в высоте и наперекос, с отвисшей лапой, полетел на храм. Ослабевший, он не мог взлететь на колокольню и спрятался где-то в тени. Ребята подошли к древней постройке. Щенок повертелся вокруг, навострил уши, нацелился носом и зазвенел бесперебойным и азартным лаем. В оконном проеме чего-то заворотилось, и снова черный сирин, опахнув ребят крылом, сорвался вниз, потянул кособоком к большому холму и вдруг там исчез, как будто его не бывало.

Глава III

ПЛАЧ СТОЗВОНИЙ

Высокий, ажурный по карнизам, храм возвышался среди дальних далей, великого раздолья и на рассвете выглядел еще красивее, стройнее и таинственней. Широкая двустворчатая дверь, ведущая под колокольню, была окована полосчатым железом и заперта на большой висячий замок, но с боку в постройке имелась еще одна дверь, небольшая, узкая и высокая. Через ту боковую дверь, как видно, входили в храм смеши пыль да прибраться. Небольшая, покрытая полуистлевшей кожей и войлоком, она сидела в косяках наглоухо, но замка на неё не навесили.

Миха потянул за толстое кованое кольцо — дверь слегка подалась. Миха оперся в стену ногою, отпахнул дверь на шаг. Изнутри натянуло затхлостью и пылью, а в спину ударили ветерок.

— Сквозит-то как, словно в трубу тянет, — заметил Миха, — хоть шубу одевай.

Он хотел отжать дверь еще, но трава и дёрн, нарощие здесь за годы, мешали отпахнуть дверь шире. Миха попыхтел, потужился, обернулся к Фомке, чтобы тот помог, но в ту минуту с колокольни тяжело и глухо бухнул колокол, и протяжный густой звук разлился, далеко раскатился над лесом. Миха отпрянул, дверь медленно втянулась в плотные пазы, и снова вокруг зависла тишина.

— Ого... — прошептал с перепугу Миха. Он подался назад, посмотрел на колокольню — никого. Колокол снизу не был виден, а между тем его гул, басовитый и садкий, еще висел над простором.

— А ну-ка — я... — Фомка подошел к двери, отворотил её, упервшись ногою, и снова осадистое «буммм...» ударило сверху. Фомка отскочил, но устыдился страха. — А веревка там не натянута? — Рассудил он.

— Погоди, дай отдышаться. — Миха поскреб затылок. — Давай рванем, чтоб нараспашку, — и враз увидим, что там есть.

От рывка дверь распахнулась, сдирая землю, — колокол бухнул раз, прогудел еще вполсильы и замолк. Ни рычагов, ни веревок не тянулось от двери, и что-то непонятное, страшное обступало вокруг. Храм, построенный из лиственниц, изнутри оказался свежее. Прочно подогнанные бревна вжимались на стыках без щелей, а пол из широких досок был так гладок и ровен, что почти не ощущался под ступнею. В алтаре на по-

крытых сусальным золотом рамках зияли пустоты от срезанных кем-то полотен, а выше уцелел ряд икон, написанных на досках.

— Смотри, Миха, а тут кто-то поработал, — Фомка показал на ряд еще не потемневших пятен в рамках.

— А то как же... Как не спереть? Нынче на иконы потрава. За них деньги большие дают. Батька говорит: иная икона — и смотреть не на что, одна сумять на душе, зато ее и дороже продают.

Озираясь по сторонам, друзья обошли помещение. Деревянные полы, буровато-темные и слегка покрытые пылью, озвученно принимали каждый шаг. Шустрый Миха потопал средь храма вприпляс, какая-то грустная струна гулко влилась в деревянные стены, и храм загудел протяжным глухим стоном.

— Фух! — вздохнул Миха. — Жуть какая... Смотри, щенок сюда забежать и то боится. Надо бы на колокольню слазить — узнать, что это за штука там такая самозвонная.

Ступени, ведущие на колокольню, не обрушились от времени и держались накрепко в пазах могучих бревен. Фомка с Михой добрались до широкой площадки вверху, но дальше ни ступеней, ни лестницы не было. Единственный колокол башни висел высоко, а к колокольному языку была привешена непонятная штуковина — что-то вроде двух конусных тонких дощечек, вшитых крест-накрест. От потолка над площадкой тянулась вверх широкая тоже конусная и дощатая труба, однако поставленная в потолке не по центру, а сбоку и в наклон. Труба выходила как раз к дощечкам, подвешенным на язык колокола, и там имела небольшой козырек.

— Вот поп — чего выдумал! — говорил Миха. — Совсем не понять, чего он тут настроил!

— Подумаем — разберемся, — рассуждал Фомка. — Бабушка говорит: хорошая хитрость долго живет.

— Подумаешь, хитрость, — ворчал Миха. — По мне внизу и то лучше. Вот свалится на маковку эта штуковина — до самой смерти в ушах звенеть будет.

Друзья слезли вниз, еще немного побыли в застойной полутьме храма, а когда закрывали дверь, на колокольне снова гулко и тяжко ударило — «буммм!..»

— Вот чёртова затея! — Миха, вспугнутый, как заяц, отскочил от двери.

Солнце только что взошло, и после мутной серости внутри храма мир смотрелся радостно и светло. Тимка заскакал играючи, а Котофеич нигде не появлялся. «Наверно, в палатке спит», — подумал Фомка. У подножья второго большого холма стояла громадная раскидистая ёлка с шатровыми ветвями до самой земли. Вот тут бы и ночевать. Место сухое, на пригреве. За ночь толком отдохнуть не пришлось: спали кое-как без

костра. Они быстро вернулись, собрали что есть, но Котофеич так и не нашелся.

— Куда он денется? Придет, — успокоил Миха. — Такие звери зря не пропадают.

На новом месте нарубили лапника, палатку поставили под самую ель, под шатровую зеленую крышу. Дышалось здесь хорошо, привольно, и только Тимка был обеспокоен чем-то. Он хватал воздух верхним чутьём или, припадая носом к земле, вынюхивал там какие-то запахи. Несколько раз Тимка отбегал от палатки шагов на тридцать и тут же возвращался, обеспокоенный и настороженный. Его морда всегда чаще навострялась по взгорью на холм, где в сплошном сухом бурьяннике сгрудилась небольшая толпа елочек, а еще выше на самом взлобье кустился можжевельник.

— Чайку попить бы, — предложил Миха.

— Отчего бы не попить, да бурьянник этот, сухостой, пойдет гореть — ничем не удержишь. Костер тут жечь только у ручья можно. Смотри: свежей травы почти не пробилось. Щебенка, камень — потому и травы путной не растет.

— У ручья сырьо, душно, и тащиться туда далеко... Давай свою бутылку с молоком. Теперь оно прокисло — так в самый раз напиться.

Друзья залезли в палатку. Зеленый тонкий брезент был натянут как раз под широкой крышей нижних веток и снаружи скрывался от взгляда. Прошлую ночь отдыха не дала, и теперь захотелось полежать, растянувшись во весь рост. У подножия холма средь сухостойного бурьянника не наседала лосинная мошка, легонько веял теплый ветерок, и сон, хороший, отрадный и тихий, вскоре сморил и Фомку, и Миху, и щенка.

Они проснулись к вечеру от звука тяжелого и тягучего. «Буммм!..» — ударил колокол, и Тимка, гавкнув, юркнул в палатку.

— Фома, слыхал?

— Слыхал будто...

Но колокол молчал. Миха взялся вытаптывать, выдирать бурьян и выкладывать кольцо из камня: ему не терпелось посидеть у костра да попить чаю. У подножия холма и вокруг средь бурьянника и пожухлого слоя старой травы камней попадалось множество — больших и малых, округлых и битых в щебенку. Огороженный камнями костер запыпал ровно и жарко. Слабый дымок вскudрявился над пламенем. Притихший предвечерний мир, спокойный и просторный, готовился ко сну. Птичий пересвист отзывался все реже и тише, вороны медленно и тяжело летели на ночлег, и беспокойная прыткая сойка заскрежетала в дальнем ельнике за храмом. Отоспавшись за

день, Фомка и Миха долго сидели у костра. К чаю Миха был присгастен, пил его много и всегда вприкуску. Фомка любил больше молоко. Он время от времени поглядывал по сторонам и прислушивался.

— Все кота, что ли, ждешь? — Миха подул в кружку, прихлебнул чаю. — Эка важность — кот. На нем что — ездить можно? А мышей он сто лет как не ловит. Я бы прогнал его давно.

— Сам ты мышай не ловишь, — осерчал Фомка, но тут же встал, обернулся к уклону. — Слышишь? — замер он.

Где-то вдали от леса послышался басовито и протяжно котовий голос. Потом ближе — раз и два, и наконец-то, пробираясь сквозь бурьян, к костру вышел Котофеич.

— Вот ведь чему не пропасть, — рассмеялся Миха. — Жрать ух как теперь хочет.

Котофеич мягким стелющимся шагом подошел к костру, взобрался к Фомке на плечо и крупно, круто замурлыкал.

— Ишь какой раскатистый, — сказал Миха. — Ты его хрипеть еще научи — под нынешнюю моду...

Свечерело. Отполыхал последний багрянец уходящей зари. Ночь сумеречью, вкрадчивой и затаённой, накатилась к лесу, и месяц объявился в небесной непроглядной глубине.

Спать легли за полночь. Сон сморил не сразу, но уснули крепко и спокойно. Под утро повеяло холодком. Привычный к теплу, Фомка потянул на себя кургузое походное одеяло, а Миха, тряхнув головой, тут же проснулся. По давней цыганской закалке он не привык нежиться в постели и просыпался враз, бодрый и свежий.

Миха вылез из палатки, потянулся, расправился, присел, попрыгал, помотал руками. Солнце еще не взошло, и сквозь небо пробивалась та рань, которая только-только ломала в небе тени ночные. Прихватив топорик, Миха пошел в гору на холм пособрать сучки по мелколесью. На щебенчатой сухой земле деревца здесь чахли, и большинство засохло на корню. Осинничек да березнячок среди могучего бурьяна и кулижка недоросших елочек у каменистого обнаженного взлобья. К тем елочкам, бурьян перемешанный сухостойной мелочью, наползал неширокой полосою, и Миха принялся собирать валежинки на взгорье. Вдруг он увидел: на колокольне светится крест. Солнце еще не взошло, не прохлынула заря, а церковный крест сиял растекающимся жаром, кровяным и подвижным. Так было с минуту или две. Но вот кровавый жар сжался, осел, потускнел слегка, склынул ниже и так же внезапно исчез, как и появился. Миха кинулся к палатке.

— Фома! Видал?

— Чего?

— Как крест кровью наливался! Стозвонный, крестовоздвиженский, на крови... Помнишь, бабка толковала...

Миха только что пережил минуту безотчетного страха и говорил взахлеб, сбивчиво и полушепотом.

— Ну и что? А тебе жалко, что ли? — Фомка, недовольный, что его разбудили, сопел и не хотел открывать глаза. — А тебе не показалось? — спросил он.

— Хать ты, показалось! — передразнил Миха. — Дрыхнешь, как кот, глаза слиплись!

— Ну вот ты и смотри, раз такой уж зрячий, — Фомка сел, протор глаза: он понял, что поспать теперь уж не придется.

Опасливый и взбудораженный после того, что увидел, Миха проникся теперь восприятием обостренным и недоверчивым.

— Фома, а тут кто-то кроме нас еще есть... — сказал он чуть слышно, озираясь по сторонам.

Ребята крадучись сошли со взгорья и, хоронясь за кустами и деревьями, направились в сторону храма. Обогнув место по зарослям, подошли ко входу, прислушались — тишина. Войти внутрь мешал колокол, который обязательно бухнет, как только приоткроешь дверь. Миха потихоньку вскарабкался к окну и, цепляясь за решетку, навострил глаза в полумраке. Вскоре он осмелел, взобрался на решетку в полный рост, потому что ничего живого не увидел. Миха потихонечку присвистнул, и свист, проникнув сквозь незастекленное окно, звучно раскатился по храму.

— Ой ли! — Миха внезапно присел. — Фома, глянь-ка сюда.

— На полу в ряду пыльных вчерашних следов прибавились крупные, широкие, с ребристым отпечатком.

Ребята подошли к двери.

— Шмыгнем разом — бухнуть не успеет, — порывался Миха.

Тронули дверь — звякнул железный засов: кто-то запер вход изнутри. Миха подкрался к окошку.

— Эй, ты! — гаркнул он. — Чего там расселся?! Голос раскатисто прогремел под потолком, — и все опять мертвое ни шороха, ни звука.

Поглядывая вверх, ребята обошли храм вокруг. Никто не глянул на них сверху, никто не отозвался, и только с другой стороны Тимка припустил хвост, вздыбил загривок и замурзился: здесь был промят бурьян — кто-то прошел отсюда в дальний ельник, прямиком на полверсты.

— Удрал — и пусть, — высвобождаясь от напряжения, Фомка развинул бурьян. — Вон его след. Видишь?

— Вижу. Только он не ушел. Это я чую. И нас он давно заметил. Зачем бы ему тайком да вчера вечером в храм понадобилось лезть? Изнутри запер и вылез куда-то. Это чтобы мы не вошли. Хороший человек к людям подходит. А этот где?

— Ждет, когда мы уберемся.

— А мы смудрим... — и Миха запальчиво поделился своей хитростью.

* * *

До полудня ребята жгли костер, кипятили чай и громко говорили о том, что пора собираться в обратную дорогу. И как только день, ясный, просторный и свежий, рассеялся над лесом, они быстренько свернули палатку, завалили костер щебенкой и камнями и прямёхонько пошагали назад мимо храма по еле приметной звериной тропе. Давеча Фомка ходил тут в низину к шустрому ручейку за водицей — и все исcosa поглядывал на ельник, взлохмаченный и угрюмый, к которому вел от храма промятый след. Ему показалось, что в ельнике качнулась ветка — и больше ничего. Не скрипела сойка, не тарахтела сорока — ничто не выдавало присутствие зверя или человека.

Фомка и Миха на ходу посматривали в ту сторону. Что-то притягивало их взгляды. Видимо, кто-то на них смотрел. Во влажном месте Котофеич мигом вспрыгнул к Фомке на рюкзак, а Тимка восторженно зашлепал лапами по воде. Ручеек в низине растекался вширь по осоке, терял русло, и набухшая подушка из многолетнего слоя осевшей травы пружинила и колебалась под ногами.

По ту сторону ручья ребята остановились. Но вот вдали заверещала, заскрипела сойка, высоко вспорхнула над ельником и, суетно махая крыльями, полетела за большой холм.

— А с большого холма-то как раз и видно все будет, — поразмышлял вслух Фомка.

— Место сухое, приглядное, — одобрил Миха.

Они прошли вверх вдоль травяной збыи ручья, скрылись в лесу. Примерно через километр ручей врезался в узенькое русло, через которое легко было перешагнуть. Отсюда можно было идти в обход на большой холм, выйти с его обратной стороны и затаиться. Крюк получался километра в три, и помехой в этом деле мог оказаться Тимка. По своей собачьей расторопности Тимка способен был удрачить с холма или не ко времени затяжать. Тимку взяли на поводок, но он вертелся и так и сяк, забегал за деревья и мешал ходу.

Миновав ручей, друзья вскоре попали в белоствольный просторный березовый клин с небольшими кулигами черничника. Черничные кулижки темнели шире и гуще к стороне, где встроился к березам высокий сосняк. В местах, доступных солнцу, черника вызрела, налилась сладостью и соком. Ребята не двинулись с места, пока не наелись вволю. По ходу то там, то тут попадались белые грибы. Толстоногие, с обливными шоколадно-коричневыми шляпами, они важно сидели по черничнику и у берез. Грибами набили пакеты и несли их в руках. По ту сторону холма вышли часа через два. Сложили рюкзаки, привязали к березке Тимку и направились в гору меж низеньких сосенок, которые прижились здесь на земле, сплошь каменистой и неудобной. На твердом сухом месте Котофеич тут же куда-то удрал. «Пусть бегает, — сказал Фомка. — Кот не выдаст. В лесу коты и дикие водятся».

На вершине холма за невысокой грядой можжевельника Фомка с Михой затаились. Солнце, высоко взошедшее, осветило все вокруг. Храм, сумрачный в ночи и одинокий, теперь стоял внизу ажурный, стройный, аккуратный.

— Как на картинке, — отметил Фомка, чуткий до красоты.

— Умели делать, — согласился Миха.

— А как же... Мне бабушка рассказывала, что еще за раньше, как ей маленькой быть, ходили внаем артели строить терема. Плотник он плотник, а вот теремошник — совсем, говорила, другой человек, — с выдумкой, с писанным умением особым. Он, этот человек, всякий раз новый терем строил. Теремошники терема ставили все разные и рисунком, и укладкой, и крыльцом, и кокошником. А еще говорила, что от терема человеку будто бы век длинней. Все, говорит, от доброй складности на душе. — Сильна у тебя бабка, — похвалил Миха и вдруг мгновенно пригнулся голову: с окраина леса из густого ельника вышел человек.

Глава IV

ЗЕЛЕНЫЙ ПРИШЕЛЕЦ

Пришелец, невысокий и коренастый, в зеленой брезентовой куртке, остановился на опушке, снял берет, отер высокий лоб, подвскинул рюкзак за спину и деловито направился в сторону храма. Вскоре он скрылся за постройкой и должен был выйти сюда к боковой небольшой двери, но прошло с полчаса, а возможно и больше, но зеленый по эту сторону храма так и не появился. Напрасно Фомка и Миха вглядывались, ждали

— человек исчез, как в воду канул. В довершение всего неожиданно и гулко, с тягучим медлительным отзвучием удариł колокол. Прошло еще минут десять — удар повторился, а человека нет как нет.

— По храму шастает, — сказал Миха.

— Вошел и вышел, если колокол два раза ударил, — поправил друга Фомка.

Прошел еще час, а человек не появлялся.

Зеленый вышел внезапно, обогнув храм от колокольни. Он задержался у двустворчатой двери с большущим замком, потрогал дверь боковую, запертую изнутри, посмотрел на решетки, вделанные в окна, остановился с восточной стороны и стал что-то разглядывать на большом холме. Отсюда он пошел прямо-прямо, широко отмеряя шаги.

— Раз, два, три... — считал Фомка. — Сто... Сто пятьдесят... Двести.

Пришелец остановился.

— Сейчас клад выкапывать начнет, — сообразил догадливый Миха.

А между тем незнакомец отсчитал еще пятьдесят шагов, раздвинул большой деревянный циркуль, выстроганный и сшитый из двух палок. Одним концом циркуля он нацепился на крест колокольни, а второй конец оставил в плоскости, соотносительно к холму.

— Чего это он? — завозился Миха.

— Кто его знает. Геолог, наверно. Иль геодезист, географ какой-нибудь.

Все так же деловито зеленый сошел вниз, отправился к ельнику, из которого вышел, и вскоре оттуда потянул дымок костра.

— Знающий где не надо костер не палит... — посмотрел в ту сторону Миха. — За ельником низина, болотина. Оттуда пал не пойдет. Ишь как окопался. Чай поди что пьёт...

— Ничего — и мы подождем... — Фомка полулежа привалился к можжевельнику.

Но ждать пришлось долго — весь день и всю ночь. Палатку поставили по ту сторону холма, костер нельзя было зажечь, и Фомка в ночной зябкой полудрёме беспокоился, возился и, проснувшись с первым просветлением в небе, вылез из палатки, встревоженный странным предчувствием чего-то необычного. Он взошел на холм и, притаившись за можжевельником, стал поглядывать вокруг. Храм, еще затененный громадою холма, был едва-едва освещен, и только колокольня возвышалась над туманной пеленою, укрывавшей лес, уклон и дальнюю низину. На небо понемногу настипался алый разлив, за кото-

рым восставала заря. Завороженный нахлынувшей вполнеба красотою. Фомка простоял так минуты две, перевел взгляд с неба на землю и вздрогнул, ошеломленный и скованный: на церковной колокольне горел и наливался кровью кроваво-красный крест. Крест висел над пеленою тумана, будто бы сам по себе, но вот он сдвинулся, поплыл навстречь удивленному взгляду, расширяясь и горя.

Фомка кубарем скатился к палатке.

— Миха! Смотри! Крест полыхает!

— Вчера видал... — отозвался Миха. Он что-то притомился и не проснулся спозаранку, однако побежал за Фомкой наверх.

Кровавый крест, мелькнув последним блеском, в мгновение потух, и теперь тускло и уныло торчал на колокольне.

— Видал? — спросил Фомка.

— Видал... — почесываясь, отозвался Миха. — Вчера аж страхом опахнуло, а нынче — ничего... Авось на голову не свалиться... Теперь бы пожрать чего... — мечтательно поразмыслил Миха. — Сдается мне, что с той стороны из ельника мясом жареным пахнуло. И кот твой куда-то опять удрал, если не туда, конечно... А может, его этот зеленый и зажарил... — лукавил Миха, исподволь, наблюдая за другом.

— Отстань-ка ты, несчастный, — огрызнулся Фомка.

— А что? Я ничего... — продолжал Миха. — К слову сказал.

Бывало, подъезжаешь к табору, так за версту знаешь, чего там стряпают... Куриным наваром наслонится, а то — гусем... Жареным. Гусь он еще слышнее, чем курятина. И баранину чуешь далеко...

— Да захлонись ты наконец со своим табором, — отмахнулся Фомка. Он напряженно смотрел на храм и в низину. — Что-то тут не так. Соображаешь? Из-за чего этот зеленый сшивается здесь? Ночевал... Видишь дымок? Опять костер палит.

Тем временем заря наплыvalа все шире. Могучее движение света заполонило небо, и в какое-то одно мгновенье что-то вспыхнуло на малом холме за храмом, — вспыхнуло красным столбом и погасло.

— Ну вот и там потеха, — Миха кивком головы указал на малый холм. — Айда взглянем.

— Стой! — одернул друга Фомка: внизу показался зеленый. Он что-то высматривал под ногами и медленно шел в гору.

— Ну и морда, — ворчал Миха. — Какой-нибудь из шайки. Либо зек. Оброс, смотри-ка... Дураки мы — ружья в палатке оставили...

Кинулись к палатке, прихватили ружья, вернулись обратно. Пришелец стоял на средине взгорья. Но вот он стал обходить холм по кругу. Прошел в одну сторону, в другую, сел: на ка-

мень, устало свесил ноги. Он сидел так долго, посматривая то в небо, то по сторонам, не спеша сошел вниз, осыпая щебенчатое взгорье сапогами. Спина его замаячила у храма и там, дальше и дальше, пока не скрылась в ельнике. Минуты через две он появился вновь с рюкзаком за плечами и пошел устало прочь на переход к ручью.

* * *

— Ну вот — смылся и хорошо, — рассуждал Миха. — И кота не съел. Может, только шкуру взял на шапку...

— Слушай-ка, ты, замолкни... — заметив усмешливые нотки, не на шутку обозлился Фомка. И в самом деле, он со вчерашнего полудня не видел Котофеича.

— Не тужи, — успокоил его Миха. — Он кот, и гуляет сам по себе... Объявится где-нибудь.

И то, пожалуй, могло быть всякое.

Стоило, однако, посмотреть, чего искал на взгорье пришелец. Фомка сходил к палатке, отщелкнул замок с собачьего ошейника. Тимка, ощущив свободу, припустился во круги, то тявкая на радостях, то изредка скуля.

По холму на взгорье обнажались плоские камни. Синеватые или зеленые, они лежали порожистой укладкой, плотные и сдавленные, побитые ветром.

— Интересно знать, чего он высматривал, чего искал тут, — Фомка остановился на плоском, выступавшем наружу камне.

Тимка, посунувшись носом в одну, в другую сторону, заработал неподалеку лапами. Прокопав небольшую нору меж камней, он зарычал, затявкал, задрал морду и с досады завыл. Щенку мешали камни. Тимка поработал лапами снова, опять-таки громко сердито загавкал, — и тут-то в собачий брёх влилась откуда-то мягкая басовитая нота. «Мяуу...» — послышалось поблизости. Потом еще и еще. Голос исходил приглушенно из-под земли. Фомка с Михой кинулись к собачьему раскопу, и здесь только заметили, что каменный плитняк, лежащий по взгорью, уложен ярусом, а меж плит имеются щели шириной пальца в три. Щели эти, длинные, продольные, тянулись полукольцом по холму и поднимались веером вверх. Из щелей, из глубинных недр горы, веяло жаркой сухостью. Гора здесь была теплее, чем в иных местах. Оттуда, сквозь щели, засучив своих, Котофеич орал, взывая о помощи.

— Котофеич! Котофеич! Кыс-кыс! — обрадовался Фомка.

Кот отозвался жалобно, просяще. Ребята полазили вдоль каменных щелей, но ни малейших примет входа не нашли. Миха просунул хворостину внутрь горы. В глубоко запрятанной

пустоте он пошарил хворостиной, и вдруг метрах в шести выше по взгорью взлетел сирин. Сыч с отвисшей перевязанной лапой перелетел на храм и спрятался на колокольне. Ребята быстро вскарабкались по взгорью. На выступе среди камней сгрудились молодые елочки, а в самой средине меж елочек имелась впадина метра на два шириной и в ней довольно просторная нора, подсвеченная снизу. Вглядевшись пристальней, Фомка увидел сквозь нору глубоченную пещеру или скрытню. В глубине хорошо просматривалось дно, сплошь устланное ветками, хвойным игольником и старой травой. Весь этот мусор сюда сквозь щели наносило годами, отчего получился толстый слой, просущенный и пухлый.

— Миха, смотри!

— Ой-ё! — пригнулся к отверстию Миха. — А кот-то твой там. Слыхал?

Где-то снизу жалобно и грустно отзывался Котофеич.

— Хоть бы хлеба ему бросить, — обеспокоился Фомка.

— Ээ, — вздохнул Миха, — опять забота... Давай уж лучше извлекать начнем. Ты его накормишь, а он спать там уляжется. А ты сверху сиди. Не жравши-то остервенеет — пулей выскочит, только кусок покажи.

— Как он вылезет? Не видишь, глубь какая.

— Слегу опустим — по ней он и взберется.

Нора проходила сквозь метровый слой земли и камня. За тем слоем начиналась пустота. За холмом ребята долго выбирали сосенку, чтоб была высокой да не толстой.

Сосенка оказалась довольно увесистой. Её комлем тиснули в нору. Ствол застрял наперекосяк. Поднажали. Посыпались камни. Что-то ухнуло, и проём метра в два шириной обрушился вниз,

Фомка отер побелевший лоб, тревожно глянул в обвал.

— Задавило, думаешь? — угадал его опасения Миха. — Не такой он кот, чтобы не отпрыгнуть... — Миха опасливо приблизился к пролому. — Эй ты, шапка невыделанная! — крикнул он вниз и замер, пораженный и напуганный: в огромной пещере переливался и горел розовый огонь.

Огонь, перемешанный с искрящейся дымкой, плыл над устланным еловым хламом полом, над камнями, рухнувшими сверху. Вглядевшись пристальней, можно было понять, что внизу оседает розовая пыль, но откуда шел пылающий разлив розового света глаза воспринять не могли: свет озарял всю пещеру, словно налитый в большущую кринку. Где-то там, в розовых напльвах света, раздалось басовитое мяуканье кота.

— Ай, скотина! Живой и не зажарился! — воскликнул восторженно Миха.

И в самом деле, снизу из пещеры наносило сухим устойчивым теплом, как поутру из печи, когда вчерашнее тепло лишь греет, но не жжёт.

Сосновую слегу опустили вниз, но Котофеич жался в стороне, на каменную осыпь не шел и наверх не вылезил. Его звали и манили. В какую-то минуту он вышел к груде упавших камней, розовый и странно увеличенный. Понюхал камни и снова отошел куда-то вглубь. Он, кажется, потерял ориентировку. Фомка пошевелил слегу за конец, и Котофеич тут же скакнул в сторону: он был крепко напуган обвалом.

— Давай, Миха, еще одну сосенку срубим. Покрупнее. Сами за котом слазаем. И со стены там что-то сверкает — надо бы понять. Откуда там этак светло, тепло да розовым светом улито?

Второе деревцо было тяжелее и толще. Пока искали, рубили да волокли, умаялись и захотели пить. Наскоро сложили костерок в стороне на голой каменистой проплешине. Вскипятили чай. Теперь не очень торопились: Котофеич был жив, ему бросили вниз вяленую рыбинку, а заниматься делом опрометью да не подумав Фомка не привык.

— Правильно ты делаешь, Фома, — одобрил Миха. — Торопить работу — что хвост крутить: упаришься, а дела не прибудет.

— Так батька сказал?

— А тебе не все равно. Хорошие слова и без человека хороши а плохие слова еще хуже бывают, когда при них человек есть.

Передохнули, собрались с силой. Фомка спустился вниз первым. Розовый свет, плывущий и непостоянный, окутал его. Лицо, руки, рубашка и сапоги — все стало розовым, и в этом наплыве странного света сместились и потолок, и стены, и площадка под ногами.

— Эй, Фома, тебя там не опалило? — крикнул сверху Миха.
— Да нет, не опалило. Тут только тепло, и глаза слепит...

Миха полез щустreee. Он взахват обжал ствол ногами, заскользил по смолистой коре вниз. У самого дна Миха спрыгнул, — слеги зашатались. Друзья глянули вверх, где высоко-высоко синело в проломе голубое небо, и пронзительный страх заставил обоих поневоле вздрогнуть: сверху в пролом смотрел на них зеленый пришелец.

Глава V

ПО ВОЛЧЬЕМУ ПЕРЕГОНУ

Илис добрался до волчьего перегона часа за два с половиной. Пробираясь сквозь чащобы и завалы, он нашел место, где, по всем приметам, следы раздвоились: напуганный волчий молодняк и волк матерый ушли в сторону моховых болот, и зверь раненый не угнался за ними. На небольшой круглой прогалине подранок постоял, вмял сочную податливую траву, прилег, но засыпал, должно быть, погоню и затренировал в сторону. Наподалеку отсюда волк стронул лосей, — они вломились в подлесок, просадили охлёстье, и стал виден проход. На пути то и дело взлетали рябчики, взгудел, ошибая сучья, глухарь, — на что Илис даже не вскинул ружьё: раненый зверь стережет каждый шорох, и ружейный выстрел поднимает его с угретого места.

Лайки плохо тянули по следу. Натащанные по хорошему пушному зверю да по птице, они не слишком яро приняли запах волчий. То ли след не кровянился, то ли сушь его испаряла, только Илис быстрее наводил собак сам, чем они бежали туда, куда нужно. Наконец запах подранка совсем заглох на сухой оголенной вырубке. Отсюда километрах в трех петлял ручей. Всего правильней было выйти туда, потому что, так или иначе, а зверь потянет во влажное место. Там где-то придется обязательно пересечь его след. Во влажном месте запах воспринят, собаки освирепеют, тогда не придется отмерять километры зазря.

Легкий в ходьбе, привычный к тяжёлым неприметным тропам, Илис быстро вышел к ручью. Его вывело к месту не столько знание, сколько чувство. Возле широкого распадка собаки вздыбили шерсть и все уверенней и уверенней потянули по чащобе. Они скоро рванулись вперед и там, километра за полтора, злобно и напористо залаяли. Илис помчался на собачий перезвон, но волчица зачуяла человека, стала уходить. Матерая, сильная, она поранила собак, и теперь они не грызлись, а только наседали, наводили на зверя охотника.

Три раза Илис подходил почти на выстрел, и всякий раз волчица отступала все дальше и дальше. Вскоре зверь кинулся в низину через зыбь к ручью. Одолевая мшарную и травяную зыбь на трех лапах, волчица легла на брюхо, и собаки настигли её. Они бесновались, вминая лапами податливую зыбь, и не давали волчице выхода. Сквозь тальник Илис слышал лай, рычание, возню. Возле низины росла высокая раскидистая ель. По толстым веткам Илис вскарабкался до половины ели. Он

увидел сверху травяную зыбь, покрытую серой потемневшей осокой, собак, свирепо наседающих на зверя. Было довольно далеко. Илис дослал в ствол пулевой заряд и весь сжался, отчеканив глазом цель. Выстрел резко ударил по низине. Зверь вскинулся, обнажая брюхо, и собаки смыли его.

Запрятив волчью шкуру в рюкзак, Илис выбрался из низины. После долгих километров пути и напряжения захотелось отдохнуть. Отсюда было недалече до места, где он встретил Фомку с Михой. Место не ахти какое, но там лежал готовый сухостойник и остаток землей присыпанного костра. Подвесь котелок, разожги готовое, разуйся, расслабь тело, и часа через два почувствуешь, как отгудят набитые, надерганные на кочевряжинах ноги, как отойдет ломота в спине, как перестанут болеть рюкзачными ремнями нарезанные плечи. В такие минуты жизнь становится дивно хорошей, и все лишь от того, что есть тебе тепло и отдых.

Илис прошел с полверсты — не больше, когда собаки подбежали к нему, насторожились. Они не лаяли, не бросались вперед, хватнули запах и взъерошили загривки. «Хороший охотник Натоха, если так натаскал своих собак, — подумал Илис. — Сразу понимаешь, кто впереди, — зверь или человек. Собак Илис взял у Натохи, сына бригадира Ивана Федосеевича, и поначалу не очень-то надеялся на дальную привязку этих лаек в лесу. Теперь он видел совсем другое и был доволен. Собаки оглянулись, посмотрели в глаза Илиса: они знали, что в лесу нельзя тявкать попусту, немного подались вперед, предупредив тихим рычанием охотника.

Илис остановился, прислушался, собаки нацелились носами — они чуяли кого-то и слышали шаги. Вскоре за ельником явственно затрещали сучья, донесло невнятный разговор. Илис, крадучись, пошел на голоса. В лесу люди встречаются разные. Прежде чем подойти — лучше взглянуть издалече. Встретив Фомку с Михой, Илис видел, что это ребята сельские, свои. Теперь он слышал треск напролом, отрывистую брань и недовольно бубнящий говор. Охотники так по лесу не ходят, а грибникам и лесорубам здесь делать нечего — места не те.

По шуму и говору Илис понял, в какую сторону шли, кажется, двое. Сначала двигались прямо в низину, потом отвернули в сторону, крутнули назад, потолкались, поругались, о чем-то споря. «Городские заплутались однако», — решил Илис. На всякий случай он тихо приманил собак и, крадучись, пошел на голоса. За чащобой двое спорили, как идти, и тянули врозь. «Глупые люди, — тихо сказал Илис, взглянув на собак. — Показывать дорогу надо, а то пропадут.

— Эй, зачем такой разговор? — спросил он в просвет меж ветвей.

Двое смолкли, завертели головами.

— Ну ты, парень, даешь... — подавляя одышку, обернулся длинный, тощий, что был в клеёнчатой ветровке, в замызганной вязаной шапочонке на голове.

— А ты что такой пугливый? — Илис явился из-за дерева.

— А он не пугливый — он чокнутый, — сказал второй, низенький, щуплый, одетый в засаленный свалившийся свитер, отечный и буроватый с лица. — Говорю ему: нет тут ни черта ничего. А он свое: боженьке здесь когда-то молились. Полумная старуха комуто что-то говорила, а он сюда сам приперся и меня завел...

— Старуха правду людям говорит, — заметил Илис с укоризнью. — Люди много где жили, много где живут. По тайге живут, по степи живут, в пустыне живут и тут жили... Вон в той стороне через низину... — махнул он рукою. — Там и теперь еще церковь стоит.

— Ух ты! — криво усмехнулся длинный. — Балда! — И шлепнул по фуражке щуплого. — Значит там? — он ткнул желтым протабаченным пальцем поперек низины.

— Там, — подтвердил Илис. — Идти однако тяжело и завязнуть можно. Отдохнуть надо, чаю попить.

Двое переглянулись.

— Не, парень... Ты тут гуляй, а мы сами по себе ходим...

— Пожалуйста, однако... — обиделся Илис.

Он позвал собак, чтобы идти к костирищу и там отдохнуть. Что-то встревожили его эти двое: люди как люди, а зачем быть на особицу и так ругаться меж собой. В лесу, наверно, четверть века не бывали, и дохлые какие-то, и ругливые. Ума не видно, души но видать, а в лес притащились. Не браконьеры однако. Браконьер такой слабый не бывает. Выросший вдали от суеты и взвинченных желаний, Илис сохранил природное свойство — понимать человека без слов. Он почувствовал во встречах не просто наглость, не просто досаду неудачливых ходоков, он почувствовал в них воровское напряжение, с каким хитник входит в дом и вдруг натыкается там на хозяина. Вор тут же ищет, что сказать, он находит наполовину верные слова и спешит поскорее исчезнуть, замутив сомненьем чью-то душу.

Так было и теперь. Запалив костер, Илис все думал о встречах. Он помнил, что в ту сторону ушли Фомка с Михой, но день клонило к концу, и эти двое засветло к храму не дойдут. Завтра, пожалуй, самому надо идти туда, чтобы вывести ребят обратно.

Илис соорудил небольшой шалаш, настлал лапника на влажную землю, основательно поел, попил чаю, накормил

собак, постелил под бок волчью шкуру и крепко заснул, как только свечерело.

Он проснулся с первой утренней свежестью, встряхнулся, вскочил, одолевая зябкую дрожь в теле, оживил медленно тлеющие головешки костра. Почти бесшумно двинулся в низину — к ручью за водой. Именно в эти едва освещенные утром минуты на вершины елей взгромождались глухари, подлетали на манок рябчики. Пару покупных свистулек на рябчика Илис забросил на дно сундуочка с охотничьим припасом. Свист от железных манков исходил режущий, сквозящий. Из нагрудного кармана Илис достал манок свой — из тетеревиной kostочки. Манок он настроил на свист с глуховатым подвтором. Получался не свист в чистом его виде, а высокая свистящая нота, в которой сдавливались ноты — одна высокая и просторная, а вторая пониже, привязанная к ней. То протяжная, то краткая напевность манка сзывала птиц издалека. Вытянув шеи, чутко внимая манку, рябчики начинали перепархивать с ветки на ветку все ближе, ближе, а иные приходили по земле.

Илис выбрал небольшую прогалину, затаился под елью, зажал губами манок. Первый рябчик фыркнул крыльями где-то рядом, второй сел шагах в десяти на открытую ветку. Он был хохлат и полногруд, краснобров и важен — красавец среди красавцев петушков. Илис вскинул ружье и опустил тут же. И снова тихо-тихо просвистел манок. Рябчик приподнялся на мохнатых лапках, спорхнул с ветки и сел почти рядом вверху. Он повертел головой вправо-влево, чтобы узнать, откуда исходит манивший звук. Илис улыбнулся. На живой птице перо играло на заре. У мертвей оно тускнеет, хотя и сохраняет цвет. Илис пощеккал языком. Рябчик удивленно скосился вниз, присел и вмиг сорвался с ветки.

Напившись чаю с баранками, Илис засыпал костер, прикинул взглядом, как лучше идти через низину на храм. Вчера туда направились те двое. Илис почувствовал, что люди не из лучших, но вот для чего они бродят по лесу, понять не мог. И на храм иди заторопились. Зачем? Кто их знает. Илис вскоре нашел в низине промятую стежку по траве. Собаки, привычные добывать птицу и зверя, на человеческих следах не проявили рвения. Сапоги вчерашних встречных пахли только резиной, не побуждая азарта и злости: след людской обычно ведет к жилью, а это для собак означает, что охота кончилась и впереди ждет отдых и кормежка.

Из низины Илис безошибочно выбрался к тому месту, где ночевали двое. Костер у них не удался. Топора они не захватили с собой и бросали в еле мерцающее пламя сырой хвойник и гнилой лежалый хлам. Около чадящих гнилушек валялись две

бутылки из-под водки, окурки, консервные банки, огрызки соленой рыбы и полбуханки хлеба, который швырнули в золу.

По всем приметам, эти двое не спали ночь: дрогли с похмелья, снова пили и почти затемно ушли с места через лесную проредь. Илис не торопился догонять. Лес — не город, и чужаку в нем некуда деться: опытный охотник все равно его найдет, если летом не хлынет, скажем, дождь, а зимой не завьюжит следы метелью. Илис посмотрел в небо: там высоко летали ласточки, и потому дождя не предполагалось. Стремительно рассекая воздух и посвистывая на лету, птицы давали круги и возвращались в одну сторону — туда, где слепили свои гнезда где-нибудь под потолком. То был, видно, храм. И двое шли в ту сторону. Следы вели прямо, строго в одном направлении. Две пары едва приметных по чернотропу вмятин нигде не сбились с направления — так ходят только по компасу. А человек, случайно забредающий в лес, компас с собой не берет. Все говорило о том, что эти двое знали, зачем и для чего сюда идут.

Глава VI В ПОДЗЕМНОМ ЗАРЕВЕ

Зеленый пришелец потирающил глаза на дивное за рево внизу и басовито пробубнил с края обвала:

— Мужики, а что там этак светится?

Фомка с Михой, сощурившись от мягкого пунцового света, ничего не могли сказать: во всю тыльную стену скрытни, от пола до потолка, мерцали красные или серебряно-яркие широкие пятна. Пламенеющие или сверкающие, они сливались в единий поток света, который пробивался сквозь каменные щели стены противоположной, и застrevали там.

— Тут ничего не поймешь! — отозвался Фомка, и голос его прогудел, как в кадушке.

— А ты сам сюда залез! — посоветовал Миха.

— О том и думаю! — отозвался зеленый. Его лицо, слегка округлое, широколобое, казалось теперь розоватым, а зеленая куртка приняла голубой оттенок. Он потрогал ствол, смешно просунул в пролом сначала сапоги, потом завис на тонкой вершинке ствола и вдруг с треском свалился вниз.

С минуту он лежал помертвельй, бледный, с закрытыми глазами. Глухо простонал, пошарил рукой по камням, на которые упал, и немного приподнялся. Сделав попытки три, он оперся на локти, на ладони, сел, потряс большой головой.

— Ну и ну, — выдавил он, ощупывая ногу. — А помогите-ка мне, мужики, убраться с этой перины...

Фомка с Михой оттащили его на ровное место, и незнакомец долго поглаживал зашибленное место, однако подняться не мог. К тому времени розовый свет в пещере померк, яркие блики на стене почти угасли, и все явственней обнаружились меж камней щели, через которые пробивался свет наружный. Щели эти располагались косым веером с пола до потолка.

— Мужики, а вы поняли, отчего крест светится? — спросил внезапно зеленый.

Ребята посмотрели на него.

— Самый первый заревой свет проникает в эти щели, отражается от стены и падает на крест.

Фомка с Михой осторожно подошли к стене. Стена была не стена: пред ними распахнулась широченная чаша, на которой, точно пчелиные соты, располагались метровые овальные навески, червлёно-красные, возможно, с примесью позолоты, и белые, сверкающие, быть может, из серебра. Каждый овал висел на своём месте и вливал отражение в общий мощный слепящий розовый свет.

— Чудно что-то и непонятно, — не слишком приближаясь, сказал Миха.

— Ничего — разберемся, — отозвался зеленый. — Послушай-ка, парни, взгляните сюда — он потрогал ногу. — Не перебил ли я кость? Ну-ну, смелее, берите за сапог, снимите его... — Стиснув зубы, он глухо стонал.

Освобожденная нога быстро распухала в щиколотке и в бедре. Зеленый еще раз прощупал больные места, слегка согнул ногу в колене. Со лба его, с носа, с бровей и даже с ресниц катились капельки пота. Время от времени он, словно в полузытьи, прикрывал глаза.

— Да, здорово я оттуда спикововал, — зеленый посмотрел вверх. — Тонка сосенка — не под мой вес. — Ну да, слава богу, кости целы — остальное заживет. В любопытнейшее место мы с вами попали. За такое приключение, скажу вам, мужики, и шею не жалко сломать. Вы мне подняться помогите — не то дух замирает, как шевельнусь. А разглядеть все не терпится.

Опираться на зашибленную ногу зеленый не мог. Фомка с Михой подставили плечи, и, ковыляя, он подобрался к сверкающей стене. Ударил костяшками пальцев — раздался тихий, тонкий звон.

— Мужики, да вы знаете ли, что это такое?! — по-ребячьи ликующе воскликнул зеленый. — То русские древние щиты! — А я-то все думал, что за чудо такое? Храм стозвонный кресто-воздвиженский. Ан вот в чем загадка. Вы смотрите, как мудро сделано: солнце еще не взошло, а эти щиты уже первый проблеск света вон через те продольные щели прямо на крест

отражают. Вспыхнет крест еще до свету, да колокол сам по себе ударит — тут-то, парни, тут кто хочешь в бога поверует.

— А как же колокол-то бьёт? — полюбопытствовал Миха.

— От сквозняка. Там с той стороны храма подкоп есть. Вход через подполье. Я этот ход завалил, а храм изнутри запер, чтоб мародеры не лазили. А вот когда ход откроешь — тяга начинается, как в трубе. Ветер хлынет в колокольню, а там деревяшка на языке — вроде паруса. Деревяшка от ветра болтаться начинает, язык у колокола раскачивает, — ну колокол сам по себе и начинает звонить. Дело хитрое... Как ударит спозаранку — бумм! — Зеленый крепко ударил по щиту, висящему пониже: раздался звон, и откуда-то из-за стенки, взъерошенный и злой, выскоцил кот.

Ощетинившись и фыркнув, Квтофеич вспрыгнул на тонкую уцелевшую жердь и мигом вскарабкался к пролому. Там на краю он заскользил на камнях, завозился, задвигал лапами,мяукнул и выскоцил вон.

— Ишь как страху натерпелся, — посочувствовал зеленый.

— Только, мужики, помнить надо: дикий кот в страхе, в злобе в лицо вцепиться может.

— А он не дикий, он наш, — сказал Фомка. — За нами увязался.

— Ишь какой, — зеленый усмехнулся. — За мной вот тоже двое увязались — в лесу... Хмыри какие-то... Еле отвязался. Ты, говорят мне, до церкви нас доведи — мы тебе бутылку поставим. Позапутал я их, как мог, а сам скрылся. Пришел сюда. Почему колокол звенит — понял, а вот отчего крест светится — распознать не мог. Пошел до села и на костище наткнулся. Вижу, те двое сюда направляются. Вернулся да вас здесь вот нашел...

— А мы за вами давно смотрим, — хитро сощурился Фомка.

— Так и я за вами следил. Полагал, что вы ушли, а вы оказались хитрее.

— А как вас звать?

— Иван Ермолаич. Фамилия — Ильин. Археолог, краевед. Про храм я этот давним-давно понаслышался. Считал вымыслом. И надо же — так повезло. Отец мой великий славист был. Вот бы кого сюда. Он всю жизнь историю славян изучал. Особенно дохристианскую... Знаете, ребята, глянул я на все это и понял: такая находка раз в жизни бывает — и то, если повезет. И нам никак не надо отсюда торопиться...

— Куда уж там, — вздохнул Миха, глядя в потолок. — Теперь отсюда не вылезешь. Этую жердочку, — Миха потрогал уцелевшую тонкую слегу, — мы коту приготовили, а для себя спустили толстую. Так вы её — напополам...

— Да, нескладно получилось... Виноват, брат, гружен я — не рассчитал... — Все это время Иван Ермолаевич держался за щит, висевший на стене, приподняв ушибленную ногу. Он был плечист, широкогруд, с большими руками, лобастой, лохматой головой. Его зеленая куртка и брюки были покрыты пылью, и весь он был какой-то домашний, простой. — Как будем назад выбираться... — Ильин оглядел скрытню сверху донизу. — Это, конечно, вопрос. Но, между прочим, брат, тут хорошо. Чуешь, тепло, сухо. Обитель эту солнышко еще как прогревает... Ну а мне как рас звать-величать?

— Миха.

— А ты?

— Фома.

— Фома? — переспросил Иван Ермолаевич — Ишь ты — огненное имя. По латыни — фомес — это, брат, горючий материал, то есть в общем смысле — способный гореть, воспламеняющийся, а в более точном для имени значении — пламенеющий. Вот так-то, — добавил он. — А теперь приведем себя в порядок.

Опершись на здоровую ногу, он медленно передвинул зашибленную, попробовал передвинуться — и не смог. Не получилось ничего и со второй, и с третьей попытки.

— А ну-ка, мужики, будьте ласковы, вон тот деревянный обломок подайте мне... Ну вот, — теперь дело пойдет веселее...

Он трудно и упорно проковылял вдоль стены и принялся рассматривать щиты. Щиты красные выступали к свету выпуклой стороной, а щиты серебристые, слепящие — вогнутой, а все вместе создавали восымиконечный крут, помещенный в шестисемиметровую полусферу.

— Похоже, бронза с червлением, — Иван Ермолаевич потрогал красный щит. — А на этом, вероятно, олово с квартцем, — показал он на щит светлый. — Уж очень складно все придумано. Не дурак и до нас был человек. О многом догадывался, а еще больше понимал. Вот смотрите: красный свет от выпуклого ряда рассеивался и тут же собирался в общий поток всем этим сборным зеркалом. Красный свет далеко не идет, так его примешали в светлый и в общем потоке пустили сквозь щели на крест. Поработала чья-то премудрая голова. Крест тоже, должно быть, смастерили с секретом, — иначе он не засветится. Представляю себе этого нашего предка: ловкий, смекалистый, живой... Только, парни, что-то во мне сила на исходе... Боль одолела. Вы помогли бы мне прилечь...

Иван Ермолаевич снял куртку, бросил её на пол. Вокруг груды упавших камней пол был устлан слоем мелких веточек и травяной трухой, нанесенной сквозь щели. За долгие годы к толстому слою из веток и травяной мелочи добавило хвойни-

ка, так что ночуй — не замерзнешь. Ребята постелили куртку, подложили камень в изголовье. Лежа на спине, Иван Ермолаевич долго и тяжело вздыхал, превозмогая боль, но вскоре забылся в глухом полусне.

В тревожных предчувствиях и безысходности Фомка невольно вспомнил: о том, чего они нашли, еще зараньше рассказала бабушка. Привел к тому разговору в общем-то довольно неприятный случай. А было это так: отец и старший брат помогли накосить для коровы сена и снова отправились в городское житье. Фомка только что досушил последнюю сбродную копешку, когда увидел, что под окна пришли двое: один высокий и сутулый, другой коротенький и чахлый. В страдную пору, по ясной погоде, чужаки дня три околачивались по селу, запасались водкой, куда-то исчезали, а потом объявлялись вновь.

— Слыши, бабка, — просипел длинный, встаращив мутные зрачки в раскрытое окошко, — махни-ка нам свои доски — все равно скоро помрешь... И пойдут на растопку святые — грех, бабка, будет тебе. Перед богом-то как отчитаешься?

— А я, милок, верой не торгую... И бога не продаю...

— Какая те вера, какой бог... — хмыкнул длинный, а щуплый промямлил: «Темнота...»

— А уж про то не ваша печаль, — отозвалась бабушка.

— Ээ... — замялся длинный, соображая. — Христос, Аллах или как этот... как его... Берендей... И кому они на черта прилипли!

— А ты иди, иди, милок, — посоветовала бабушка Наталья, притворяя окошко.

— Не, погоди, — придержал створку длинный, — ты с человеком поговори.

— Отчего же не поговорить, ежели человек, — уступила бабушка.

— Во! Правильно, бабуля! — икнув сивушным перегаром, похвалил длинный. — За то я тебя уважаю! Ты вот веришь, а во что? Ты чего такое там видела? Бога там, чучело какое язычное?

— А уж это кто во что верит — тут ему и бог. В иконах ли дело, милок. Ну вот ты, нынешний, во что ты-то веришь?

Длинный сошмыгнул сопли, но ничего не сказал.

— Ну вот, — продолжала бабушка Наталья, — ни во что ты не веришь — ни в добро, ни в душу, ни в сердце человеческое веры у тебя нет... Так вы, милы люди, идите-ка с богом — гнев не тревожьте на земле, а то он и до вас доберется...

Бабушка Наталья притворила окошко и, не глядя на двоих, ушла во двор. Прихватив вилы и грабли, Фомка направился в сарай.

— А черт старая, — съежившись ругнулся длинный. — И этот пацан, видал, как на нас зенками зыркал... Сельская интеллигенция! А у самой горшок с червонцами в подполице — вот она и кочевряжится...

На голоса из подворотни вылез Тимка. Почуяв сивушный горклый дух, Тимка вздыбил шерсть и зарычал. В кислом запахе хмырей Тимка унюхал нечто козлиное. Тимка подался от ворот, гавкнул, зарычал. Длинный кашлянул прокуренной грудью и сквозь сиплую натугу произнес:

— У тя, Гуня, слышь, чахотка. И у меня по перворазу, врачи ха сказала, тоже обозначилась. Так я этот микроб одеколоном душил. Тройным. Даванешь пузырек неразведенныи — с утра. Тогда

мне один умный — такой вот как я — посоветовал: собак надо жрать. Научишься, говорит, собак жрать — все дыры в нутре зарубцаются. Будешь, как зашитый. А ты, Гуня, взырни-ка, какой кутя гладкий, — умилился длинный. — В нём сала кило пять... — И решительно заверил: — Гуня, сгребем... На природе сварим... У другой старухи, Гуня, и, как честный человек, — ни-ни! Ни кошки, ни собаки жрать не стану. А ты ж видишь: зловредная старушня!

Распахнув рукава, раскорячив ноги, длинный двинулся на Тимку. Тимка попятился, извернулся, взрычал и вдруг цапнул хмыря за мотню. Взлягнув пятками, длинный подскочил четверти на три, завыл протяжной фистулой, как паровоз: «Милиция! Бабка стерва! Убью!» Зажав ладонью надкушенное место, он кинулся за Тимкой, футболья попусту и невпопад...

А через час фельдшерица, краснея, намазала беду зеленкой, и двое перестали шастать по дворам.

Бабушка Наталья долго толкалась по избе, по двору и никак не могла успокоиться:

— Вот шаромыги, господи... И шляются такие. Эти хочь стозвонный оберут. Пропойцы окаянные — ни стыда, ни совести нет...

— Какой такой стозвонный? — спросил Фомка.

— Стозвонный крестовоздвиженский, — торжественно сказала бабушка Наталья и, перекрестясь добавила: — Тайное место, голубок, тайное...

— А с чего же тайное?

— А с того, милочек мой, что место то особенное: крест на церкви кровью наливается и колокол сам по усопшим звонит. Без звонаря всякого... Как возгудит, как вдарит в другого ряд, — так душа и встрепещится...

— Интересно...

— А как же не интересно-то. И скрытня там будто бы есть

с чудищем волосатым. Насчет чудища люди, может, и привирают что, а коль по народу слух издавна тяньется, так это не зря. Смолоду — я еще в девках была — пришлось набрести случаем, так мы со страху — уж и не помню куда бегли. Как воспыпал тот крест! Ой ли! А Пашуха Микитова так та своими глазами видела, как с того креста кровушка каплями капала... Всё, голубь мой, праведная кровь — русская... — храбрецов, богатырей наших не сломленных... Потому как битва там была, сеча великая — с супостатами погаными...

* * *

— Эй, Фома, что призадумался, — прошептал Миха. — Сидеть нам тут до морковкина заговения. Из этой ямы кот удрал, а щенок и близко подходить боится. Нечистое место... Мамка говорила: в лесных скрытиях да ямах черти да ведьмы водятся. Вот как явится сюда на помеле...

— Вот было бы здорово, — обрадовался Фомка. — Мы бы её за лапти! А ну, бабуся, вызволяй! Включи первую, чтоб без пробуксовки.

— Насчет бабуси с мотором — ничего не выгорит, — Миха потрогал слегу, по которой выбрался наружу Котофеич, — и эта хворостина никого из нас не выдержит.

— Стену разберем, — Фомка подошел к каменным прощелинам.

— Эге, попробуй! Гляди, как сложено. Стыков не видать. Векаостояло — не обвалилось: ни киркой, ни ломом не возьмешь. А у нас лопаты и той нет.

— А бабушка говорила, как все было тут, — и Фомка вспомнил, как в Новине однажды день клонило на исход, копов еще не пригнали, и старушка, расположившись по времени передохнуть меж делами, призадумалась, сидя на крылечке, и поведала о том ласковым журчащим говорком.

Глава VII

БАБУШКИНЫ СКАЗКИ

— Не я то выдумала, а так издревле с одного рода в другой рассказывают. Быль то иль небыль, а может, сказка какая, так я тебе то и расскажу: шел вдоль Волги Супостат до наших мест. Да только это уж потом, и было это, Фомушка, невесть в какие времена, а сначала я скажу тебе, мил голубь мой, откуда люди русские пошли.

Бабушка Наталья уселась поудобнее, отпахнула вязаную душегрейку для простора в голое и заговорила ласково, любовно, будто огладив ребенка по голове:

— Встретился раз лихой Сиверко-Ветер да черноокая Моревна-Теплынь. Встретились — да и зачал укрощать друг друга — всяко свой норов наперед ставить. «Я, — говорит Сиверко-Ветер, — сокрушу тебя, холодным камнем твердым заступлю и тебя, красавица, покладистой сделаю, и будешь ты мягкой, как сумеречь северная, тихой, как чистая озерная гладь, нездатливой, как береза кудрявая, и не завихрить тебе коловортный жар, не утолить меня теменю глубокою». — «А я, — говорит Моревна-Теплынь, — твое сердце крепкое мягким сделаю, и как стукнет оно хоть бы раз невпопад, — затоскует навеки, затрепещется, а успокоит его только ласка моя, что волной набежит, никем неразгаданной; тишина да покой заворожат тебя, полонят в ночи теплой, и будут в сердце твоем искры ласки моей, словно звезды, мерцать, и не затушить тебе их ни подвигом великим, ни отвагой-храбростью, и смертью даже своей от того не отступиться, потому что искры те не гаснут — от них род человеческий жив на земле». Не послушал Сиверко-Ветер Моревну-Теплынь: разметал кудри русые, загрохотал горами-скалами, загудел лесами дремучими, вскипал реками глубокими: «Это я-то, Сила-Удаль великая, да с тобою стану увальнем?! Век тому не бывать да не значиться! Прочь с дороги моей богатырской нехоженой!» — «Ах вот как! — возгневилась красавица. — Так за то тебя — я испепелю!»

Замахнул тут Сиверко-Ветер скалой-палицей, взвил меч подоблачный, глянул красавице в очи жаркие, — и рука его обессилела, тягой ласковой наполнилась. Только удаль-сила его пронизала вихри жаркие да темные, и поникла перед ним раскрасавица. Опустил он руку могучую на её плечо, и теплом ласкою от обоих повеяло. Обнял он молодую жену, приклонилась она к буйну Соколу. И родился у них сын, что Русланом прозвали, потому что богатырь был рус, и родилась у них дочь черноокая, величать которую стали Ярославною, потому как добрым нравом, красотой да чистой совестью красна была.

Правда ль, небыль, а говорят, родилось у них еще десять сыновей и десять дочерей, и пришли к дочерям женихи от соседних уdalцов, и пришли к сестрам уdalцов женихи — братья Руслановы: взяли красавиц из степей, из лесов могучих, с рек великих, от озер и моря синего. Вот так-то, голубь мой, и пошла Русь вширь да вдаль, и куда ни оглянется, — все вокруг ей родня, и все-то ей по добрым сердцем на все стороны отзваться хочется. Да не всякому то по нраву пришлось... Вот тут-то тебе и другая быль иль небыль оказывается. Только, я думаю,

то быль, потому что в сердце людям запала накрепко и в разуме не источилась по времени.

Так вот, голубь мой: шел вдоль Волги Супостат до наших мест. Реки миновал, озера, а вот сюда к нам, значит, в болота ткнулся — и ни туда и ни сюда. За болотами на пути — поселение, Холмы. Узок был там вход меж болотами. В том месте сеча и зачалась. Люди в Холмах жили русские да все в своем обычье, какой теперь и позабыли. До той еще поры к ним черный монах приходил какой-то да ругал ихшибко, что кресты нательные, мол, не носите. Вот как пришлю, грозится, к вам воеводу — закуют вас в цепи да посадят на смертное сидение в яму. Ну те, что помоложе, хотели этого черномоха в болоте утопить, а старейшина их, мудрый да седой, он и говорит: «А ты бы, мил человек, крестиков нам продал. Уж мы вот так-то бы за них не поскупились». Обрадовался монах, что серебром ему за кресты оловянные обещали расплатиться, — помчался в город либо в посад доложить своему главному, что в тех Холмах все праведные люди живут. В един дух туда-сюда прибежал. Тут ему старейшина серебра отсыпал за кресты оловянные да умировольно этак повещал: «Ты уж, мил человек, словечко доброе замолви за нас, чтоб понапрасну нас не тревожили, потому как в веру ты насшибко обратил». Так и остались те Холмы в стороне да в покое, кресты нательные на гвоздики повесили, а беда-то как раз и без того шла. От той беды, от Супостатовой, те, что только молитвами пробавлялись, в храм попрятались: там их огнем да боем долбежным всех начисто извели;

те, что повольнее, в лесах укрылись; те, что на себя не надеялись, к соседям побегли защиты искать, а смиренные в рабы подались — угодить Супостату вонючему. Только холмогорцы вот ни страхом, ни робостью, ни слезой жалобной не захотели жизнь себе вымолить, потому как искони были они люди русские да и верили в род свой богатырский великий — в дух отца своего да праматери — в землю свою, в небо да в солнышко верили. Ну так что тут сказать: коли встанет солнце гордое, коль пахнет по земле ветер удалью, коли грудью широко вздохнет мать-земля, так не сломить духа русского, не полонить ни страхом, ни посулом, не согнуть злобой черною, не склонить ни войском, ни чужою властию. Да как восстанет богатырь русский, как кремень-скала, как зной-ярь жаркая, — так не жди тот милости, кто на Русь да с полоном пришел.

Бились сорок дней, бились сорок ночей, и никак Супостат не мог одолеть силу русскую.. И послал тогда Супостат во стан русский Злыдню Переменчивую. Во ту пору жил в Холмах богатырь Ратибор, удалью и силой до края земли прославлен-

ный. Где он встанет с мечом да с палицей, там и ходу Супостату нет. Вот раз после битвы жаркой присел богатырь на камень у ручья, снял шелом стальной, отстегнул пояс ратный, омочил руки во студеном ключе, освежил лицо ясное, смотрит, а по ту сторону ручья красавица лежит — щеки бледные, очи смежила, дышит легонечко, и от того расписное ожерелье на ней чуть шевелится, темный бархат чуть колышется. Перешагнул Ратибор ручей говорливый, поднял на руках красавицу да и спрашивает: «И как быть тебе тут, краса писаная?» — Отвечает ему Злыдня Переменчивая: «Убежала я от тирана своего, от Супостата, что на Русь пришел, и защиты ищу в твоей удали да приюта в сердце твоем».

Воссиял лицом богатырь, обрадовался, позабыл про девушек красных, что очами ласковыми ему удали прибавляли, что словами добрыми наполняли сердце волей да храбростью, не послушал совета седых мудрецов: «Коль не первым ты для любви взошел, так и быть тебе тут не последнему».

Так вот в ночь — Злыдня Переменчивая то все ласкою стелилась к добру молодцу, то слезами его мучила, то вертлявее змеи была, то ледяною стынью холодной прикидывалась. И никак не мог угодить на неё удалой молодец, богатырь-гроза Ратибор могучий. Вот к утру и говорит она ему: «Милый мой, богатырь мой, храбрость великая, как пойдешь ты в бой — сердце мое разорвется-изноется. И на что тебе быть завсегда впереди, — пусть другие храбрость-удаль свою выкажут. Не хочу я, драгоценный мой, твою кровь утирать, твои раны перевязывать, хочу видеть тебя только чистым-наряженным да целехоньким, мною обдутеньким да обласканным».

А с зарею той загремела снова битва великая. Вот и дрогнул впервый Ратибор-богатырь, отступил за спину удальцов на шаг, а те и два шага назад сделали, — и сломился строй да червленых щитов, и пробил Супостат брешь в строю храбром. Всполохнулся тут Ратибор-богатырь — грудью вперед вырвался, смял поганых сколь невесть числа. Супостата того напополам рассек да и пал копьями пронизанный. Покосили тут ворогов богатыри удальцы храбрые, отстояли Русь да и сами полегли с Ратибором рядом о плечо в плечо. Кто остался жив, тот еще видел Злыдню Переменчивую, как бежала она по лесу да в болотах, слышь, канула. Говорят, и нынче бродит по лесу — напускает дурману у болот, силу исподволь отнимает у охотников. А с того места, от Холмов, — это уж верно — Супостат дальше не дошел. И были пожалованы Холмы вольным житьем да промыслом. Только жить-то там было некому. Жены с тоски по мужьям павшим померли, детки стали сирными, а старики сами в могилу полегли. Пришли в Холмы люди роду-

племени нового да поставили Храм в память битвы той. И храм тот чудесным стал вдруг: крест на нем кровью наливается и колокол без звонаря сам по себе звонит.

* * *

В тихой полудрёме Фомка будто слышал вновь ласковый голос бабушки Натальи, когда от дум и мягкой истомы его отвлек шорох сверху и беспокойный собачий скулёж. Посунувшись к пролому, Тимка громко загавкал, осыпал камешки и мусор. Иван Ермолович очнулся, увидел понурые лица ребят.

— Не тужи, мужики, — посоветовал он напористо. — Ну заночуем на худой конец... Тепло тут, сухо. Слеги свяжем — тонкую с толстой половиной. Рубашками, штанами укрутим. Один вылезет и всех выручит. Лишь бы этот ваш барбос нам на головы ничего не обрушил. Пошел! — гаркнул Иван Ермолович, и Тимка отскочил от пролома.

Прогретая за день пещера излучала мягкое тепло. Теперь, когда солнце склонилось к западу, щиты не сверкали — они горели угольным постепенно меркнущим посветом и не слепили глаза.

Археолог набирался сил. Опервшись на обломок, он приподнялся, встал и, не сгибая ногу в колене, начал, перешагивать.

— Ну вот и двинемся... Ну вот и двинемся... — говорил он сам себе. Остановился, посмотрел вокруг и в потолок. — А ведь эта скрытня в холм врублена. Смотрите, как купол правиль но выведен. И уж выход отсюда наверняка должен быть. Выход хитрый, как в храме. Надо приглядеться. А ну, следопыты, смотри.

Фомка с Михой принялись рассматривать стены, где мог скрываться тайный ход. Купол и стены были выложены стесанным камнем-плитняком так плотно и прочно, что ниточки стыков едва просматривались меж камнями, и только с одной стороны искусственные щели широким полукружным веером просвечивались от пола до потолка.

Иван Ермолович, опираясь на палку, поднял камень, постучал то тут, то там, — глухо, тупо отозвался звук: намертво стояли стены, осевшие за века. Возле щитов он задержался. Щиты манили ласковым затухающим горением. Теперь можно было понять, что висят они на прочных кованых штырях, вбитых в камень, что красных щитов меньше, а средний центральный щит, раза в три больший, был, вероятно, тяжел и горел ярче остальных кроваво-золотистым переливом.

— Как пить дать — золотой, — распаляясь, сказал Миха.

— Навряд ли, — усомнился Иван Ермолаевич. — Скорее всего — червление со щучьей желчью. В древности в лесу собирали красных червяков и делали из них красную краску, очень яркую. И на Руси щит червленный, красный был принадлежностью каждого воина. А золотую краску готовили из щучьей желчи, — краску под золото. Жаль, что секрет изготовления утерян, а пуще того — и восстанавливать его никто не захотел. Появился бронзовый порошок, а там — и сусальное золото. Хлопот меньше — щук не надо ловить. А жаль: золотая краска на щучьей желчи — не меркнет, не тускнеет, темным налетом не покрывается.

— Залезть бы туда, — Миха показал на средний большой щит. — Пощупать... Тогда уж сразу будем знать, из чего он сделан.

— А что не залезть, если штыри не посгнили, — Фомка потрогал нижний щит. Довольно тяжелый и расписной по окружности с туповатым конусом посередине щит сполз вниз, обнажая стену, а в ней толстый граненый штырь со шляпкой.
— Лямки ременные сгнили, а штырь — ого! — быка подвесишь!

Вцепившись руками, Фомка подтянулся, вскинулся всем телом, переместился вверх, нащупал под вторым щитом такой же штырь. Вот он подтянулся снова, встал во весь рост и, отстраняя потихонечку щиты, добрался по штырям до середины.

Средний щит с узкой полоской рисунка по краям был метров около двух в поперечнике и по центру имел тоже выступ, величиною с тарелку, однако с выступа вместо острия смотрело некое подобие человеческого лица. Скуластое, с большими надбровьями, лицо это не имело никакого сходства с лицами обезьян, но было страшнее неким подобием очеловченности, каким-то искаженным совмещением полумедведя, получеловека в звериной взлохмаченной ярости.

— Ну и ну! — подвился Фомка. — Видали?

Отступив немного, археолог вынул из нагрудного кармана очки. Миха хмыкнул, подивился, прицокнул языком, а потом сказал:

— Как пить дать — леший! Такого батькин прадед видел. Хотел поймать, чтоб на цепи водить, да сам еле ноги унес. И в тот лес никогда потом не заглядывал.

— Возможно, возможно, — согласился Иван Ермолаевич.
— Лихой у тебя был пррапрадед. Ну, знаете, и фантазия у древних была, пожалуй, богаче, чем у нас.

Фомка слегка потянул на себя бронзово-красный тяжелый щит. Щит легко подался, за ним что-то скрипнуло и зашуршало.

— Держись, Фома! Сейчас он ляпнется! — Миха отскочил в сторону, археолог замер.

Фомка потянул еще, — заскрежетали петли, щит медленно отпахнуло на сторону, и в стене открылся узкий прямоугольный вход.

Глава VIII

ТАЙНИК

Во второй половине дня Илис вышел к холмам. Следы бродяг, что вели сначала прямо, вдруг начали петлять или загибать куда-то в сторону. Причину тому Илис обнаружил после, когда нашел в траве квадратную коробочку с простым ученическим компасом.

Хмельные и вялые бродяги выронили компас и каким-то чудом выбрались к подножию малого холма. Илис постоял здесь неподалеку, присмотрелся, прислушался. Тихо. Никого. Только откуда-то издалека послышалось будто сипение, посвист с урчанием и всхлюпом. Илис насторожился, посадил на поводки и привязал собак. Звуки всколыхнулись, стихли, явились опять. Илис выждал, ощупал взглядом холмы, кусты, деревья, храм, тихо-тихо пошел на звуки: у подножья холма на пригретом сухом взгорке спали двое, растянувшись вповал. Илис постоял, посмотрел в отечные, сальные лица. Было видно: эти двое проснутся не раньше, чем к вечеру, обязательно опохмелятся и, дай бог, под утро оживут посинелые, лязгая зубами в утренней свежести.

— Глупые люди однако, — сказал Илис и пошел дальше от греха, чтобы больше не встретиться с такими. Он возвратился, отвязал собак. Охотничьи собаки на людей не бросаются. И верно: собаки кинулись куда-то в гору и там затянули тревожный лай. Призывное собачье разноголосье звенело и разливалось. Такой азартный перебрёх мог означать одно: собаки посадили зверя. Илис выбежал на лай к невысокому кустистому березнячку. Псы метались, тявкали, а на тонюсеньком сучке весь встопорщенный и вздутый мурзился и шипел Котофеич. Кот еле держался и мог вот-вот свалиться в свирепые пасти собак. Илис схватил псов за ошейники.

— Эй, друг, а где твой хозяин однако? — спросил Илис, усмехаясь.

Заслышиав голос человека, кот мяукнул, завозился на ветке и шмякнулся на землю. Задрав хвост, он пулей промчался сквозь подлесок, проскочил мимо храма и мелькнул где-то там

далеко у большого холма. Собаки, кажется, успокоились, но едва Илис разжал руки, как они бросились за Котофеичем волея. Илис видел, как они промчались в гору к большому холму, но там заметались, затерялись, виновато взывали, вразброда гавкнули, ко всему тому на холме затякала щенок.

Илис узнал Тимку. Щенок тявкал у елочек на высоком взгорье. Илис взошел к елочкам и увидел на земле два ружья, рюкзаки, нераскрытою палатку. «Нехорошо однако, — решил Илис. — Без беды человек ружье не бросит».

Тимка повертелся возле, обнюхался с собаками, забежал в ельничек, поскучил и снова затякала там.

— Эге, а ты что-то знаешь, — догадался Илис, — а ну посмотрим, про что ты сказал.

Пролом в горе показался ему подозрительным: в каменистых ямах от откосов любит на день прятаться рысь. Илис послал вперед собак. Собаки обошли пролом, обнюхали место, громко гавкнули и мирно вернулись к хозяину. Илис приблизился, глянул вниз: на дно глубокой пещеры сидели Фомка, Миха и еще какой-то человек.

— Ай-яй, как в сказке! В подземном царстве, понимаешь ли! — подивился Илис. — Эй вы, кота потеряли и ружья оставили тут. Нехорошо.

— Нехорошо орать сверху! — отозвался Миха. — Это ты, что ли, кота пригнал? Ступай воды принеси... Пить страшно хочется...

Илис только теперь понял, что люди внизу попали в ловушку и выбраться наружу никак не могут.

— Молодец ваш кот однако, — похвалил Илис, — меня на вас навел.

— Ему что: он прошмыгнулся в какую-то дыру, а назад по этой вот палке вылезет, — Миха потрогал тонкую жердь.

Котофеич и в самом деле прошмыгнулся в скрытню через щель в стене, но обратно той же дорогой вылезти не мог: мешала каменная плитка, которая всякий раз заваливалась и прикрывала кошачий лаз изнутри.

— Тут кое-что интересное есть, — сказал Фомка. — Не то вход, не то тайник. Нет у нас ни спичек, ни фонарика посветить. А по-дурачки соваться нельзя: либо в обвал, либо в яму угодить можно.

— Правильно говоришь, — похвалил Илис. — Только дурак без разбору ногами ходит.

Илис сбежал за водой, навесил два котелка на длинную жердь с сучком, опустил в скрытню и пошел в ближайший сосновчик. Крепкий, упористый, он срубил там две сосенки и поочередно приволок к пролому.

— Давай лестницу налаживай, — распорядился он. — Вот вам расчалки от палатки. Поперечины навязывать будете. Сейчас я стояки к вам спущу.

— Эй-ей! Двух мало! — крикнул Миха. — У нас тут человек на двух разబился. Волоки третий.

Илис ушел за третьим стояком. В то время собаки взяли какой-то след и с гаем умчались в угон. Судя по свирепости, на следу был кабан. На кабана Илис не имел лицензии, а люди ждали помощи. Все хлопоты отняли часа три. Навязали поперечины, и по ним осталось только выбраться на волю, но Иван Ермолович отказался лезть наверх.

— Фома, ты разглядел там что-нибудь? — спросил он, рассматривая прямоугольный вход.

— Не знаю... Темно там, провал... Страховень какая-то... Осеннее солнце быстро склонилось к западу, и в промелькнувшем свете внутри входа объявилась стенка, выложенная из камня.

— Илис, там в рюкзаке фонарик! Достань и лезь сюда! — позвал Фомка.

Илис осторожно спустился по навязанным поперечинам, осмотрел все вокруг и ничему не удивился.

— Шаман-яма однако, — сказал он. — Духи чтоб жили тут. Старые-старые люди шаман-яму делали.

— А там что? — спросил Фомка про вход средь щитов.

— Там смотреть надо, — посоветовал Илис.

Фомка снова вскарабкался туда, где из глубин земли трахнуло тяжким удушьем неподвижного воздуха. Вчера Иван Ермолович остановил его: парень мог запросто сгинуть в древней ловушке, что лет с тысячу тому назад ставились для хитников. Сначала надо было выбраться из скрытия, осмотреть все, запастись фонариком, чтоб не рухнуть черт знает куда на колья, на копья, которые в древних западнях ставили торчком.

Отворотив большой щит пошире, Фомка еще явственней почувствовал, как изнутри наносит сухим камнем, пылью и, кажется, застарелой горечью истлевшей кожи. Вовнутрь проема свет проникал на протянутую руку — там ход срывался крутым уклоном. За тем обрывом фонарик осветил грубо-то сложенные из камня порожки, а в глуби — темный мрачный ход высотою в рост человека.

— Порожки и ход какой-то, — назвал Фомка то, что видел.

— Подожди минуту... Однако я взберусь. — Илис ухватился за штырь, ловко подтянулся, и через минуту был рядом с Фомкой.

Порожки круто опускались к небольшой площадке, за которой объявилась комната, размером всего метра три на четыре. Прямо возвышался стол-выступ из камня, а над ним на стене висела шкура, кажется, медвежья. В углу слева стояла громадная дубина из можжевелового выворотня, а справа на кольце, вделанном в стену, висела ржавая цепь. На полу белели кости.

Фомка осветил потолок, который сводился в остроконечный каменный купол. Под этим куполом звуки глохли, и оттого со всех сторон давила каменная тишина. На каменном с юле лежал тоже камень, плоский, тщательно отесанный, а под ним толстая пачка бересты.

— Хорошие тут были люди, — определил Илис. — Как у нас в тайге. У нас обычай — дрова, спички, крупу, соль другому человеку оставлять. Ты ушел, я пришел — жить можно. Давай бересту запалим — все сразу видно будет.

— От дыма задохнемся, — отсоветовал Фомка. — Был бы очаг — другое дело.

— И то так, — согласился Илис.

Он снял плоский отшлифованный камень, взял в руки широкую полосу бересты. Смотри, какая ровная — как бумага. А тут однако что-то нацарапано.

— Иван Ермолаевич! — Фомка подался наружу. — Бересту нашли! С буквами!

— Осторожней! Осторожней, ребята! — археолог захромал к стене. — Не бросай! Не раскрошите бога ради! Из рук в руки надо передать! А ну, парень, — подтолкнул он Миху, — лезь наверх. Пусть тебе передадут, а я приму.

С пачкой бересты Иван Ермолаич проковылял поближе к свету, позабыв про боль. Он обнаружил три слоя по семь берестяных листов и еще три листа, из которых последний был исписан не полностью. Буквы на бересте когда-то нацарапали острием, смазанным в охре. Прямолинейные и крупные, они сохранились довольно четко, но береста легко распадалась по продольным волокнам, и чтобы не разрушить листы, Иван Ермолаевич отделял каждый из них большим охотниччьим ножом.

— Фух! — вздохнул он шумно, когда все двадцать четыре листа уложил в ряд. — А теперь — помолчим, ребята... У нас с вами великая минута! Сейчас мы глянем в глубь веков. Кстати, мне сосредоточиться тоже надо. За последнее время древнеславянский язык я нечасто ворошил в памяти.

Иван Ермолаевич, вытянув большую ногу, поудобнее уселся на камне, полуприкрыл глаза. Посидев этак неподвижно, задумчиво, он вынул большой блокнот из нагрудного кармана,

склонился над первым листом. Сначала он шептал слова, которые довольно смутно воспринимались в чередовании твердых спотыкающихся гласных с напевно шипящими — аще, рече, аки, рцы, потом помолчал и записал несколько слов в блокнот.

Ребята ждали.

— Ну что там сказано? — спросил нетерпеливый Миха.

Иван Ермолаевич оглянулся, с трудом уловив, вопрос.

— Да, вот что, — спохватился он, — вы, ребята, займитесь чем-нибудь, а я час-другой здесь посижу. Потом, потом прочу, чтобы не унизить ошибками то, что написано.

— Айда наверх, — предложил Илис. — Палатку поставим, костер у ручья запалим, чаю попьем.

Илис вскочил на первую ступеньку лестницы, опробовал узко навязанную поперечину, шагнул еще — сверху гулко и протяжно ударило: «бумм!» — Проснулся колокол на храме. Звук одинокий и густой хлынул в пещеру, вдавился тяжелой нотой в углы и отозвался в потолке.

— В храм кто-то лезет, — сказал Фомка.

— А как же, — отозвался Илис. — Сюда двое шли. Слабаки однако.

— Двое, говоришь? — насторожился Иван Ермолаевич. — Нахальные такие. Они?

— Они однако, — усмехнулся Илис. — Костра не могли запалить.

— Видал я их еще в селе, — вспомнил Иван Ермолаевич.

— Спекулянты, забулдыги. Иконы собирают да перепродают. Как видно, в храм забрались.

— Выгонять надо! — взгорячился Миха.

— Не торопись, — сдержал его Иван Ермолаевич. — Внутри храма ничего ценного нет. Остались там три иконы, сусальные, фальшивые, от прошлого века. И написал их какой-то мастер-лубочник. Иконы, прямо сказать, не для молитвы, — для базара иль для кабака. Хуже будет, если эти деятели начнут шарить здесь, когда мы уйдем. Лучше подождать, когда уйдут они.

Наверху загавкал Тимка, затопали быстрые шаги, и кто-то шваркнул в щенка камнем. Сквозь прощелыны в скрытню проходил каждый шорох, каждый звук.

— И тут собак развели, — послышался сиплый голос.

— Пацаньё, они щенка потеряли, — отозвался другой.

— Вот чёрт, — выругался сиплый. — Только раму отодрал, а сверху — бумм! Я уж думал — вмажет по лбу ктото. А никого...

— Да... — отозвался второй в страхе.

— Вот то-то и оно... — вздохнул снова сиплый.

Отдышавшись понемногу, двое набирались храбрости.

— Мура какая-то, — ободрял себя сиплый.

— А крест-то на колокольне золотой, смотри. — На заре так и полыхает.

— Да, штука, — согласился сиплый. — Эт те не икона. Говорят, на позолоту креста раньше фунта четыре золота тратили.

— Бывало и больше. Старинная позолота пластинами накладывалась.

— Сшибануть бы крест...

Двое постояли и пошли под гору.

— Братва, — прошептал лукаво Миха, — шугануть бы их.

— Сами уберутся, — Иван Ермолович сквозь прощель старался рассмотреть бродяг. — Они. Точно они. Этих как раз я в селе и видел. Когда уйдут, мы вход сюда закроем и замаскируем как следует.

Прошло с полчаса. Колокол молчал — стало быть, в храме никто не шарил. Было решено заночевать в скрытии: благо здесь сухо и веяло за день скопившимся теплом. Илис, Фомка и Миха выбрались наружу, спрятались в ельничке, осмотрелись вокруг. Никого. Миха потянулся в открытое место, но Илис остановил его.

— Ээ, сиди... Вор везде не ходит. Тебя видит, а ты его нет. В лесу тысячи глаз на твои два. Ползать будем. Вон там, — он показал на ложбинку, промытую в холме.

По заросшей сухотравием ложбинке ребята добрались до кустов. Из кустов нырнули в лес. Отсюда храм стал виден с другой стороны.

— Ну что я говорил? — Илис раздвинул ветки: двое стояли по ту сторону храма и, задрав головы, о чем-то спорили.

— Думают, как на колокольню влезть, — рассмеялся Миха.

— Пусть думают. Туда и рысь не влезет, — заметил Илис.

— Аида, братва, подстрелим что-нибудь на ужин, пока не стемнело.

— Стоит ли? — спросил Фомка дотоле молчавший. Он был немного сумрачен и думал о чем-то своем. — Подстрелишь — костер запалишь, а эти увидят.

— А зачем нам здесь костер жечь? Хать ты какой осторожный! — возразил ему Миха. — В лесу сварим, зажарим, Ермоловича накормим.

— Не нравятся мне эти двое, — Фомка посмотрел на тех двоих, таких смешных и маленьких издалека. — Кто еще знает, чего они там придумают.

Глава IX

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАРЕВО

Иван Ермолаевич, археолог, славист и биолог, неутомимый искатель истоков древней русской культуры, был поглощен великой минутой, захватившей его: на листке бумаги появился первый перевод. Он чувствовал, как ему не хватает терпения продвигаться дальше по буквам, выделять слова и строчки — хотелось ухватить и пробежать сразу все. К голове прихлынул жар, и сердце сокрушало грудь. Судя по упоминаниям Велеса и не цифровому, а словесному датированию лет, где-то между вторым и третьим веком первого тысячелетия нашей эры, человек был возвышен и проповедовал добро:

«О Бог наш Солнце в небесном озарении всходящий, в небе лазурном творящий свет, о ты тепло дарующий Даждьбог, Сварожич, сын Сварога всемогущего, ты породивший земли благо, внемли внукам своим и влей силы в тела наши, и души наши обоготвори; возвысь разум наш, и горящую десницею своей влей огнь в кровь нашу, и побуди помыслы наши к делам добрым — ко пахоте тучной, ко лугам и борам Белеса, ко груди матери кормящей, ко удали нашей земль нашу обороняющей, ко Волхвам и Дивам лесным, дабы внукам бысть твоим, дабы днесъ восславить свет твой, дабы в сотворении вечну бысти».

То была молитва древних славян с её певучим слогом и возвышенным видением мира. И каждые семь листов бересты — это было видно — содержали молитву древнейшую, а последние три с недописанным текстом были не похожи на страницы с устоявшимся текстом: прямостойкие буквы и в словах, и в строчках помещались вкривь да вкось, нервно и непоследовательно. Кто-то торопился, а быть может, и плохо знал письмо.

Иван Ермолаевич склонился над последними листами и прочел их не без труда:

«... и в году том черным ветром покрылась земля русская. И пришли вороги полонити, грабити, и в нечестивом пири мраз и смерд рыгати. И вороны тучею небо застлали, и кости белели на дорогах, и стон, и плач восходил. И тогда пошли воины в леса великие, и был с ними Мирослав-богатырь, что голос и клёк свистящий Дива понимал. И пришел Див на клич Мирослава, и с ним пришли Дивы, числом сорок, и вырвали древа и ратный строй умножили. И засумятились вороги, и в хладе смертном у поганых задрожали сердца. И ударили воины мечами харалужными, надавили щитами червленными, и каждый

див в один мах строй поганых разметал. И вздрогнула земля, и была битва великая, и поганых хлябь взяла. И тому столб каменный и скрытня тому есть».

Как видно, воины поганых загнали в болото, где вороги и сгинули. И скрытня была налицо: Иван Ермолаевич по воле случая, сам в нее свалился, а вот столб каменный пока нигде не попадался и вообще уцелел ли он? Не упоминался и Ратибор-богатырь: как видно события с Ратибором были позже.

Под последним листом бересты Иван Ермолаич заметил побуревший тонкий пласт. Приглядевшись, он понял, что это кожа — кожаные страницы, совершенно истлевшие. Береста уцелела, а кожа нет. Иван Ермолаич попробовал ножом разъединить истлевшие листы, но они крошились и рушились. Лишь четвертушка последней страницы показала себя. Еле заметные буквы подсказали ему, что это письмо более позднее, где-то от 16-17 века, и написано вязью церковнославянской: «... и схимник Ириль свет на храм насылавший... горящего идола зрящий... тайну сию...» — и ничего более нельзя было разобрать.

Иван Ермолаевич посмотрел на средний щит на стене, отвернутый на петлях, и понял, что кого-то не устраивало почти мгновенное свечение церковного креста. Щит надо было легонечко наклонять на поперечном железном штыре, чтобы луч от него задержался на кресте подольше. Было понятно: для этого под щитом в каменном мешке сидел прикованный цепью человек, схимник Ириль, чьи кости так и остались там.

Увлеченный чтением и переводом, Иван Ермолаевич не заметил сквозь прощелины, как по взгорюю поднялись двое.

— Я ж те говорю, — ругался сиплый, — тут ты её где-то обронил... Рохля... В штаны бы сунул — цела была, а ты — в пинжал.

А карман худой... Уу! — Он замахнулся на щуплого.

Двое подошли к месту, куда давеча прибегали с перепугу, и принялись шарить в пожухлой траве руками. Еще немного, — и они наткнулись бы на прощелины, но щуплый взвизгнул от восторга:

— Во она! Работает! — он щелкнул зажигалкой.

Иван Ермолаевич видел мелькнувшие искры, желтый язычок пламени, и чувство тревожное запало ему в сердце.

— А ежели не свалится? — спросил сиплый.

— А куда ж ён денется?

— Рухнет в уголья — и крышка.

— С какого боку подпалишь — на тот и падает. Этак который раз: зайдешь в деревню брошенную — потянет душу отвести, погретца — запалишь хибару. Их-ха! А угольев, жару потом!

Щуплый еще раз чиркнул зажигалкой и пошел вниз.

— Не смей, подлец! — крикнул Иван Ермолаевич, но голос его потух в подземелье, и он, превозмогая боль и хромоту, бросился к лестнице.

Наверх он поднимался, опираясь одной ногою и подтягиваясь на руках. Продвигался натужно, на всю силу. Снаружи Иван Ермолаевич, тяжко дыша, выполз за ельничек и, чтобы видеть храм, приподнялся. В той стороне в спокойной синеве предвечерней тишины ничто не нарушало умирающего раздолья. В небе еще парил канюк, а где-то вдалеке скрежетала сойка. Иван Ермолаевич расслабился, задышал ровнее: страшная догадка показалась ему слишком скорым предположением. Он прилег на спину, потонул взглядом в небесной глубине. После пещерной каменной сухости на воле дышалось сладостно и широко. Клонило вдребезги. Иван Ермолаевич полежал так минут десять, когда прежняя тревога опять-таки подняла его. Он сел и тут увидел, как из-за храма потянулся дымок. Иван Ермолаевич встал в рост и заспешил в ту сторону, но спотыкаясь падал, ругался и вызывал совести. Он выбрался уже на открытое место, а здесь опять споткнулся — ударился распухшей ногой о камень. В глазах посыпались искры, в ушах монотонно загудело. Придя в себя, Иван Ермолаевич открыл глаза: деревянный храм, охваченный пламенем, выдохнул из-под крыши страшно свистящий звук, который влился в жуткий гул стремительного пламени, и в тот же миг ударили колокол. Протяжно и гулко встревожил колокол мир покоя, и чем сильнее рвалось пламя вверх, тем чаще и надрывней были его удары. Но вот, перехлестнутый жаром, он всхрипнул, смолк, вдруг последним тупым и тяжким звуком простонал, охнул и обрушился вниз. Колокольня вздрогнула, пошатнулась и, словно смятая, покорно осела вся разом... Только пламя рвалось и хрюпало над деревянными обломками.

* * *

Ребята заметили столб дыма над лесом километров с трех. Удары колокола, суматошные и гулкие, остановили их. Бегом рванулись к холмам. На месте храма трещала груда пылающих бревен. Свирипый жар прихватил близайшие кусты, деревья, и низовой огонь широкой дымной полосою побежал по сухому бурьяннику в гору. Откуда-то натянуло ветерком, и пламя поднялось, вскинулось, злобно вцепилось в серую гриву бурьянника и вот взбежало уже там к ельничку, за которым скрывался ход в пещеру. Ельничек вздыбил по краю, вспыхнули елочки, словно свечки, одна за другой, и на глазах стали про-

зрачными, оголяя черный скелет. В скрытню посыпалась искры, упали горящие ветки, и стало видно сквозь каменные прощели, как там вспыхнул огонек, замерцал сильнее и сильнее, и вот уже внутри закрутилось и вскипело прожорливое пламя. Подстилка, сучья, береста огнем схватились с первой искры. Раскаленный воздух даванул изнутри, в пролом рванулось пламя, загудел жар в прощелях, с накаленных стен и потолка посыпалась камни. Камни лопались, вышибая глыбы, отлетали и падали в бушующий огонь. Потолок зыбко колыхнулся, обнажил кривые трещины, жахнул сдавленным вздохом, осел и провалился. Ни пещеры, ни входа как не бывало — все рухнуло и скончалось в глубине. В горе появилась громадная чаша, откуда пробивался струйками дым.

Огонь ходко взобрался на холм, оставляя позади черное пепелище. У верхней пролысины огонь померцал, задымил и угас. Не пробился огонь и через сырую низину. Иван Ермолаевич еле успел доковылять туда. Ребят он заметил на пепелище.

— Эй-ей-ей! Хлопцы!

Измученный, подавленный археолог еле складывал слова:

— Ребята, этих мерзавцев надо задержать. Пусть ответят перед людьми и перед законом...

— А как же вы?

— За мной потом придете. А еще лучше, если пришлете коня под седлом: на телеге сюда не проедешь. Рюкзаки ваши там у скрытни обгорели, конечно, а внутри что-нибудь да осталось. Чай, например. Так что перебьюсь пока, не пропаду. В моем рюкзаке искать нечего. Бумаги — материал горючий: навряд ли там уцелело что-нибудь. Хорошо, что блокнот в карман положил...

* * *

Колокольный звон, поднебесный столб огня, клокочущий свист пламени наслали двоим суеверный страх. Вообще-то они не верили ни во что, но разум, убитый водкой и ничегонеделанием, привел их к тому сосущему неизбывному слабодушию, при котором вера, собственно, никакая не могла и поселиться, но всегда таился ужас перед чем-то потусторонним, во что не могли проникнуть их жалкие чувства. И все же корысть была сильнее, чем страх. Двою подавленно ждали, что колокольня вот-вот упадет.

Сквозь скрежет вырвалась свистящая тягучая нота раскаленного воздуха. Они низкой струной звенела все тревожней, словно живая душа в тяжком горнилище пламени. Колокольня рухнула вдруг. Двою кинулись схватить золотой крест из

огня, но жар опалил им брови и ресницы, и в один миг лица мародеров стали похожи на рыла свиней. Опаленные, потные и суетливые, они схватились отыскать где-либо жердь и вытолкнуть крест из пожарища.

За храмом у подножия второго небольшого холма рос молодой березняк. Мародеры прорвались сквозь кусты, кинулись сломать там березку, но впереди поднялся вдруг громадный кроваво-мерцающий столб. Тело этого столба в два десятка метров, огненное и прямое, переливалось окалинной синевой и красными расплывами, а сверху смотрели кровавые глаза. По кровяным глазам волной скользнула желтизна кривых и угловатых век. Зрачки ужасающих глаз становились то черными, то снова наполнялись огнедышащей кровью, а тяжелые оранжевые веки изредка скользили сверху вниз.

Двое попятились: сзади полыхала груда бревен, впереди смотрели жуткие глаза. Ошалелые, подстегнутые ужасом мародеры отмахали версты три. Бежали в какую сторону, не помнили, где падали и спотыкались не заметили, остановились у ручья. В ознобе от пережитого страха, с больными опаленными лицами хлебали воду. Очухавшись, пошли бесцельно дальше, отупело, отупело и тяжело шагали...

Сколько было отмерено верст — ни тот, ни другой не заметил. Ручей вел и вел куда-то, пока не стал понемногу исчезать и теряться, и тогда впереди показалось необъятно широкое торфяное болото. По краю болота ноги взяли в мягкому шарище. Желтовато-зеленая торфянная перина манила прилечь. Первый остановился, сел, устало откинулся наизнечь, с ним рядом свалился второй.

* * *

Ни Фомка, ни Миха еще никогда в жизни не преследовали человека.

— А что, братва, — сказал Миха, — скоро нам служить. Подадимся в пограничники. Фомка — он часовий будет хороший. Я — на конях ездить мастак, а ты, Илис, — следопыт.

— Отчего ж не пойти, — согласился Илис, — напишем в округ, чтобы послали на границу всех служить. Вместе и пошлют.

— Как за зверями гонимся, — недовольно отозвался Фомка, — ни разу я так не ходил. Чувство какое-то нехорошее, будто в каждом шагу на чем-то сейчас вот-вот оступишься.

— А я ходил, — отозвался Илис. — То в Поморье было. Панцуйщика хунхуз убил. Понимаешь, кореец жень-шень большой нашел. Хунхуз его за то убил. Потом мы шли по сле-

ду. И день шли, и два шли, и три шли, а на четвертый день дымок увидели...

— Ну эти костер зажгут затемно, когда ночевать соберутся.

— Скоро увидим, — разглядывая помятую траву, обещал Илис, — или совсем не увидим...

Следы, намятые вдоль ручья были видны хорошо, а когда уклонялись в сторону, пропадали совсем. Только Илис видел поломанную веточку, вдавленную от каблука или взворошенную немного землю. Почему он сказал так двояко — «увидим — не увидим». Фомка не понимал. Но вот до болота осталось всего с полкилометра. Илис потянул носом воздух, остановился.

— Дальше не идем...

— С чего так вдруг?

— Не идем говорю, — сердито повторил Илис. — Сагдай...

— Чего?

— Сагдай, говорю... Болотный дух.

— А ты что — в духов веришь? — спросил Миха. Илис не ответил, повернулся обратно и решительно пошел прочь. Уже где-то на полпути к погорелищу он наконец-то заговорил:

— Пропадать там можно. Идти туда — люди нужны. Много людей... Один, два, три — там и останутся. Ермолаичу помочь надо. Плохо делаем: человека оставили в беде.

— А кто жуликов поймает? — не унимался Миха.

— Сагдай изловит, — нехотя и грустно отозвался Илис. — Хорошее спасать надо. Плохое зачем спасать.

Глава X

ГОРЯЩИЙ ХРАМ

Иван Ермолаевич, как только остался один, оборудовал место для ночлега поближе к низинке неподалеку от малого холма. Сюда нижний пал не докатился: помешала зеленая гуща влажной травы. Черные выгоревшие пластины темнели то там, то тут, еще чадили недогоревшие бревна и ветерок носил едкий смрад истлевших останков.

Археолог приметил березку с толстым сучком, торчащим в сторону. Он срубил деревцо и вытесал костыль с упором под мышку. Подыскал и деревцо второе, не столь ловкое, но подходящее. С двумя костылями-самоделками Иван Ермолаевич совершенно возликовал. Во время пожара он видел огненный столб на малом холме и теперь мог добраться туда потихонь-

ку. Опытный в делах походных, он даже здесь в обозримом пространстве не полез напролом, не пошел просто так и как-нибудь, а захватил с собой топорик, втиснутый за пояс, спички и фляжку с водой. Он был не совсем уверен что благополучно одолеет эти метров семьсот, и, если упадет, свалится, то согреет себя костерком, а ребята найдут его.

Иван Ермолаевич высмотрел проход меж кустарником и, осторожно опираясь на самодельные костили, направился к малому холму. Чем ближе подходил он к холму, тем земля становилась тверже. Костили не вязли в земле, но рос шиповник, колючий и кустистый. У самого холма рассыпался мелкий березнячок, а выше — большие белоствольные, мощные деревья. Еще издалека был приметен узкий просвет меж стволами, где поднялся и поспал огненный столб.

Археолог осмотрелся и стал взбираться напрямую туда, где вдруг явился дивный столб. Иван Ермолаевич тревожно посматривал вперед, вверх, по сторонам, но никакого громадного столба не заметил. Так взошел на холм и ничего не обнаружил. Вернулся вниз — вокруг деревья и никаких столбов. Иван Ермолаевич присел на взгорке, погладил большую ногу, попил водицы из фляжки, отер взмокший лоб. Какая-то загадка морочила его. Сначала он предположил, что здесь тоже есть скрытня, как на большом холме, но по малому холму росли сплошь крупные деревья и никаких провалов прощелей не попадалось. Передохнув немного, снова покарабкался в гору. Самодельные костили порядком измучили его. Теперь он посматривал вокруг да по сторонам без прежней ликующей надежды. Он все еще предполагал, нет ли здесь где ямы или пролома, как на большом холме. И вот что-то темное, похожее на обгорелый черный ствол мелькнуло впереди. Иван Ермолаевич доковылял туда: посередине взгорья торчал каменный столб. Далеко не громадный, метра этак в четыре, столб ушел глубоко в землю и был мало приметен средь высоких берез. И только в упор Иван Ермолаевич увидел, что он гранитный и пречудесно сотворен. По столбу были протесаны три уступчатых желоба, словно в рыбьей чешуе, а верхушка оглавлена перистым диском. Каждая чешуйка имела множество небольших восьмигранных ячеек, заполненных бронзовово-сверкающей или кроваво-красной полировкой, изготовленной так, что сама полировка казалась глубокой, будто свежий лед. В центре каждого восьмигранника сверкала светлая чашечка, поставленная косо. Отступив немного, Иван Ермолаевич разглядел, что в голове столба есть две широкие овальные выемки, забитые такими же разноцветными ячейками. Он смотрел на хитро сотворенное диво-дивное и понемногу сообразил, что свет,

упавший на столб, отражается наискось и ввысь. В то время пахнуло ветерком, груда углей от сгоревшего храма вспыхнула, — и столб в мгновение ожил. По телу столба волной пробежал мерцающий свет, который разгорался все сильней и сильней, его лучи ожили, вытянулись, и столб на глазах стал вытягиваться и расти. Перистый диск наверху засиял, выемки вспыхнули, неровный свет продлил скользящие тени — глаза ожили, по ним волной настлались веки. Когда-то на этом месте был свой древнейший славянский храм, вечно горящий, вечно возвещающий о пришествии жизни и света.

Столб векаостоял на холме за новым храмом, и кто-то скопировал древнее, вознес на колокольню подобно устроенный крест. Иван Ермолович вспомнил, что христианские храмы чаще всего строили на месте бывших языческих, которые по неведомым ныне познаниям располагались в наиболее активных космических точках, дающих сопряженную связь с чем-то небесным. Светящееся чудо талантливые мастера перенесли в новое время, и люди позабыли, что такое же чудо было раньше, и молились истово, веря в чудесное свечение, и молитва помогала им.

Иван Ермолович постоял, любуясь невиданным зрелищем, но вскоре заслыпал тявканье собак: к погорелицу возвращались ребята. Они заметили, как что-то странное вспыхнуло на малом холме.

— Сухостойник занялся, — сказал Фомка.

— Ай нет — дерево так не горит, — возразил Илис, но кроваво-красная вспышка не появлялась вновь.

— Иван Ермолович! — хором позвали ребята.

— Ого-го-го! — отозвался археолог, ковыляя к шалашу.

— Ну, парни, — говорил он через некоторое время. — Завтра я вам что-то покажу.

* * *

Миновала ночь. Иван Ермолович не спал: он был рад, что ребята вернулись. В конце концов те двое никуда не денутся, а само открытие древнейшего сооружения было в тысячу крат важнее беготни за подлецами. Он поднял ребят ни свет ни заря и наказал смотреть на малый холм. Но прошел и час и другой — столб не засветился и ничем не выказал себя.

— Ну вот, — рассудил археолог, — столб, как и крест, горел с отражения. Свет концентрировала скрытня и отражала на столб. Этим воспользовались, когда столетий семь тому назад строили храм. Светящийся крест хорошо послужил делу Христову.

Он повел ребят на малый холм все о чем-то беспокойно и настойчиво думал.

— Вы знаете, — заговорил он, когда пришли на место, — за столетия все оседает даже в щебенчатом грунте. Этому столбу, как я думаю, около двух тысяч лет. У основания покопать бы надо.

Копать землю было нечем. Топориками подрубили дерн, сняли верхние пласти. Землю со щебенкой пополам отгребали руками под откос. Примерно на метровой глубине заметили первые буквы:

«О внуки Дажьбога, внемлите солнцу, прародителю света, благодати и огня», — прочел Иван Ермолаевич.

Далее слов не объявлялось, а само основание столба, грубо отесанное, едва ли имело какие-либо надписи. Глубже копать не было нужды. Иван Ермолаевич сел на бугорок чуть поодаль и, что-то перебирая в памяти, записывал в блокнот.

— Ну, хлопцы, — позвал он, — пора к шалашу, а там я поведаю вам кое-что интересное.

На обратном пути Фомка отился в сторону и вышел к большому холму. Возле страшной ямы на месте бывшей скрытни Фомка крепко загрустил: там внизу до пожара сидел Котофеич. Фомка обошел провал по краю, потрогал ногой осыпи и средь камней и щебня заметил маленький клочок шерсти. Фомка выдернул клочок из каменной осыпи. Волос, явно не кошачий, был от шкуры, висевшей за большим щитом внутри скрытни. Обвал выдохнул наружу клочок этой шерсти на коже. «Пусть Илис посмотрит, — решил Фомка. — Он по зверям мастак: сразу расскажет, какие медведи водились тут». Фомка поместил находку в нагрудный карман и поспешил к своим.

* * *

Илис долго ворошил на ладони темно-бурый клочок с золотистой мягкой остью и тончайшим, нежнейшим пушком.

— Ой-я, совсем то не медведь, — покачал он головою. Рассмотрел так и сяк, взял в щепотку, подул. — Такого зверя нет, — сказал он твердо. — Дедушка моего дедушки говорил, что жил Уони — лесной человек. Давно, совсем давно было... А теперь — нет.

Костер, набирая силу, дымил у шалаша, и было неспокойно на душе оттого, что канувшее время не оставил в живых нечто тайное, страшное и дивное,

Иван Ермолаевич расположился на траве поодаль и осторожно пальцами разминал опухоль на ноге. Ему что-то неду-

жилось: озноб, жар и слабость. Он прерывисто с одышкой прихлебывал вскипевший чай. Но вот поднялся с земли и стал полегонечку опираться на больную ногу.

— Боль одолевать надо, — ни на кого не глядя, постанывал он. — В древности боль снимали заговорами. Никаких тогда анестезий, обезболиваний не было, и все своей натурой одолевал человек — и болезнь, и боль. И помогали ему укреплять эту натуру словом, своим импульсом, своим биополем. Так складывался характер... Иван Ермолаевич ступил раза три больной ногою, отышался.

— Вот теперь мне надо где-нибудь получше примрститься. — Он осмотрелся. — Ребята, постелите-ка мне лапничку повыше.

Иван Ермолаевич уселся:

— Хорошо, хорошо. Удобно и высоко, как на сторожевой башне. — Иван Ермолаевич помолчал, огляделся. — В древности на Руси много строили башен сторожевых. — Ворогов предупреждать. На одних башнях траву зажигали, чтобы ратники издалека дым увидели, а другие башни были тайными. На высоком дереве устраивался скрытый помост. Помост этот живыми ветками заплетался. Сажали здесь и хмель, чтобы оплел все и ничего разглядеть было невозможно. И сидел там скрытник, воин. От скрытни вели пути обходные, ворогам неизвестные. Вороги проходили мимо, а скрытник пускал в соседнюю скрытню тупую стрелу. И так от одной скрытни к другой. Черная стрела — идут вороги, светлая — гости едут, красная — встречай свадьбу. Минут за пять весть уходила верст на двадцать. Сколько шло врагов и куда — заранее знали. Лес для русичей всегда был помощник. Никому неведомыми тропами обходили они врага, дрались храбро, и редко кто назад в свое ворожье царство жив уходил. В первом тысячелетии нашей эры громадных войн не затевалось. Бывала междуусобица, племенная рознь, а то все больше поединки да состязание. И славились тогда богатыри. Даже дела государственные, территориальные решались через богатырей. Чтобы не лить людскую кровь понапрасну, выходили два богатыря. И сражались. Чей богатырь победиши, тому и власть, скажем, речкой или озером тем. В великой почести были тогда богатыри. Князю служили, но независимость свою, честь и гордость берегли. И боги у русичей были тоже богатырями: Сварог, бог неба и огня небесного, у которого был сын Даждьбог или Сварожич — это бог солнца и огня, а сами русичи считались внуками Даждьбога; был Перун, громовержец, был Велес, покровитель скота...

Глава XI

ГОЛОС ПРЕДКОВ

Костер, набирая силу, осел, и жаркая груда углей, мерцая оранжевой и голубой побежалостью, озаряла лица тихо сверкающим таинством. Блестки еще не гаснувшего разноцветья притягивали взгляд, навевали раздумье, пробуждая череду неторопливо бегущих мыслей. Иван Ермолаевич, погруженный в свою обычную задумчивость, заговорил неспешно и негромко:

— Я вот много и не раз старался заглянуть в прошлое.

Наши храмы оттого и красоты неповторимой, что чистым помыслом сотворены, чтобы людям видеть и честь свою, и то, что от природы им по таланту дано. Каждый наш храм — это памятник таланту, а его вон хвать — под корень порушили. И порушили неспроста, чтобы в дальнейшем из одного российского поколения да в другое талант не возрос.

— А у цыган храмов нет, — сказал Миха. — Бог есть, свой, цыганский, а храмов нет.

— Есть песня, — напомнил Иван Ермолаевич. — Она и молитва ваша, и ваш храм. А в хорошей песне и свято все, и очеловечено. Не беда, что икон у вас нет. На иконы молятся порой по привычке, но больше потому, что живописец талант и душу в этот рисунок вложил. Душа добротою с иконы светится — от того и легче человеку и в горькую минуту, и в нужде. Но есть и другая истина — она разлита рядом в траве, в деревьях, в самой земле и в небе нашем, добром и светом наполненна. Власть держащим и бог-то из века в век нужен для того, чтобы в вечном страхе жилось тому, кто всех бездельников кормит. Знали, понимали: напуганный — он вечный раб, что скажут, то и делать будет.

А потом и бога отменили, и законов наделали пострашнее адовых. Тут, ребята, мыслить надо всю жизнь.

— У нас в тайге не так, — сказал Илис. — У нас там — духи... Смотришь, охотник старый-престарый, просит духа в охоте помочь, а не поможет, — так и поругается с духом. Глядишь, и удача есть.

— Что ж, и это объяснимо, — Иван Ермолаевич поёжился, сел поудобнее. Сначала человек слабеет с плохим настроением, — ему и не везет. Потом он осерчал, поругался с духом, стал напористей, — и пошло ему везение.

— Нет, — призадумался Илис, — духи и на самом деле есть, только понимать и видеть их не каждый человек может.

— Вполне возможно, — согласился Иван Ермолаич, — есть оно это неведомое, что и в сотовой доле нам не раскрыто. Но вот что хочу я особенно заметить: тот человек, сделавший светящийся огненный крест, знал про огненный столб и кресте повторил то древнее, когда человек в природу верил — в солнце, в землю и находил там источники и радости, и исцеления своего. Разрушается в человеке его принадлежность к природе. Позабыт великий храм всего живого — Природа. И чего только не сделали с этим храмом: и осушили, и вырубили. Теперь бы самое время возвести в культе разумного почтения природу, как некогда почитали это наши предки.

— Слушай, Ермолаич, что ты за человек такой: смотришь да смотришь вокруг — и никак не насмотришься. Совсем как батька мой, цыган.

— Человек я, как и батька твой, — Иван Ермолаевич осветился доброю усмешкою. — По призванию — археолог, географ, биолог. Тебе вон батька живость свою, любознательность, слитность с миром передал, а мой отец умер в ленинградскую блокаду. Я в то время совсем мал еще был. Из города в то время таких, как я, — вывозили на самолете. Не всех вывезти удалось. Перед нашим вылетом «Мессёршмид» транспортник с ребятишками сбил. Но мне посчастливилось. Пережил воину в детдоме. Вернулся, отыскалась мать. Потом пошел в науку по отцовской дороге, — даже, скажу, по проторенному отцом пути. Защитил кандидатскую. И вот — редчайшая находка, целый пласт для науки, и все погибло из-за каких-то мерзавцев, тупарей. Господи, сколько же всего на свете уничтожила злоба и глупость! Мир бы теперь процветал. А я все думаю: неужели вечной будет борьба добра со злом, или все-таки мир придет к высшим проявлениям разума и духа, когда изживутся причины, порождающие зло...

Иван Ермолаевич страдальчески поморщился, пригорюнился и подумал: Надо, надо с молодыми говорить о своих предположениях, пусть просыпается у всех интерес познания, пусть ищут свои пути к истине.

Я вот тут успел записать и перевел некое пророчество, — Иван Ермолаевич полистал небольшой блокнот. — Вот оно: «И когда буде здраву духу и рассудку бережение земное, тогда преумножение великое чудес человек соторвит, и сойдется он в скрижали своей с тем великим, что богом именуется, и мир оттуда явится ему дотоле неведомый, — и расцветут тогда на земли пустыни, и наполнятся реки, и обретет человек нетленность телесную, и воздаст небесам дарами земными, и там распространится». Вот видите, друзья мои, — Иван Ермолаевич немного помедлил, задумался, — что некий пророк говорит:

когда-нибудь воссоединиться все: и небесное и земное, если землю с её природою убережем. И кстати: на бересте сказано о битве, где на помошь русским людям пришли Дивы. В том еще одна из загадок прошлого, которая доселе скрывается от нас. Див упоминается в «Слове о полку Игореве». Что это? Поэтический вымысел или правда? Я полагаю, вымысла в том нет. «Слово» на редкость правдивое произведение, поэзией возвышенное. Сдается мне, что известный нам леший, в сказках присутствующий, и на самом деле жил, а быть может еще и жив. И шишиги болотные — что-то вроде крупных жаб, и водяные, возможно, болотные бобры особо крупные или какие другие обитатели наших просторов и дебрей, и даже домовые, некие зверьки или существа, — все они были когда-то, жили рядом с человеком и, дай-то бог, если уцелели где-то в неразрушенной еще природе. Думаю, что в этой области познания половину мира мы теряем, а быть может, и целый мир, нами пренебрежительно отвергнутый, ученым невежеством затоптанный. Помолчали. Было видно, что Иван Ермолаевич что-то выверяет в своих умозаключениях, и потому пока молчит, но вот он поежился, одолевая боль в ноге, и заговорил снова:

— Думаю, Див — это последний лесной человек, который жил в дружбе со славянами и даже в битвах сражался за них. Этот пробел в науке еще не заполнен. Ищут, встречают иногда, но контакта не получается. Почему? Есть тут какая-то биологическая загадка. Или вот другой пробел: русичи, славяне, считали себя внуками Даждьбога или, как говорят, Дажбога. А кто же в таком случае их отец, если они внуки? Русичи — земляне, и, по логике вещей, этот отец должен был находиться на земле. А как его звать-величать мы не ведаем, и в том, вероятно, спрятана загадка происхождения славянских племен. Каменный столб на малом холме — сооружение явно полезное, а не только ритуальное или, как говорят, языческий идол. Языческий так языческий и, несомненно, вещающий что-то. В данном случае возвещал о пришествии ясного дня, зари. Икона — тот же идол, только по-иному сотворенными о дне новом не оповещает. А католики, так те целые фигуры святых вырезают из дерева, обряжают их и шествуют с ними по улицам, и это тоже ведь идолы. Тут все зависит от того, какова внушенность у людей преобладает, от привитого обществу настроения и сформированной психики, и от того, каков массовый гипноз царствует над людьми. Суть дела только в том, что старых идолов низвергли, а новых сотворили, да вознесли, да страха к ним прибавили. Смотрите на, храм стゾвонный крестовоздвиженский: колокол сам по себе бьёт, и крест огненный кровью наливается! Вот ведь чем и увели душу от

общности с миром. Непосвященный тут во что хочешь поверит. Знали в веках, как народ в страхе держать. Еще египетские жрецы, умевшие предсказывать затмение солнца, надежно пользовались людским простодушием. На поверхку-то вон как все просто: трепыхается доска, как лист на ветру, — и бьет колокол; отражается первый свет — и горит крест. А на деле даже у вас, неверующих, сердце защемило, потому что идеи преклонения людям давным-давно еще в разум вклинили. К слову сказать, даже самым премудрым изобретениям и устройствам невозможно тягаться с идеями. Идеи — явления страшные: в них либо величие разума, либо цепная реакция безумия. Какая идея победит, та и решит судьбу нашего мира, всей вашей земли, всего человечества. Либо будет прав древний предсказатель, что обретет человек нетленность телесную, и воздаст небесам дарами земными, и там распространится, либо сгорит в идиотизме звездных войн.

Иван Ермолаевич говорил, говорил и сам дивился тому, что вдруг нашло на него такое рассуждение многословное: чем оно вызвано, какой причиной? Но казалось ему, что рядом понимающие и неравнодушные слушатели, потому продолжал рассуждать:

В древности лучше был человек, потому что не создавал для себя идей полного самоуничтожения, не делал ядерных бомб и химического оружия. Он верил в природу, почитал её, и священный столб, надо полагать, был барометром времени, когда человек мог наиболее полно и точно воспринять энергию извне, из пространства, уловить те минуты, в которые преобладает насыщенность воздуха целительными ионами и фитонцидами растений, и впервые лучи зари наполняли человека силой и очищали его от недугов телесных, от душевной скверны. И не было в том никакого чуда. Вероятно, наши далекие предки в те минуты выходили на холм и, встречая зарю, возносили хвалу солнцу.

— И науки у них тогда не было, а кто-то им все это подсказал, да? — примолвил к слову Фомка.

— Науки в современном понятии и лабораторий, конечно же, не было, зато лаборатории была вся неиспорченная природа. Разве мы сейчас чувствуем и ощущаем мир так, как некогда они — наши предки? Да у вас все притупилось, мы все больше и больше обедняем себя арифметическим мышлением, позабыв о духовном восприятии мира. Чувства тогда были опытом и путеводителем человека в мире, в природе, — так созревались понятия, которые и сейчас наиболее точны. Мы теперь, порой и такие: дадут нам самотканый красивейший ковер, а мы его растреплем на кудель, ради познания, и рас-

суждаем потом, что самый великолепный рисунок на ковре — это дело нереальнее, не соответствующее нашим материалистическим взглядам — выдумка, вымысел, иррациональное дикая природа, а ват та кудель, чте мы произвели, это как раз есть то, чего можно практически применять — дыры затыкать, например. В природе человек свободен в выборе мыслей и чувств, но человек сам себя вынудил подчиняться установленным канонам, и стали сужаться его энергетические возможности. Политика и власть задавили чувства, и теперь мы выхватываем из миллионов духовно опустошенных человечков жалкие остатки экстрасенсорики, парапсихологии и ясновидения. Страх перед властью имущими из века в век вошел к нам в генетическую структурой мы еще долго будем рабами даже при самых свободных и светлых законах общественного устройства.

— Нет, с нами этот номер не пройдет, — сказал Миха.

— Ничего такого ни у кого нынче не получится, — подтвердил Фомка.

— Вы уже иное поколение и от новых по-иному мыслящих. От тех, кто на веру ничего не приемлет. Бывает, что и нынче кому-то с детства сломают страхом душу — иногда через веру, иногда через порядок или закон. Все это так или иначе обречено на исчезновение — не в нашем веке, так в будущем. Не исчезла бы только вера в природу, в могущество вселенной да в человека. Я как-то не допускаю мысли, что человек настолько технократически оглушен, что задавит собственную душу, истребит её или превратит в новейший компьютер. Вот возьмите: история славян складывалась тысячелетиями. В веках исчезли берестяные грамоты с канонами веры и повседневными записями дел, но сохранились предания, мифы. Дерево да бревна — материал недолговечный. Те, кто писали на камне, строили из камня, оказались исторически в более выгодном положении — камни уцелели лучше. Но это не значит, что не было истории у того или иного народа. И каждый народ должен её восстановить. Кто ныне отыщет частицу нашего прошлого, тот даст людям частицу душевного огня, который у древних славян не был отделен от солнца, от огня небесного. Даже теперь, если люди будут встречать зарю, чтобы ежедневно быть сильными, душа не угаснет в них — не допустит того сама природа, а тепло и свет, издревле так возвеличенные, станут новыми истоками доброты человеческой. Исчезнет тогда злоба для подавления других, исчезнет и ложная святость. Не был, нет и никогда не будет человек святым. Человек может быть героем, может быть честным, но святым быть не может, потому что всегда во все века он оставался и останется подверженным сомнениям, терзаниям души и своим ошибкам. Жизнь —

это вечное столкновение с чем-то вновь пришедшем, и потому свяности здесь никогда не приобрести. Будут ошибки, будут терзания, будет борьба, а смирение было и будет всегда лживым. Это две сферы, два диапазона энергетического восприятия как вокруг, так и для вселенной, — вера в прошлом, и вера теперешняя — для чего они враждуют? Зачем? Кто-то выдумал эту вражду и явно не без корысти. А между тем вся эта, как её окрестили, нечистая сила, должно быть, весьма милые существа, никому зла не приносящие и защиты большой достойные. Религии сталкивают ради власти именно тот, кто кощунствует над природою да человеком, да плюёт в глаза всевышнему.

Иван Ермолаевич умолк, прикрыл глаза ладонью. Чувствовалось, как он устал, как боль все-таки одолевала его.

Илис пристально посмотрел на археолога, сощурил черные слегка раскосые глаза, поцокал языком и незаметно отозвал в сторону Фомку.

— Помрет он однако, — прошептал Илис. — Глаза у него нехорошие, как у белки сшибленной — то блестят, то мутнятся. Бежать

надо,шибко бежать за подмогой. — Илис вскинулся взглядом в небо. — Погода и на день, и на другой будет хорошая. Отсюда прямиком верст тридцать будет. Туда-сюда — и к утру снова здесь будем. Бежать вдвоем надо. Один побежишь — не всегда добежишь. Ты бегать можешь?

— Надо — так могу.

— Тогда нам бежать, а Миха у костра останется. Он у костра, как дома. Он тут все может. Ну, айда! Иван Ермолаевич прилег и забылся. Чтобы не встревожить его покоя, Илис и Фомка потихоньку отозвали Миху, договорились как тут быть, прихватили ружья, топор и пошли вниз к ручью в ту сторону, где в дальней дали стояло село.

Глава XII

И, ПУТЬ ОДОЛЕВШИЙ — СНОВА ИДИ

Шалаш, наспех сделанный Иваном Ермолаевичем, Миха сразу же забраковал. Из обгорелых остатков палатки Миха навесил полуушатер, настелил под навесом лапника, огородил вокруг широкими еловыми ветками. Костер сдвинул в ямку, положил на уголья бревно, а сверху два бревна поперек, чтобы задвигать их в жар по времени, когда опадут концы в уголья. Костер, таким способом уложенный, не пылький, но горит до утра. Тут и чай вскипятишь, и похлебку сваришь, и картошки

напечешь. Очень довольный своим костром, Миха вскоре заметил, что Ермолаевича знобит. Он помчался собирать валежник, чтобы поддать пламени, но Иван Ермолаевич почти не замечал его затей. Ему и в самом деле становилось все хуже и хуже. Привалившись к охапке лапника, ссугуленный и пожелтевший, он не стонал и не жаловался, и глаза его, мученически полуприкрытые, мало что видели.

Миха вспомнил, что так умирал его дед по дороге на Чухлому под шатром и у костра. Дед попросил тогда, чтобы шатер отпахнули сверху — открыли бы небо, а со стороны не закрывали бы луг. Дед весь день смотрел на облака, в синее небо, на широкую луговую мураву, а вечером смотрел на звезды. В сумерки он захотел, чтобы ему спели. И тогда долго-долго пели и для него, и для себя — и хором, и поодиночке. Дед умер на заре. В последние минуты он все чего-то ждал и собрал на это ожидание все силы. Напряженный, отходящий, он вытерпел до срока, когда над лесом краешком глянуло солнце, — улыбнулся свету, вздохнул и умер.

Иван Ермолаевич из-под усталых век смотрел куда-то вдаль над лесом, на горизонт. Солнце предосеннее, быстрое и жаркое скоро кануло в замутненную к вечеру даль. Оно задержалось, зависло над лесом, чётко очерченное, как червленый щит; коснулось краем, осело наполовину, мелькнуло раскаленным полудужьем и кануло с неба, широко раскинув огненно-красную вечернюю зарю.

Когда солнце исчезло, Иван Ермолаич откинулся навзничь и закрыл глаза.

— Ермолаич, а Ермолаич! — испугался Миха. — Ты живой?

— Живой, Миха, живой, — тяжко вздрхнув, отозвался археолог.

— А ты не спи, а то помрешь, — поучал его Миха. — Ты в небо смотри. Оттуда человеку сила приходит. Так меня еще бабка учила. Ты, говорит, Миха, если чуешь, что душа не на месте, либо печаль, либо немощь начинается — всякий раз в небо гляди. Ежели напастя не сильно берет — смотри стоя иль сидя, а ежели крепко зажало, — ложись на спину и во всю ширь глаза таращи. И еще учила зори встречать, по росе босиком бегать, росой умываться и дудошник есть.

— Толковая бабка была, — тихо отозвался Иван Ермолаевич. — Жаль, что такой бабки сейчас рядом нет. Скоро таких и совсем не останется. Такие бабки и боль снимать умели, и кровь останавливать, и припадки лечить, да и мало ли что из рода в род передавали. Вещуньями, ведуньями, то есть ведающими, знающими их звали. А потом прозвали ведьмами. У нас

стали проклинать, преследовать, а в Европе на кострах жечь. Много разума сожгли. Еще больше душ, чувств человеческих. Много теперь надо времени, ой как много, чтобы из этого богатства хотя бы каплю вернуть. Европейская цивилизация оказалась вовсе слепой. Насадила суеверия, изобрела водку, а знания сожгла. А в Африке, в Зимбабве, например, — как это ни странно звучит в современном мире, — тамошняя официальная медицина не отвергла народную, там все полезное берут и от знахарей. Ведь есть медицина тибетская, китайская, есть индийская — все это истоки, исходящие из опыта тысячелетий, а в Европе, с ее тупым богочитанием, на что ума не хватило, так то взяли да сожгли, как Джордано Бруно; совсем как эти вот идиоты, что груду пепла от целого храма оставили нам. Да и бога в угоду какой-нибудь власти цивилизация из века в век все переделывала да переделывала...

— А мой батька всю жизнь на мамку гант, что та ведьма. Как запьет, она ему чего-то в бутылку подмешает, — так он целый год потом пива и тонюхать не может. Ругается, а пить не может. Воротит его с души и за ушами зуд начинается.

— Ишь ты, — улыбнулся Иван Ермолаич, — с твоей мамкой не худо бы и медикам познакомиться. Среди разных там ведьм и знахарей, что и говорить, встречаются шарлатаны, а больше все люди истинные. В таких людях не утрачено понимание живого, понимание чувственное, интуитивное, чутко реагирующее на отклонение в живом. Хламу нынче разного на всем том преподносят нам предостаточно, но есть и нечто ценнейшее — импульсное проникновение в жизнь.

Иван Ермолаевич притих, подышал глубоко, расправляя плечи.

— Так дышать меня еще отец научил. В голод в блокаду сунет меня к форточке и заставляет свежим воздухом дышать. Это, говорит, тебе завтрак, а будет и обед. Я только потом узнал, что азот воздуха синтезируется в организме в белок. Знать бы тогда, что теперь каждому школьнику известно. У нас там одна старушка, совсем и грамоту неразумевшая, двух внуков липой спасла. Росла липа во дворе, — так она из этой липы что только не делала: и кашу из листьев варила, и кисель из цвета, и лапшу какую-то. Они выжили, а другие — нет.

Свежий воздух немного оживил археолога, но вскоре он опять отяжелел, полусонный, безразличный.

— А не подремать ли нам, Миха? — спросил он неуверенно.

— Не... нельзя... — забеспокоился Миха. — Ты, Ермолаич, если, а то... — Вот и я думаю, а то... — вздохнул Иван Ер-

молаевич. — Уснешь, а тебя это самое «а то» и подкараулит. Не знаю, как силенок чуть-чуть набраться...

— А хочешь, я тебе петь буду? А? Ермолаич, хочешь?

— Славный ты парень, Миха, и все вы славные ребята. А песни, Миха, я очень даже люблю. Иная песня надежнее лекарства.

Миха с пустыми руками петь не привык. Он взял палку вместо гитары, спел «Тубл-вал» — про ветер, спел таборную, плясовую, «Ручеек».

Иван Ермолаич незаметно задремал и, судя по ровному дыханию, помирать пока не собирался. Миха прикорнул у костра, но и сквозь сон настороженно слушал, не взглядят ли ребята вдали — Илис да Фомка.

* * *

Хирург, пожилой и грузный, прибыл на рассвете. Не в пример ребятам он плохо держался в седле и, видимо, порядком устал пока ехал через дебри. Илис и Фомка на конях сидели ладно и привели еще двух коней в поводу, подседанных старыми давненько не бывавшими в деле седлами, Врачу помогли слезть с коня, и он, пошатываясь от боли в коленях, поспешил к больному.

— Что же это вы, друг мой, тут распрыгались, — ворчал он, отстраняя самоделки-костили. — Вам покой был нужен, а вы, видите ли, по округе вздумали скакать. У вас же тут гематома с голову. Сосуд порван. Бог миловал, что венозный. А если бы артерия? Если бы кожа лопнула? Вы бы кровью изошли.

— Виноват, но улечь тут было невозможно, — из последних сил отвечал археолог. — Вон смотрите: двое мерзавцев храм сожгли — ценность невосполнимую. Участковому надо заявить, разыскать подлецов другим в назидание.

— Уже нашли, уже нашли, — ворчал хирург, орудуя бинтами. — Нашли у болота усопшими. Охотник наткнулся вчера. Пьяницы. Утроба дряблая. Сердце, печень, почки — гниль, труха, в полной мере перерождение. Свалились на мшарище, а там — болотный газ, повышенное содержание углекислого газа. Нормальный человек проснулся бы, с головной болью разумеется... А эти... Храм сожгли, а после себя на память человечеству пустую бутылку из-под водки оставили...

* * *

Бабушка Наталья встретила ребят вздохами и назиданием:

— Ох, господи, и где вас только носит? И надо же такое! В замороченное место пошли.

Иначе судил Василий, Михин батька:

— Все ворчишь, старая, — говоривал он. — Ребята уж глядико, сокола. Остался год-другой, а там в армию. На воле они самую силу и наберут. И в службе, и в работе будут ладные. Время такое — кругом все надо знать, кругом во все вникнуть. Мне вон Миха мой чего раз начитал: «Природа не храм, а мастерская...» — так будто бы сто лет тому назад говорили. Вот они теперь везде, мастера-то всякие, и лезут. Перебурошили всё, чтоб им сдохнуть.

— Для умного, милок, — сказала старая, — она природа то и нынче храм, а для дурака — только мастерская.

* * *

Иван Ермолаевич после операции три дня лежал в лихорадке. На четвертый день ему стало легче, и он позвал ребят через сестричку.

Утром Илис, Фомка и Миха с треском промчались до Бессоновки, оставили потрепанные мотоциклы у забора и зашли в больничный садик переждать обход врачами.

Ивану Ермолаевичу разрешили подняться. Он опробовал стандартные кости, примерил по росту и довольный тем, что выздоравливает, встретил ребят улыбчиво и добродушно.

— Хочу, хлопцы, вас спросить сначала, кто кем и чем намеревается быть, — добравшись до скамеек, заговорил он.

— Школу кончим, пойдем в армию, на границу, — наметил дорогу в будущее Фомка. — Потом в сельхоз пойду, в агрономы.

— А я — в охотоведческий, — обещал Илис.

— А я в СПТУ, — сказал Миха.

— Хорошо, что вы такие, — похвалил ребят Иван Ермолаевич, — и душой, и телом, и добротою. Из таких сильный народ растет. Те, что изнежились нервными стали, земле племени доброго не дадут. Я вас вот зачем позвал. Отпуск мой кончился. Чрез неделю — не позже — уеду в Ленинград. Когда еще попаду сюда. Вы постерегите то место. Возможно, еще что-то найдется там. Да, кстати, клочок этой шкуры медвежьей-немедвежьей цел?

— А кто его знает, — пожал плечами Фомка. — Затерялся где-то. У костра, наверно, бросили. — Жаль... — Иван Ер-

молаевич призадумался. — В армии я на границе служил. У Тибета. Хорошо бы и вам туда попасть. Там много про разных человекомедведей разговора сохранилось. И запомнилось мне кое-что. Там мне таких ребят, как вы, остро чувствующих природу и современных вместе с тем, очень не хватало.

— А мы как раз туда и попросимся, — обещал Илис, — втроем. Мы все осеннего призыва.

— Что ж, дело, — похвалил Иван Ермолаевич. — Однако место с погорелищем не забывайте. Не все там разгадано, и вообще нельзя на чем-то из прошлого окончательно ставить точку. Нельзя в жизни однажды остановиться и сказать — дальше не иду. Там в скрытне меж берестой попался мне кружочек с дыркой, из плотной коры, гладкий. Положил я его в блокнот, чтобы разглядеть потом. Брелок, что ли, думаю, носили наши предки, а может быть, амулет славянский, талисман. И вот лежу в постели — солнце ярко так глянуло в окно, осветило кружочек, и вижу — буквы. Списал их наскоро. И что вы думаете я прочел? — Иван Ермолаевич внимательно посмотрел на ребят. — А написано вот оно что. Он достал гладкий кружок из блокнота и медленно, раздельно, прочитал: «И путь одолевший — снова иди». — Это вам на память. Завет наших предков. Бери, Фома. Ты парень хозяйственный — тебе и хранить, а помнить все будем.

* * *

Возвратившись из Бессоновки, ребята зашли к бабушке Наталье опрокинуть баночку-другую поостывшего к обеду молока.

— Ну, что? Опять куда-либо наладились? — спросила бабушка нарочито хмуро и сердито. — Вон и друг твой только что явился, — попрекнула она Фомку. — Опаленный весь. Мало ему кладовок-то. В печи, видно, лазать начал.

С позапечья на ребят смотрела слегка подпаленная шкодливая морда кота.



СЫН УТРЕННЕЙ ЗАРИ

Глава I

На плоской равнине предгорья Уони особенно ясно понимал запахи, которые вместе с теплым воздухом наплывали поверх выгоревшей щетины трав. Всякий раз его мощные подвижные надбровья и широкий нос настороженно замирали, когда что-то новое и тревожное доносил через равнину слегка посвежевший и прозрачный сентябрьский воздух. В эту ночь, хмурую и теплую, Уони сошел с гор, ловко минуя провалы и расщелины. В том месте отрога Гималаев был недоступный альпинистам и никем не пройденный путь. Вдоль отвесной скальной стены тянулся едва приметный заступ, соскольззающий вниз к широкой пасти километрового провала. Всякий раз, перескочив с небольшой верхней площадки на заступ, Уони стремительно мчался по этой узкой змеистой полосе с тем, чтобы

сила инерции держала его. В конце полосы ему как раз хватало громадной и ожесточенной силы, которая бросала его в невиданный рывок к противоположной стене на выступ с глубокой нишой и подземным переходом на предгорье. Там, в глубине подземного лабиринта, тонкой струйкой пробивался ручей к довольно широкому озеру в овальном каменном ложе, там была прохлада и тишина.

Обратный путь на скалу мог быть проще и мог быть сложнее. В сухую летнюю пору Уони поднимался вверх из провала по темному, почти отвесному уклону. Его широкие ступни и ладони помнили наощупь каждый выступ, каждую защелину. Подъем начинался по кривой ложбинке, где нельзя спятиться обратно — ноги теряли опору. Без ноли, налегке, Уони взбирался быстро, а с ношей вползал медленно и осторожно, перекинув тяжесть за спину и вцепившись в край ноши зубами.

Там — высоко, где облака стелились понизу, а солнце высекало искристую синеву ледника, — зиял над низким наклонным уступом плоский угловатый вход. За входом округло и широко начиналась пещера. В дальнем темном углублении пещеры от ледяной шапки скалы вода пробила проточину в потолке. Вода медленной прозрачной струйкой падала в каменную, временем углубленную чашу и, переливаясь через край, уходила в гору.

Неделю назад Уони ощутил одиночество. Он не видел, как сорвалась в пропасть его мать. Что-то тоскливо-щемящее ударило ему в сердце и пронзило все его тело. Короткий буро-вато-коричневый мех встал на нем дыбом и послышался легкий треск статических разрядов от приближения к стене. В вечерней тьме пещеры его тело обозначилось блеклой вспышкой набежавшего поверх свечения, и прозрачная желтизна этого свечения вспыхнула ярче, когда мать исчезла. Уони испытал это дважды: когда в провал, состарившись, шагнул отец, и вот теперь, когда с неверной оступи погибла его мать.

Уони вырос крупнее отца, но казался ниже тех двух с четвертью метров роста, потому что смотрелся глыбою за счет широкого торса и могучих плеч. Крупная, плотно посаженная голова слегка серебрилась от нисходящей с затылка короткой гривы, и весь его мех, бурый с серебристым проблеском, чистый и плотный с тугим подпушьем, лежал, сверкая, точно шелк.

В ночь, перед тем как спуститься в предгорье, Уони долго плескался в подземной лагуне. Потом отдыхал у верхнего пролома, и тепло нагретой за день долины, поднимаясь снизу, приятно ласкало его тело. Предгорье плоско нисходило к

долине и стелилось дымчатым ковром повысохших трав. Под глубоким звездным небом и узким рожком месяца оно казалось мягким и пушистым. Накануне, когда предвечернее солнце протянуло на предгорье желтые лучи, Уони высмотрел на ровной широте ложбинку. Километров с десяти ложбинка обозначалась едва приметно, и только взгляд Уони, карий и бездонный, пульсирующий зеленоватым блеском, был способен увидеть травой обрамленный ложок. Он прокрался в ложок затемно. Полчаса таился, сидя на корточках, готовый взбиться резким прыжком в сторону и мгновенно кануть в ночь. Каждый раз он исчезал беззвучно, словно наваждение, и появлялся тихо, как ночная тень. Большие широкие ступни мягко несли его над землею, и даже снежный барс уступал ему в беге.

Уони вдохнул запахи и проверил пространство. В такие минуты откуда-то с затылка ко лбу и глазницам наплыvalа волна напряжения, исторгая импульс поначалу сферический — на все пространство вокруг, находила там предмет живой и только потом постепенно сужаясь, выбирала себе цель. Все звери и птицы, которых Уони знал, избирались чувством легкий были податливы в бессмысленном страхе перед ним. В третий раз за эту ночь Уони сосредоточил импульсивное напряжение в долину — туда, где он видел существ ему подобных, двуногих и несколько бесформенных, с лицами оголенными или бородатыми. Оттуда очень часто наносило запахом спирта, и тогда в пространство от этих существ пропливался хаос, обрывки нервных подач, перемешанных на злобе и тоске. Потом импульс непонятной и чужой жизни туп корчился, источая что-то схожее с предсмертным излучением подыхающей змеи. Уони не мог понять этого и никогда к жилью человека не подходил.

Только однажды мозг его вспыхнул теплым озарением, а сердце — могучее, сильное сжалось и затрепетало. Влекущий разряд, ни с чем не сравнимый, ворвался в его чувства. Ветерок донес запах чистых волос и разогретого тела. Уони вжался в траву: минуя предгорье, к жилью человека шла женщина. В спортивном трико, в пуховом свитере, она была похожа на сестру Уони, рано умершую. Тайная сила ударила в чуткое сердце Уони. Он затаившись, ждал, но женщина не приходила. Волной напряжения он проверял пространство и не находил прежнего чувства, которое однажды так встревожило его.

За предгорьем в долине стояла казарма, и суетные человечки в ботинках, и в беретах, в пятнистой защитной форме за колючей проволокой чему-то учились на плацу. Почти ежедневно они уходили, в широкий овраг, и оттуда доносились

хлесткая дробь автоматных очередей и тявканье тяжелых пистолетов. Уони понимал опасность таких звуков и ближе, чем вполовину зримого пробега, к ограде из колючей проволоки не приближался. В эту осень его настиг голод. С южной стороны гор стали кружить вертолеты, а по горным тропам к тихим аулам пробирались злые люди. Тогда там вперехлест трещала стрельба, раздавались крики и стоны. Так было много-много раз, и с горных склонов ушли дикие козы, улетели птицы, попрятались зверьки, спрыснутые ядом погибли ореховые рощи.

В стороне от серой плоской казармы растянулся узкий и приземистый бетонный склад. Ближе к складу зеленело дощатое, наспех сколоченное помещение, над которым из трубы курился дымок и наносило запахом дивной пищи. От таких запахов мучительно сжимались скулы, и тогда Уони нюхал сухую полынь, чтобы горьким осадком унять голодную боль. У склада круглые сутки дежурил часовой, а возле кухни под навесом постоянно что-то стряпали. Утром, в обед и вечером сюда приходило много солдат, и сквозь гомон, выкрики и брань слышалось звязканье ложек и ножей. Ночью у кухни никто не дежурил. Тусклая лампочка освещала небольшой висячий замок на двери, а со стороны противоположной был второй вход — двустворчатый, широкий. На исходе дня к широкому входу подъезжал грузовик, и солдаты таскали внутрь помещения тугие мешки и говяжьи полутуши, которые на рассвете повар вытаскивал по частям наружу и большим топором кромсал на деревянном тупике. С горы лагерь виделся весь, а запахи оставались внизу. Но с предгорья ясно различался аромат испеченного хлеба, сладостно наплывающий издалека.

Сегодня часть мешков сложили грудой у входа. Серые, сшины нагло, с наштампованными буквами, они распространяли запах, очень схожий с запахом зерен дикой пшеницы, которую изредка Уони находил. Как только в небе по вечному кругу повернулись звезды, Уони бесшумно приполз к ограде. У склада к стене дремотно привалился часовой. Сетка из колючей проволоки была натянута на трехметровые столбы из памирского дуба. На дальний угол изгороди приходилась теневая сторона от склада. Затаившись незримо и бесшумно, Уони подстроился нервным приятием к человеку, расслабленно стоящему у склада, и терпеливо ждал, когда человек заснет. Вскоре биоритмы часовного поплыли плавно, умиротворенно: человек спал стоя. Обученный и тренированный человек мгновенно просыпался, но с момента пробуждения и способности осознавать проходило секунд пять-шесть, а то и восемь. Звери, которых Уони ловил, тратили секунды полторы; у человека воля прояснялась

позже. Потом на первом движении человек терял еще секунды две-три. Не меньше десяти секунд было в запасе, чтобы вырвать столб ограды, схватить мешок и скрыться в тень. Счет времени Уони постиг по птицам и зверям. Пролет сокола определял длинноту, прыжок барса определял скорость. Теперь в три прыжка барса распределялось его время: рывок — выдернуть столб, рывок — до груды мешков и обратно. По чистому воздуху от часовского наползал перегар виски и тухловатый запах марихуаны: такие люди, как зимние сурки, лишены мгновенных действий, — от них Уони скрывался шутя.

Часовой прислонился к стене склада и совсем расслабился, сник головою. Скользя по траве, Уони подполз вплотную к столбу, привстал и охватил под нижний край бревно руками. Его спина бугристо выгнулась, столб, выворачивая глину, вышел из земли. Уони поставил его на твердое место, нырнул под проволоку и в два прыжка проскочил пространство в двадцать шагов. Один мешок с крупою он вскинул на плечо, второй прихватил под мышку. Метнулся прочь, зацепил колючий провод и тут же канул в глубокой пухлой тьме.

Гул колючей ограды встревожил часового. Сквозь дремоту он будто бы видел в отсвете фонаря бурью мохнатую спину, продрали

глаза, вспомнил, что с минуты на минуту будет смена караула, и, чтобы не смешить зубоскалистых товарищей, решил ни о чем не докладывать.

Ни второй, ни третий часовой в ту ночь у склада ничего подозрительного не заметили. Столб за кухней торчком висел на проводах, и только утром младший офицер заметил невероятное: такой столб мог выдернуть разве что громадный медведь, слон или экскаватор. Однако гималайский медведь был невелик, слонов не водилось, а экскаватор никто не доставлял.

Полковник Билл Сайрус приказал вырыть столб на место и усилить ночную охрану. Пропажу двух мешков крупы из штабеля повар заметил не сразу, но тут же решил, что запамятовал и потому не вписал пару мешков в прежний расход. Во всяком случае разговора о перловой крупе не возникло, но столб, выдернутый прямо из земли, долго не давал всем покоя. Возможность проникнуть таким способом на территорию лагеря тревожила и уводила в самые невероятные домыслы. Доклад о происшествии пошел в вышестоящие инстанции. Полковник Сайрус запросил партию бетонных столбов и новые рулоны колючей проволоки. Через трое суток, громоверожно рыча, вертолеты опустили на тросах бетонные столбы, взревели, ввинчиваясь в небо, и сотрясенный воздух породил в горах множество обвалов.

* * *

Отворотив полутонный камень, Уони швырнул мешки в подземелье. Потом уцепился за край камня, навалил изнутри на вход и опустился в темное жерло сам. Он привычно задержался во тьме на внутреннем каменном выступе, пошатнулся, подправил каменную глыбу, чтобы легла плотно, но образуя небольшую щель. Всякий раз, когда Уони выходил наружу, камень перекатывал наверх, чтобы глыба нависала над входом. В таком положении камень легко поддавался и сползал книзу, прикрывал зияющий вход. В сплошную темень подземелья сквозь узкую полуулунную щель врезалась полоска света или мигали блестки звезд, и это помогало видеть камни, стены и лагуну.

Уони взял мешок, рванул зубами за угол. Плотная ткань треснула, оторвалась полоской. Неподалеку от лагуны Уони насыпал в полуметровую каменную выемку крупы и заплескал ее водою: через сутки (Уони это знал) зерно набухало, и было сладостно жевать его, не хрустя зубами. Вот уже неделю Уони пробавлялся сухой травой да ловил кузнечиков и теперь, зачерпнув горсть зерен, принялся жевать их, торопливо дробя и глотая. Он заметил переполох в лагере только утром, потом видел, как лагерь опоясал второй ряд колючей проволоки на бетонных столбах. Один мешок крупы предстояло поднять по отвесной стене наверх в скальную пещеру — в главное жилье, чтобы иметь запас на зиму, второй — оставить в пещере нижней у лагуны. И отец, и мать Уони одолевали отвесный путь только ночью. В леса и в горы приходили люди — они имели огненный гром. Уони помнил, как в недавнюю пору за горным хребтом жила вторая семья. В то время по первому просвету утренней зари отец выходил на скальный выступ, широко напрягал могучее горло и посыпал соседям жуткий, на десятки километров движимый звук. Звук не был похож на вой или на крик. Из глубин горла исходящий, он сначала наступал на пространство трубным и тяжелым густым — «Уу..!», за которым, поднимаясь все выше и выше, перекатывалось наступающее — «Ооо!..» Этот последний звук переходил в шипящие ноты и, набирая силу, взвивался свистящим звуком «Иии!..». В общей сумме голос совмещался в протяжное — «У-о-ни!», где оконцовка в высоте, немыслимо выбириющей, поначалу резала ухо, а потом становилась неслышимой, неуловимой простым слухом. Этот неслышимый звук не знал границ в пространстве. С выюокого хребта, с пятидесятикилометровой дали приходил обратно такой же ответ соседа. Так всегда издавна начинался новый день.

Ощущив одиночество, Уони много раз по утрам взывал в пространство. Ответ не поступал. В ту сторону из лагеря пробрались свирепые люди, и голос соседа умолк, возможно, навсегда. Уони помнил запах тех людей, смешанный с потом, табаком и виски. Люди ушли за хребет, и там трещали выстрелы и грохотали взрывы.

Дождавшись следующей ночи, Уони отворотил камень, вынес один мешок наружу, завалил вход, схватил ношу, промелькнул меж скалами, подошел к отвесной стене. Вскинув на плечо мешок, он прихватил его за угол зубами и стал приемисто взбираться вверх. Осень, сухая, обычная для здешних мест, не увлажнила камни. Ладони и стопы плотно ложились на выступы, и свою ношу Уони понес наверх без особого напряжения. Но перед самым подъемом на скальный выступ мешок заерзal на спине, пошатнул в обратную сторону. Уони напряг шею, влип пластом в неверные камни, уравновесился и, медленно вползая наверх, наконец-то достиг пещеры. Мешок спрятал в угол — на зиму в запас. По осени еще удавалось изредка поживиться корешками, зайцем, сурком, схватить ночью солнечную куропатку, а когда на горы ложился снег, улетали птицы, звери спускались к долинам, тогда Уони грозила голодная смерть. Так умерла его сестра, потому что высохла и не смогла спуститься вниз, потом погибла мать, у которой не хватило сил перескочить пропасть. Уони был молодой и могучий. Он пережил уже шестнадцать снежных зим. В отчаянье и яности он в ту зиму сумел перескочить через пропасть и жил какое-то время в подземелье у лагуны, собирая у входного камня жуков и червей, которые наползли под камень с осени. Однажды он услыхал сверху шорох лап. Снаружи шел медведь. Видимо, кто-то спугнул его с зимней лежки. Уони никогда не трогал медведя. Медведь мог становиться на задние лапы и был чем-то похож на сородичей Уони. Теперь же голод заставил Уони выйти навстречу зверю. Медведь был стар и опытен, Уони молод и силен. Зверь понял, кого встретил, взревел, угрожая, и бросился наутек. В пять скачков Уони настиг зверя, — от удара ладони хрустнула медвежья широкая спина. В ту зиму мясо спасло Уони, и он остался жить там, где родился, — высоко, в пещере, на скале.

С рассветом, едва наплывающим в небо, Уони вышел на карниз у входа в пещеру. Полупрозрачные, клочковатые облака тихо плыли по ущелью мимо его ног. Горные хребты и скалы, торжественно нагроможденные, величаво отступали вдаль. Нацелив темный взгляд в пространство, Уони расставил руки, поднял ладони, слегка откинулся голову назад. Мех на спине, мгновенно наэлектризованный, тихо потрескивал, от-

давая разряды в неподвижный горный воздух. Волна напряжения, прихлынув с затылка, направилась к вискам и где-то в глубинной тьме его глаз сосредоточилась в единый импульс зеленоватого свечения. Поток незримых волн, объединенных с импульсивными разрядами, прошел сквозь расстояния. Плавно, будто опасаясь спугнуть невидимую дымку, Уони провел взглядом полукружье дальней дали и не столкнулся ни с чем, что дало бы ему такой же ответ. Где-то впереди, километрах в двадцати, по горам пробирался медведь: его живые импульсы Уони усвоил с детства; внизу у предгорья воспринимались люди, — и никто больше. В тоске и тяжести Уони извлек горлом низкий гул — «У-у-у...» — потом взял выше в тональности, ревущей и протяжной, но постепенно взвился щемящей пронзающей резью, резким полусвистом — «И-и-и!» — направил силу в неуловимый на высших вибрациях звук. Умолк и замер. И не нашел ответа.

Глава II

Перебегая от камня к камню, Шакир помнил, что в автомате последний рожок, и потому был одиночными — экономил патроны. Наконец последний щелчок порожнего автомата кольнул его предательски в сердце: Шакир почувствовал, что обречен. Его оглушили, навалились и поволокли по горным тропам. Потом в дурном туманном полусне, в сосущей тоске и безысходности, он машинально передвигал ногами, и джуниды не зарезали его. С ним вместе уводили еще пятерых односельчан. Бандиты весь день уходили в горы и двоих ослабевших парней закололи в пути. Очнувшись окончательно, Шакир понял, что его доставят в лагерь вербовки по ту сторону границы, и старался запомнить тропу, по которой вели. На привале пленным швырнули по лепешке и дали по кружке воды. Двоих декхан, взятых в плен, Шакир не знал. Они пришли в кишлак накануне — купить урюк — и не ко времени угодили под налет. Доверять людям незнакомым было опасно, и все-таки Шакир тихо спросил: «Что делать будем, почтенные?»

— «Все в воле Аллаха», — сказал пожилой и равнодушный. Молодой, сидевший рядом, сверкнул глазами и ничего не ответил.

Тропа повела по крутыму откосу. Камни из-под ног, срываясь в пропасть, гулко отзывались где-то внизу. Джуниды шли медленно: каждый что-то нес — ковер, самовар, узел с награбленным тряпьем. Щербатому бандиту с перебитым носом осо-

бенно мешал самовар. Он перекладывал ношу с плеча на плечо, отступался, пыхтел и злился. «Эй, ты, — прохрипел он Шакиру. — На — неси!» Шакир взял самовар, поместил на плечо и, осторожно ступая, двинулся вслед. Сквозь мягкие постолы из воловьей кожи он нащупывал каждый камень, и оттого шел ровно и не спотыкался. Ботинки джунидов с высокой английской шнурковкой сшибали камни, месили щебенку.

Уклон надвигался все круче и круче, и тропа неровной нитью врезалась в откос. Бандит перехватил взгляд Шакира.

— Полезай туда, пес, — сказал он лениво и подал Шакиру тесак. — Запомни, — добавил он, — плов варю я, а ты будешь таскать дрова и готовить чай.

Рябой ведал в банде кухней и, заполучив раба, теперь чванился.

Шакир засунул тесак под пояс за спину и, упираясь ногами о стены расщелины, стал осторожно взбираться вверх. Расщелина уходила к небу метров на сто и постепенно сужалась у просевшего здесь острого горного хребта. Взбирайсь, Шакир опасался, как бы кто не выстрелил снизу ради забавы, но как видно страх перед Джихангиром, начальником, не позволял бандитам позабавиться. Если Джихангир не выпьет чаю и не выкурит кальян с гашишем, он может расстрелять кого угодно. Бежать джуниду тоже некуда: родины нет, а на базе дают деньги, на которые можно купить гашиш, опиум, кокаин и женщину.

Взобравшись по расщелине к острой седловине хребта, Шакир оседлал выемку, взмахнул тесаком над засохшими ветками, когда звук, протяжный и трубный, прокатился по ущелью. Звук наплыval густой волной — «у-у-о-о!» — и, постепенно возвышаясь, давил с нарастающей и неодолимой силой. Ни на что не похожий, он вливался в грудь нервной щемящей дрожью, забивал наглухо уши и проникал в мозг всепоглощающей нотой, которая, взвиваясь ввысь, подавляла волю, и не было силы воспротивиться, оторваться от этой подспудно уводящей куда-то власти.

Шакир невольно выпрямился, опустил тесак и, — словно вдохнув поток горного воздуха, наполнил странно сжатые дыханием грудь, сосредоточил взгляд в невидимой точке. Из этой точки на высоте неведомого звука шел на него поток громадной силы, и, ощущая в теле окрыленность, Шакир не испытывал страха. Совсем иным, грохочущим потоком звук прогремел по сумраку ущелья. Стиснутый горами звук сомкнулся, ударился о стены, всклубился грохочущим эхом и, возышаясь до щемящего свиста, сдавил сердце, и наполнил разум безумием и страхом. Байдиты попадали ниц, кто-то завыл в

сумасшедшем припадке. «Шайтан-Кермек», — успел сказать пленный старик и потерял сознание. Звук оборвался на высшей неуловимой для человеческого слуха ноте, но сила его была такова, что не позволяла людям пошевелиться еще с полчаса. Словно игла, пронзившая мозг, звук превращал существование в отрешенность от мира сего.

Шакир на скальной седловине очнулся первым: к нему не дошел резонанс, не ударило беспорядочное эхо. Он глянул вниз на парализованную банду, оглянулся и заметил, что спуск по другой стороне седловины не так уж крут. Но силы уже не было:

Шакир пригнулся и медленно опустился в ущелье.

Как только Джихангир одолел безволие и отрешенность, страх совсем обозлил его. Изрыгая проклятья, он принял пинками возвращать бандитов в чувство, Джинахир был истым мусульманином, но не суеверным. Он не раз слышал о звуковом оружии на низкочастотных колебаниях, и решил, что кто-то такой штукой теперь забавляется. Вместе с тем он никак не мог подавить в себе страх. Да, он действовал, злился, орал и бранился, но в его груди неизбыtnым пластом лежал страх. Когда банда очнулась, Джихангир подошел к пленным: старик лежал еще недвижимый, молодой корчился в конвульсиях. «Вай-яй, сдох, и этот сдохнет», — прошептал Джихангир, чувствуя, как ужас снова разрастается в нем. Он глянул вверх и, не заметив там Шакира, решил, что тот свалился куда-нибудь в пропасть. Молча и ни на кого не глядя, Джихангир сначала тихо, потом все быстрее и быстрее направился прочь от заключенного места. Банда помчалась за ним.

На базе в кабинете полковника, куда Джихангир прибыл для доклада, в кресле сидел сухощавый небольшой человек. Бледное, холеное, старческое лицо человека, ничего не выражавшее, мешало Джихангиру: после недавнего пережитого ужаса и злобы он говорил сбивчиво, привирая в свою пользу не так, как бы того хотелось. На каком-то слове Джихангир запнулся, вспомнив страшный голос и мрачное ущелье, и слова о пленных как-то некстати сорвались у него с языка. Он тут же поспешил сообщить, что все пленные подошли, кроме одного, а банда вернулась не в полном составе: четверых выбил отряд самообороны, а один погиб в дороге. Полковник был недоволен тем, что банду нельзя пополнить за счет крестьян, захваченных из кишлаков.

Главный босс лагеря, распорядитель, судья и каратель полковник в этом пустынном месте имел все права. Он смотрел в лицо Джихангира выцветшим стальным взглядом, и Джихангир понял, что разумнее всего ничего не придумывать и не врать. Он поклялся Кораном, что виноват во всем Шайтан-Кермек.

Джихангир всего больше опасался вычетов из той суммы, которую ему обещали в случае успешного налета на кишлак.

— Послушай, Прайт, что мелет этот непромытый, — сказал полковник по-английски. — И не та ли это находка, о которой ты говорил?

Прайт плохо понимал тюркское наречие, но из того, что он услышал, ему удалось услыхать главное.

— Ты можешь неплохо заработать, Билл, если выудишь у этого дикаря все подробности случая. Итак: место, время, ощущение на воздействие этой, как он говорит, шайтановой силы и срок психического ступора.

— Профессор, вы не знаете джунидов. Даю сто долларов против десяти, если не накурились гашиша и опиума — там в этом поганом ущелье. К тому же они способны к самому глубокому религиозному самовнушению вплоть до галлюцинаций.

— Я заплачу втрое, если все, что он сказал, окажется правдой, — заверил Прайт.

— Джихангир, — заговорил полковник по-турецки, — профессор обещает заплатить тебе триста долларов, если ты не наврал про это, как его там, ваше горное чучело.

— Клянусь Аллахом! — истово воскликнул Джихангир. — И пусть этот неверный, — Джихангир презрительно скосился, — сходит туда, где потеряет свой жалкий разум!

Теперь Джихангир убедился, что военное ведомство к тому случаю не имеет никакого отношения.

Спустя час военный вертолет с профессором на борту взял курс на юго-восток через горы, а еще через двое суток восемь тяжелых машин опустились вокруг базы и на взлетной площадке. Взвод солдат спецназначения выгрузил ящики, и в тот же день неподалеку от базы в квадрате из новой колючей проволоки забелели палатки научной экспедиции профессора. Профессор Прайт, биолог, археолог, антрополог и главный советник одного из концернов химических соединений был человеком энергичным и предприимчивым. Он за сутки в полную меру развернул свой походный лагерь с автономной электростанцией, с подзорными и астрономическими трубами, с локаторами и приборами ночного видения. Полковник был очень удивлен вторжением в его дикие владения научной экспедиции. Мало того: приказ высшего командования предписывал ему отныне и вне всяких сроков и возражений охранять лагерь Прайта, для чего был дополнительно выслан целый взвод солдат. Предписывалось также: всех джунидов, кроме участников последней вылазки, перебросить в другой лагерь, в другую часть. Сам полковник поступал в полное распоряжение профессора и был обязан помогать всем изысканиям его науки.

Глава III

Горы в сизовато-мутной полупрозрачной дымке, взгроможденные и немые, слегка осветились зарею, когда конный дозор вышел на тропу, ведущую вдоль пограничного ущелья. Цокот копыт по извилистой ленте горного перехода звонко разносился по ущелью. Ущелье тянулось с запада на восток и служило надежной защитой — естественной границей в этом безлюдном и неуютном крае. Километра через три в ущелье с южной стороны вонзился узкий сумрачный отрог, откуда было легче всего подойти вплотную к границе. Бойцы дозора Фома Новиков, Михаил Васильев, Илис Садыбаев ехали не торопясь, и как всегда с чужой пограничной стороны видели их. Дозор, обычный на границе, напоминал, что граница не пустует. К тому же через ущелье всего труднее было попасть на эту сторону. Впрочем, на такие вот, казалось бы, неприступные места имелись свои средства: перекидные лестницы на тончайших, во тьме неразличимых тросах, дельтопланы, управляемые парашюты, реактивные устройства. Два месяца назад ущелье перескочил «кузнец» с реактивной ранцевой системой за спину. Прыжок в два километра, — и благополучно приземлился, минуя границу и заставу. Этот небольшой отрезок южной границы был постоянно напряжен. За горами гнездились лагеря и базы, откуда по тайным тропам бандиты подбирались к афганским дорогам и кишлакам.

Дозор ехал не торопясь, сержант время от времени просматривал в бинокль горные складки, старательно исследуя расщелины, бугорки и камни. Сержант помнил камни, расщелины, бугорки и осьпи наперечет, пометил их на карте, и теперь провеврял, не появился ли где в затейливом ландшафте новый камень или выступ. Однажды «кузнец» засел по ту сторону за громадным камнем и с неделию наблюдал за пограничниками, выверяя время их появления и срок, за который они проезжали тропу. Потом он вышел к ущелью, и сержант приметил невзрачный, но лишний валун на той стороне. Валун приткнулся в расщелине и хорошо сливался с общим тоном гор.

— А взгляни-ка, Илис, что там за штука, — сказал сержант передавая бинокль, — у тебя глаз самый верный.

— А я и так вижу, — отвечал Илис. — Вон там — за большим камнем что-то есть лишнее.

Тропа вела в скальный распадок, скрывающий всадников с головою. Здесь находился дозор оптического и визуального наблюдения. В поле зрения попадал отрог, ведущий к уще-

лью, и все подходы по ту сторону границы. В скальной гряде была скрытно вырублена довольно обширная ниша. Туда вела дверь, искусно замаскированная под камни. Пересмена скрытого дозора проводилась внутри скалы. Отдежутив свой срок, трое солдат садились на коней и ехали обратно. С противоположной стороны всегда в одно и то же время видели трех всадников, которые проезжали вдоль ущелья туда и обратно. Ребята потянулись к окулярам, чтобы разглядеть, кто объявился на той стороне.

— Хать ты, черт, — сказал Миха, — спрятался.

— Ничего, не днем — так в потемках обнаружим, — обещал Фомка, проверяя приборы ночного видения. — Куда он денется. Если новая блоха — пусть прыгает. Сейчас заставу предупредим. Если через ущелье полезет — лишь бы на рулетке обратно не нырнул. И так и так выждать надо.

— Нет его там, — осматривая местность, определил Илис.

— Уполз, наверное. Когда ехали — был, теперь — нет.

— А ты откуда знаешь? — спросил Миха.

— Я знаю, и отец знает, и все знают, — Илис пожал плечами. — Когда есть живой, — понимать можно.

— Как так?

— А вот так. — Илис тыльной стороной ладони коснулся лба, глубоко вздохнул и, слегка прищурив вдруг засверкавшие глаза, повел лицом из стороны в сторону. — Когда есть вокруг живой — медведь, олень, рысь, волк, — тогда чуешь. По сердцу дух погладит лапой, и совсем немножко страх есть.

Илис развел в себе точку подсознания в соприкосновении с живым. Такое вызревает в охотнике с детства, и за много поколений передавалось, вероятно, уже по наследству.

Теперь в пору юную его выручал надежный индикатор от неожиданной встречи или неведомой беды.

— Отрог совсем залез, — подсказал Илис. — Вон — смотри за камнем трещины расползлись — так он по той, что глубже, успел проползти. Ночью ждать будем.

На южной горной границе в октябре-ноябре прохлада подбирается к долинам с горных перевалов и хребтов. Еще тепло, а воздух особенно прозрачен. Легкая испарина поднимается к вершинам. Раннее солнце, пронзительно-яркое, окинет розовой поволокой эту облачную белизну, опахнет лучами вширь, и возвдвигнутся вдруг горы, ясные и величавые.

Спрятав лошадей в глубоко врубленной скальной галерее, ребята еще какое-то время наблюдали за расщелиной, но было время пересменки с ее обыкновенной торопливостью и некоторой суетой. По каменным ступеням, вырубленным внутри скалы, ребята разошлись по трем постам: на пост визуальный,

оптический и локационный. Через свободную, отлично замаскированную щель наблюдал Илис, через оптику Фомка, у экрана расположился Миха.

— Илис, — спросил Миха, — ты чаю хорошего заварил?

— А как же, — заверил Илис улыбчиво. — Самый большой термос с кухни взяли.

— Вот хорошо. Всякий раз, понимаешь, по утрам набегает в глаза какая-то муть. На экране чисто, а в глаза набегает маковая рябь — даже мельче. Не пойму — в глазах это или с экрана. Ерунда какая-то. Будто что-то давит, и в ушах не то вой, не то свист.

— Через оптику обнаружений нет. Я все просмотрел. Радар мы давно бы обнаружили. Поживем — увидим, — обещал Фома.

Отдежутившая смена быстро села на коней, и по ту сторону границы отметили в очередной раз, что конный патруль из трех человек, как обычно и в положенный час проехал вдоль ущелья туда и обратно.

Внутри скалы томила сухость. Солнце за день нагревало камни, которые и за ночь не успевали остывать. За лето скала вбирала так много тепла, что с наступлением холодов дышала теплом еще недели две, пока не превращалась в стылую глыбу, источающую нижущий, холод. В конце сентября жара и сухость пока что давали о себе знать: хотелось пить, слипались тяжелеющие веки, и всякий раз ребята брали с собой большой термос крепко заваренного чая. Илис особенно хвалил службу с чаем. Подвижный Миха поругивал сидение у экрана. Фомка ворчал, но дежурил упорно, внимательно и терпеливо. Миха ему порядком надоел с его странным разговором про рябь, про что-то нахлынувшее, про то, что он будто бы видит небо изнутри, а не как обычно, и будто бы что-то ждет, а чего — и сам не знает.

Чтобы пункт наблюдения не был обнаружен, связь по радиции разрешалась только в чрезвычайных обстоятельствах. Скрытый кабель подавал сюда электропитание, был и телефон. Однако телефон тоже молчал круглые сутки: современная электроника позволяла подслушать телефонные переговоры и не подключаясь к кабелю. Отсюда не светили инфракрасные излучатели ночного видения: инфракрасный луч не составляло труда обнаружить через специальный окуляр. В скалу посыпали ребят надежных, крепких, бдительных. Когда большой луч армейского локатора сквозным потоком шел поверх скалы, подключался просмотр по нижнему горизонту из скалы. В таком случае по ту сторону границы ловили общий поток излучения на единой частоте.

Миха поставил прибор на прием внешних сигналов, поудобнее устроился в жестком кресле и успокоился. Фомка, прильнув к окуляру, направил линзы стереотрубы в глубь отрога. В сизой затаенной глубине, вероятно, было холодно и сырое. В начале отрога сквозь скальный пласт просачивалась капельки воды, образуя узкий ручеек, шириной в ладонь. То тихий, то речистый ручеек сбегал в неширокое и плоское каменистое дно отрога. Фомка по сантиметрам осмотрел дно отрога, задержал взгляд на двух валунах, на которых давным-давно изучил каждую трещину, — ничего: пусто, тихо, первозданно и мертвое. Горные ручейники и те не появлялись в отроге: птицы жили дальше по широкому распадку основного ущелья, где сверкало солнце и Шумно мчался горный поток. Не обнаружив ничего нового. Фомка прикрыл веки — дал передохнуть глазам — и снова навел окуляры. Теперь он проверил стены отрога — одну, потом другую. Здесь вдоль отвесных стен имелись крутые защелины, под прикрытием которых кто-то мог спуститься на дно в тридцатиметровую глубину на трофе или с помощью рулетки. Отрог довольно близко подходил к отвесной стене ущелья, откуда начинался наш пограничный рубеж. И опять — ничего, все спокойное никаких подозрительных признаков. Фомка изучил каждую пядь отрога, но его оконечная глубина, самая дальняя, узкая и мутная, не просматривалась насквозь. Повременив немного. Фомка нацелил туда стереоскопическую вилку и, кажется, заметил там в сизом тумане что-то расплывчато живое. Фомка отчеканил до предела резкость и тут же понял: по узкой конечной прощелюине отрога, опираясь руками и ногами о стены, осторожно спускался вниз человек.

Не достигнув дна, человек завис метрах в двух, как видно выбирай место, куда спрыгнуть, неловко оскользнулся и сорвался вниз. Минуты три он лежал. На темном дне виднелась его грязная чалма. Фомка отрегулировал поточнее наводку. Человек поднялся. Он был одет по-крестьянски — в шаровары, рубаху, безрукавку, обут в грубые сапоги. На границе никому не новость: диверсанты рядятся по-всякому, но экипировка для здешней местности не обойдется без скалолазного снаряжения или реактивного ранца за спиной. Этот ничего не имел. Человек, поглядывая вверх, осторожно пошел по отрогу.

— Илис, видишь? — спросил Фомка по внутренней телефонной связи.

— А как же — все вижу. Только что доложить собрался.

— Миха, у тебя что на экране?

— Пусто.

— Включи досмотр по нижнему профилю ущелья.

— Хать, ты черт, — спустя минуты три потихонечку воскликнул Миха. — К нам идет...

Человек, слегка прихрамывая, осторожно шел по отрогу. У каменистой выемки человек присел и долго пил воду. Потом он омыл лицо, руки, стал на колени, обернувшись к востоку, и трижды поклонился, коснувшись лбом земли. Помолившись, он пошагал смелее. Перед выходом из ущелья остановился, осмотрелся вокруг. Теперь, вне всяких сомнений, за ним наблюдали и с той стороны. Через оптику довольно четко обозначилось его лицо, еще молодое, исхудалое, в черной щетине давно небритой бороды. Внимательно оглядев каменные стены ущелья, человек, вероятно, заметил узкую трещину, ведущую вверх. Скальная трещина могла вместить человека и кончалась туником под скалою. Человек подошел к расщелине.

— Куда его шайтан несет, — сказал Илис. — Упрется в тупик, а потоп вниз полетит.

— Аркан бросать надо, — сказал Илис. — Я кину, а он поймает.

— Поймет ли, зачем ему петлю кидают, — усомнился Миха. — А вдруг подумает, что хотят его повесить. У них на той стороне это запросто.

— О, Аллах, — простонало снизу. И сколько можно разобрать афганское наречие: — Ты видно богом посланный человек. Я слушаю тебя...

— Держи! — Илис метнул в кольцо сложенный капроновый шнур.

Кольца взвились, дугой обогнули камень, и кто-то там прихватил шнур слабеющей рукою.

— Ногу, ногу в кольцо вставь! — командовал Плис. — Вцепись и жди, когда потянем!

Помедлив, шнур натянули, и несчастный медленно выполз из щели. Он завис, закачался над обрывом, и трое крепких парней подняли его наверх.

Глава IV

Полковник Билл Сайрус недоумевал: «Кому-то понадобилось в верхах навязать ему экспедицию Джия Прайта?!» Джиль Прайт в науке стоял где-то в средней значимости ученых величин. Он не обрел громкой известности, не напечатал ни одной сенсационной статьи, однако имел какие-то прочные связи с концерном, ведущим разработки в области органических соединений и, естественно, интересующимся проблемами экологии

и окружающей среды. Нет, такое предложение не годилось: полковник, можно сказать, вынянчил на собственных руках эту базу, этих головорезов, озверелых ребят с железными нервами, которых не пугала никакая кровь. Как учебно-диверсионный пункт база не имела себе равных, но теперь это детище Билла Сайруса должны расформировать и сделать из него придаток Джилия Прайта в каком-то непонятном качестве: либо для охраны, либо для ловли горных козлов в диких отрогах Памира.

Весь лагерь перевернуло, все пошло на переделку. Сюда на вертолетах перебросили три строительных роты, и грязные потные метисы долбили каменистый грунт, рыли подвалы, а учебный зал для тренировки по системе каратэ перегородили на секции с отдельными терморегуляторами. Вместо снарядов для тренировки мускулов появились пробирки и колбы с какой-то гадостью; рядом с локатором поставлены еще два с компьютерной особо тонкой подстройкой, тут же — раструбы звукоулавливающих и звукозаписывающих устройств, а к ним — приборы ночного видения и мощная телескопическая оптика. Звукозаписывающие устройства давали стереофоническое воспроизведение каких-то идиотских шорохов и звуков, оптика позволяла разглядеть морду сурка в норе. Ко всему тому имелись портативная оптика, портативные локаторы и, наконец, особые улавливатели магнитных волн, — все это стоило больших денег, вызывало немалую досаду, и полковник с удовольствием напустил бы сюда парочку свирепых банд, но приказ есть приказ: полковник не хотел раздражать вышестоящее начальство и, поумерив гнев свой, переложил строительные заботы на нижние чины. Таким способом на случай каких-либо неурядиц полковник подстраховал себя. Сверху было строго предписано: «Закончить переустройство лагеря в десятидневный срок». Время — десять дней пока профессор будет торчать в ущельях Памира с джунидами и с особо приближенными сотрудниками лаборатории.

* * *

Джихангири на вторые сутки привел экспедицию Прайта в то ущелье, где совершенно непонятная парализующая волю сила сковала отряд. Профессор Прайт, тощенький, худосочный, въедливый старичок, вызнавал обстоятельства и подробности этого случая иезуитски дотошно и настойчиво. Холодный, редко мигающий взгляд профессора был противен Джихангиру, и как истый мусульманин он готов был перерезать этому неверному горло. Пустоглазый гяур не прочел и строчки из Ко-

рана, однако имел власть, и даже полковник исполнял его волю, а власть Джихангир уважал всего больше.

Шесть дней кряду, не разжигая огня, экспедиция скрывалась в холодном сумрачном ущелье. Локаторы, звукоулавливатели, магнитные антенны, приемные устройства высокочастотных импульсов и радиоволны сторожили напряженную тишину величавых гор. Буровато-сизые маскировочные палатки, сливаясь с общим фоном каменных нагромождений, ничем не отличались от камней и валунов. Выходить наружу строжайше запрещалось всем, и это сидение возле внутрипалаточных туалетов крепко раздражало Джихангира. Благо был гашиш, чай на походной горелке, пакеты готового плова, кальян, магнитофон и наушники, в которых журчала дивная музыка востока. Джихангир, человек активный и злой, даже при таких условиях наверняка взбесился бы, но за безделие обещали хорошо заплатить, и тогда Джихангир на неделю-другую сможет выбраться из диких неприятных мест — побывать в городе, в заведении и в богатой курильне.

Джихангир не знал, что всех, кто был свидетелем необычайного случая, Прайт приписал в непосредственное подчинение своей лаборатории, запретил отпуска и даже уход с базы. Всех остальных Прайт приказал выслать вон и заменить их подразделением свежих солдат.

За время службы Джихангир научился немного понимать английский, а потому из разговора Прайта с помощником уяснил, что всем здесь придется торчать до тех пор, пока не услышат голос Шайтан-Кермека. Слышать такое во второй раз Джихангир совсем не хотел. Да и вряд ли кто из его отряда пожелал бы еще раз оказаться парализованным, когда душа, ущемленная ужасом, подавляет разум, и сам ты себе кажешься величиною с иголку, а голова твоя величиною с горошину; иголка вонзается в мозг из твоего же собственного горла, и ты, ошеломленный и полумертвый, бываешь насажен на незримую и всевластвующую силу, которую невозможно понять. Джихангир чувствовал, что навряд ли во второй раз перенесет такое, и потому подготовил заранее шлемофон и вату, чтобы успеть вовремя заткнуть себе уши.

Слава Аллаху, Джихангир зaimел усердного слугу: Шакир умел готовить хороший чай, набивать кальян и варить отменный плов даже из пакетов. Шакир был пленным, и сначала Джихангир хотел вспороть ему брюхо, но Прайт каждого свидетеля того случая в ущелье приказал поставить на особый учет, — потому и Шакир вошел в состав экспедиции в качестве слуги начальника джунидов.

Но теперь вот звук, а возможно, непонятная вибрация, не появлялась. Сколько ни ловили чуткие звукописцы и локаторы дыхание гор, — тайная сила молчала. Но к рассвету на седьмые сутки Джихангир проснулся от щемящей в сердце тоски. Чувствуя, как не хватает воздуха в небольшой замаскированной палатке, Джихангир нарушил запрет и выбрался наружу: на площадке за камнями стоял на коленях человек и, воздев ладони, молился. Джихангир не мог нарушить молитву правоверного. Плевал он на Прайта вместе с его клистирами, с помощью которых тот хочет щупать горы. Молитва дороже, и по движению собственного сердца Джихангир угадал: человек избывает ту же тревогу и тоску, которая выгнала Джихангира из палатки.

Наконец, молящийся встал и неровной походкой направился к штабелю из ящиков, укрытых брезентом, среди которых он ночевал.

— Шакир, ты всегда молишься до зари? — спросил Джихангир полуслепотом и тяжко придухая.

— Нет, начальник, — отвечал также тихо Шакир, — душа тоскует, в глазах ломата и в уши что-то давит.

— Давит говорить? А не шипит ли у тебя что-то в ушах?

— Змеинный свист? Да? — оживился Шакир. — Такой самый-самый тонкий?

— Клянусь Аллахом, ты слышишь то же самое, что и я, — томясь тяжким предчувствием, заметил Джихангир.

Шайтан-Кермек глухими и слепыми нас хочет сделать, — чуть слышно прошептал Шакир.

— Вай, Аллах, — взмолился придавленный тоской и страхом Джихангир, — неверные пришли искать его, но мы тут, клянусь пророком, ни при чем.

— Как ни при чем? — возразил Шакир. — Разве не мы привели их сюда. Быть нам камнями или жабами, если не уйдем отсюда...

— Вай, Аллах, — сказал Джихангир, свирепея, — даже оставшись жабой, ты еще увидишь мир, сотворенный всевышним, но каждому, кто уйдет от Прайта, сломают ноги, вырвут глаза и бросят в горах подыхать. Ты всю жизнь ковырял землю и не знаешь, кто такой полковник Билл... Ступай, приготовь мне чаю, принеси в палатку и займись чем-нибудь.

Вскипятив по-быстрому чаю на походной горелке, Шакир положил на поднос горку сущеного урюка, вошел в палатку. В палатке горел батарейный ночничок, освещая небольшой столик.

— Поставь сюда, — приказал Джихангир, — и не приходи, пока не позову.

Шакир знал, что «вольный джунид» — так величал себя бандит, — будет пить чай, курить гашиш часа два не подпустит к себе никого. Шакир вышел из палатки. Небо только что опахнула пунцовавая заря, отчеканив в облачных разрывах вершины темных гор. Лагерь приглушенный, неподвижный ожидал чего-то. Шакир вспомнил, как по расщелине добрался к седловине, как там его спасала высота и простор. Шакир перебегал по камням ручей, углубился в неширокую расселину и стал подниматься вверх.

Он помнил, что по ту сторону седловины — там наверху — спуск не так уж крут, и если кто-то захочет догнать его, то по расщелине взобраться вверх будет не так-то просто, — на это уйдет время. Подхлестнутый тоской и страхом, Шакир взобрался вверх, слегка передохнул на седловине и стал сноровисто спускаться по ту сторону в горный распадок, чтобы выйти к отрогу, ведущему на север.

* * *

Записывающие устройства профессора Драйта зафиксировали странный двоякий диапазон колебаний — глубокий низкочастотный и ультразвуковой. Оба диапазона для человеческого слуха были вне восприятия, и как, каким образом они совместились в совершенно противоположных значениях и в едином потоке, — не представлялось возможным понять. Экраны портативных локаторов осыпало просяными точками; все, кто был в ущелье, подпал под резкую депрессию, ощутил недомогание, щемящую тоску и безволие.

* * *

Джихангир отхлебнул чая из широкой пиалы, вдохнул полную затяжку из дымного кальяна. Тоска улеглась, как только исчезло давящее шипение в ушах, но появилась взбудораженность от какого-то стихийного восприятия всего, что есть вокруг: теперь ему казалось, что все вещи, все предметы исподволь досматривают за ним, шпионят хитро и затаенно. Кто-то невидимый и незримый проник в темные тайны его души и наперечет выставил в его памяти тех, кого Джихангир зарезал, убил, завалил живьем камнями, кому вспорол живот или отрубил голову. Цепочка окровавленных, истерзанных, убитых, словно бисер нанизанных четок, переступая по невидимой нити, шевелилась, передвигалась в предсмертных конвульсиях, однако, не кончала жизнь последним вдохом, а продвигалась,

корчилась, жила. Обливаясь потом, обезумевший от гашиша и видений, Джихангир выскочил из палатки и, отгребаясь от чего-то руками, от навязчиво липнувшей к нему грязи и крови, бросился прочь через ручей. Вытирая руки, на которые все что-то липло, Джихангир заметил на противоположной стене ущелья узкий разлом, ведущий высоко на седловину. Джихангир нырнул в разлом и отчаянно закарабкался вверх.

Хрипя натруженными легкими, он задержался на седловине. Тут было легче: высотный воздух освежал, горный уклон, пологого нисходящий от каменной гряды, давал простор душе и взгляду. Передохнув, Джихангир вышел на громадный горный склон, и чувствуя, как здесь отступает ужас, побрел куда-то прочь без цели и смысла.

За каменным склоном открылся овальный провал — небольшая долина, окруженная горами с лужайкой и озерцом. Пелена утреннего тумана еще не улетучилась над впадиной. Озерцо на лужайке смотрело на мир полусонно, доверчиво, словно ребенок на заре, и Джихангир вдруг почувствовал, как он немыслимо устал. Устал за годы скитаний и каждодневной источающей злобы, устал от подчинения и собственной власти, где напряжение последней ночи выжгло ему нервы — отняло и силу, и волю. Джихангир добрел к лужайке, упал в траву и тут же заснул глухим мертвящим сном.

Он очнулся к вечеру. Быстро набегающие горные тени почти не оставляли промежутка между ночью и днем, однако сумеречь еще не сгостилаась, а над озерцом поднялась легкая испарина. Джихангир медленно, глухо осознавал то, что с ним произошло. Он осмотрелся и сначала увидел сам себя — в ботинках, в брюках, в нижней рубашке без оружия и даже без ножа. Привычный иметь тяжесть патронных подсумков, гранат, пистолета, Джихангир почувствовал себя разделым и беззащитным, как перед судом! Аллаха. Он твердо знал: злобу добром не заклинают, и потому он мог стать жертвой кого угодно и чего угодно — даже всякий бандит из его же собственного отряда мог застрелить его ради забавы. Сердце Джихангира екнуло и замерло, когда по ту сторону озерца он увидел человека. Человек, как и он, только что поднялся из травы и, вероятно, так же медленно приходил в себя.

Они долго смотрели друг на друга, пока не схлынула первая тревога.

— Эй ты! — прохрипел Джихангир. — Ты кто?

— Человек с минуту молчал, потом над гладью озерца прокатился легкий смех.

— Вай-вай, Джиганхир! Начальник, ты ли? — прозвенел бойкий голос. — Ты тоже сбежал?

— Я не сбежал, — пробасил Джихангир, — я с дороги сбежался.

— Э, кто теперь нам поверит? — вздохнул Шакир и перестал смеяться.

— Слушай, повар, — Джихангир окончательно разглядел своего слугу-пленного. — У тебя хоть зажигалка есть? В горах ночью нас задавит холод.

— Зажигалки нет, но как человек для твоей кухни я всегда имею спички.

— Собери-ка костер, — приказал Джихангир. — В этом проклятом месте холод так и валил откуда-то сверху.

В сумерки стужа и в самом деле хлынула в низину: тяжелый воздух с ледника быстро вытеснил дневную теплую испарину, так что за ночь здесь можно было и совсем окоченеть.

Шакир побродил вокруг, но не нашел ничего пригодного для костра: невысокая выгоревшая трава стелилась вокруг ровным ковром и не было ни хвороста, ни крепкого бурьянника.

— Начальник, — сказал Шакир, — здесь нечего жечь. Надо выбираться выше. Вон туда! — Он указал на горную площадку зарозовевшую в отблесках вечерней зари. — Там и кустарник прицепился!

Джихангир посмотрел на высоко вздымающийся горный склон, за которые на высоте метров в триста приютилась довольно просторная площадка, и место показалось ему подходящим. Там на высоте стылый воздух ледника проползает мимо, вниз. В другое время Джихангир раздел бы Шакира, но грозный начальник банды осознавал в себе силу только с автоматом в руках. В эти минуты сухой, мускулистый, сорокалетний Шакир был втайне страшен Джихангиру.

— Хорошо. Пусть так и будет, — небрежно согласился Джихангир.

Стремительно надвигалась темь. Вверху небо еще не рассыпало звезды, а в глубинах ущелий уже наступила ночь. Шакир заранее пригляделся к тому пути, по которому предстояло взобраться выше. Он приметил скалистый гребень, взгорбченный по склону, подобно спине громадной рыбы.

— Ты куда идешь? — спросил Джихангир резко и властно.

— Туда, куда волен идти каждый, — не повернув головы, ответил Шакир и шагнул дальше.

— Ты разве не видишь, где склон? — уже свирепея, остановился Джихангир. — Или ты слеп, как старуха? Ты хочешь сломать ноги в камнях и мне с тебе?

— Зачем беречь ноги, когда будет расплощена голова? — Шакир остановился. — Там осыпь! Посмотри на склон! Хочешь — иди!

— Собака... — проворчал Джихангир. — Выродок беспутной матери... Хотел бы я видеть, так ли ты говорил бы со мной в отряде...

Поднявшись метров на тридцать, Джихангир швырнул на уклон небольшой камень. Посыпалось шипенье мелкой осыпи, а за ним и грозный каменный гул. Гул вскоре притих, высвобождая душу из невольного страха. Осыпь сползла с небольшого участка. Джихангир переметнулся поближе к каменному гребню, где можно было отсидеться и спастись, когда лавина хлынет вниз.

До площадки можно было подняться часа за полтора, а каменный гребень даже в сумраке был различим и вел точно к площадке. Ступая ощущью меж камней, шли медленно и молча. Перед самой площадкой присели передохнуть. Джихангир проклинал тот день и час, когда ничем не объяснимая одурь помутила ему разум. Он злился и слал проклятия неведомо куда, но никак не мог избавиться от состояния какой-то подвластности, однажды наступившей на его независимость и волю.

Между тем Шакир принимал по-своему щемящий душевный настрой. «Я зла никому не делал, — рассуждал он. — Зачем Шайтан-Кермек мне будет делать худо?» Эта мысль в полной мере его утешала, а добродушный характер, словно влага в пустыне, насыщал сердце жизнью и силой. Прежде чем выбраться на площадку, Шакир встал на колени, воздел руки, коснулся лбом земли, поблагодарил Аллаха за то, что указал верный путь, и вышел на ровное место бодрый и независимый.

— Слава Пророку, — сказал Шакир, — здесь мы сможем переночевать.

— Проклятая круча! — проклиная собственную слабость, Джихангир отшвырнул ногой подвернувшийся камень.

Камень процокал на уклоне и, подавляя этот звук, что-то шаркнуло по осыпи громадным вздохом. Первый пласт камней и щебня сдвинулся, скувыркнулись камни, и вот уже все сотрясающий гул каменной лавины свирепым рокотом прокатился по долине. Мелкой дрожью заплясала под ногами земля, клубы пыльного тумана взвились к вершинам. «Уooo!» — раздался вдруг сквозь рев обвала пространство поглощающий голос. Джихангир окаменел: поверх обвала стремительно скакала могучая темная тень. Где-то совсем рядом существо мелькнуло темно-бурым золотистым мехом и в один мах вырвалось с бурлящей осыпи на твердую площадку. На мгновение в последних проблесках зари неведомый проявился весь — громад-

ный, стройный, с низко посаженной головой и угольно мерцающим взглядом. Шайтан-Кермек бросил взгляд только в Джихангира, и сердце грозного начальника сдавила незримая сила. С минуту он не мог дышать, в то время как Шакир стоял свободно, любопытствуя и не страшась. Шакир и сам не мог понять, почему в нем не проснулось чувство страха. Какой-то внутренний голос отзывался в душе крестьянина и говорил ему: «Ты добрый, — и потому зачем тебе страх?» Шакир видел, что Джихангир от внутренней слабости впал в безволие, что невыносимый ужас еще немного и разорвал бы в нем сердце, но горный дух исчез, а Джихангир еще минут пять видел перед собой лишь черное пятно и угольно горящие две точки. Очнувшись, Джихангир упал на колени и погрузился в странное небытие, похожее на смертный сон.

Шакир посмотрел на бандита, и мысль о том, что ему не-зачем вязаться с ним, сама собой родилась в его голове и повела по каменной площадке, за которой обнаружился довольно широкий уступ над обрывом. Светлая щебенка под ногами ясно обозначала край над пропастью. Осторожно ступая, Шакир обошел скалу и оказался на тропе, глубоко прорезанной меж горами. Тропа, бисерно извилистая, уводила на север к перевалу. Здесь веяло мирной и тихой дремотой. Камни, нагретые за день, отдавали мягкое тепло, на небе одна за другой драгоценной россыпью набегали звезды, чистый воздух наполнял тело бодростью, и сердце Шакира озарила радость, воля и покой.

Глава V

Очнувшись с первыми проблесками зари, Джихангир еще в полусне вспомнил дьявольское привидение, но теперь его голова, дотоле окоченевшая, понемногу оттаяла и восприняла мир таким, каков он есть. Внизу, покрытая прозрачным туманом, лежала неширокая долина — провал с озерцом, за ней — гряда гор и перевал, за которым осталось темное ущелье: оттуда Джихангир, утратив способность что-либо понимать, сбежал, как вспугнутый сурок. «Будь проклят тот, кто выдумал искать Шайтан-Кермека, — вздохнул Джихангир. — Эти неверные, эти бездельники, выродки шелудивой собаки суются повсюду. Впрочем, только ли бездельники. Говорят, за чучело Шайтана миллион дают». Проклиная экспедицию Прайта, небо и землю, Джихангир готов был заживо содрать шкуру с проклятого зверя. В таких делах Джихангир мастер. Еще не

наделся тот пленный, которому Джихангир не развязал бы язык. Джихангир даже не мог жить, чтобы не терзать какого-либо человека, вопли и стоны были стимулом его энергии, — это воспламеняло его злобный нервный экстаз, рассеивающий вокруг ужас. Только в таком состоянии Джихангир ощущал себя властелином. В иное время его мучили тоска и страх. Теперь злоба, тоска и страх перемещались в его душе, разрубили властное самообладание, и Джихангир с удесятеренной осатанелой силой изливал свою ненависть в события, в пространство, на весь свет. В то же время он совершенно ясно сознавал, что вряд ли сможет подобрать слова с свое оправдание, когда полковник Билл призовет его для отчета.

Джихангир сбежал — этого не скроешь. Куда? Зачем? — полковнику до того нет дела. Нарушен приказ, по которому Джихангир всего меньше должен был заботиться о собственной шкуре, охраняя экспедицию. Ссылка на какого-то Шайтана полковника не вразумит. Джихангир заранее видел, как его лишат премии и оклада, как посадят в сырой каменный бункер и как рад будет тупой бандит Кесем занять его место начальника. Но податься было некуда: на севере — граница Советов, на западе — Афганистан, на востоке и юго-востоке становища бандитов, а там пытки и каменный мешок. И все-таки надежда не оставляла его.

Сторонясь осыпи, Джихангир спустился вдоль каменного гребня в долину, передохнул у озерца и, нетвердо шагая, побрел к перевалу. За перевалом темное ущелье прорезало горы, на дне затаился лагерь профессора Прайта. Если экспедиция не ушла, то профессор Прайт обязательно займется психоанализом Джихангира после перенесенного стресса, и это избавит свирепого воителя от объяснения с полковником Биллом. Однако, накануне, профессор Прайт готовился сняться с места, и шестеро из банды Джихангира, что сопровождали экспедицию, могли уже вывести профессора со всем его скарбом на тропу, ведущую к базе. По той причине не имело смысла сразу спускаться по отвесным стенам в ущелье — лучше было пройти по перевалу вдоль ущелья до горного распада, а оттуда выйти на тропу, чтобы к исходу дня сойтись с отрядом или двинуться ему навстречу.

К нисходящему горному распадку Джихангир вышел в первой половине дня. Солнце выгнало испарину с ущелий, и причудливо клубясь, у вершин застыли мелкие курчавые облака. Горный распадок, шириной километров на пять, по мере снижения выглядел отрадней и богаче, здесь влага, настилаясь ежедневно, питала по склону густые травы, и на безветрии до поздней осени — живые цветы. Пучки мелко-

го кустарника, разбросанные по склону, оберегали жизнь мелкого зверя и птиц. Хотелось пить. Джихангир помнил: внизу воды нет. Травы насыщала испарина, а до воды идти еще километров восемь в сторону ущелья к скалам. В скалах обнаружится проход, за ним горный разлом, в разломе есть ниша, где вода, пробиваясь по каплям сквозь камни, собирается в хилький ручеек.

Привычный к переходам, тренированный и сильный, Джихангир быстро сошел вниз. Щебенчатое дно распадка просторной лентой тянулось вдоль. С весенним таянием снегов мутные потоки намывали сюда каменистое ложе. Мелкие камешки шуршали под ногами. Монотонный шорох притуплял мысли и желания. Солнечные блестки мерцали в каменистых осколках, и сквозь прищуренные веки Джихангир не видел ничего, кроме белесой и унылой каменистой полосы.

Так он шел около часа, когда услышал откуда-то со стороны: «Хелло, сэр!» Джихангир обернулся и увидел Прайта. Профессор сидел возле чахлого куста довольно обессилевший, но, как всегда, независимый и властный.

— Ты тоже убежал? — спросил профессор. Джихангир остановился.

— Все разбежались, расползлись, как ошпаренные тараньи, — с каким-то мрачным торжеством сказал Прайт. — Это — О'кэй, Джихангир! Это очень важно!

Путаясь в английском, Джихангир поведал, как бежал, шел, как едва не попал под обвал и как Шайтан, вероятно, слопал этого нечестивца Шакира, который совсем там пропал, но он, Джихангир, человек правоверный, был спасен Аллахом и может поклясться на Коране, что видел Шайтана почти в упор.

— Сейчас ты поведешь меня туда, — приказал резко Прайт.

— Сам иди... — ускользая от змеиной неподвижности профессорских глаз, посоветовал Джихангир.

— Ну! — Прайт выдернул кольт. — Вперед!

— Вон там видел его, — показал Джихангир. За те часы, что потратил он на переход к распадку и обратно, гнетущая одурь и страх отступили, и теперь Джихангира беспокоило: «Найдутся ли следы? Помоги, Аллах!» Этот сын шакала запросто всадит половину обоймы прямо в спину Джихангиру. Этот облезлый козел, на черепе которого, вероятно, никогда не росло волос, совсем не имеет никакой веры и даже клятву именем Пророка не признает за правду. Однако когда этот старый ишак задохнется на подъеме, когда у этой змеи истощатся силы, Джихангир сможет стукнуть его камнем по голове, и пусть тогда Шайтан сразу утащит в ад его проклятую душу.

— Стой! — приказал Прайт, угадав мысли и желания Джихангира. — Будем идти, как я скажу, а не так, как ты хочешь! Ты сядешь там! Я — тут! — Прайт слегка подкинул кольт.

Отдыхали с полчаса шагах в десяти друг от друга.

— Если ты захочешь, — снова заговорил Прайт, — что-то скрыть от меня, я отдам тебя таким же, как и ты, и они вместе с твоими мозгами вытянут из твоего языка все, что мне надо.

Да, этот старый пес проникал в сознание. Он смотрел на Джихангира змеиным немигающим взглядом, и сердце джунида, не знавшее милосердия, ныло, как под пыткой.

— Знай, — продолжал говорить Прайт, — тебе это не померещилось. — Бежали все. Один, как ты говоришь, исчез. Мне нужен след, примета от этого, как ты там говоришь, Шайтана. Тогда я скажу: «О'кэй!» Тогда ты сможешь даже стать компаньоном, акционером. Излови этого Шайтана, и ты будешь иметь миллион, два, три. За чучело этого зверя из его собственной шкуры общество антропологов тебе сразу даст полтора миллиона долларов. Я — председатель этого общества и действительный член академии наук в области антропологии. Я возьму себе только череп и мозг страшилища. Ты, наверно, понимаешь, что среди антропологов это главный предмет для изучения. Все остальное отдам тебе. Ведь никому не понадобится смотреть, чем набито чучело внутри! Не так ли, сэр?

Джихангир поддакнул.

— По двадцать пять долларов за вход выбросит каждый, — развивал перспективу Прайт, — как только услышат о том, что у тебя есть. А теперь идем!

— Правильно говоришь, профессор, — оживился Джихангир. — Торопиться надо. К вечеру горный воздух покатится вниз, — поднимет пыль, закроет след. Пропадут следы — откуда миллион получишь?

Почувяв деньги, Джихангир кинулся искать следы Шайтана. Осторожно ступая над осыпью, Джихангир увидел не менее чек метрах в пяти от последней вмятины неслыханно крупный человеческий след. Страх опять подкрался к душе Джихангира.

— Профессор, — позвал он полу值得一ком, — вон там... Прайт вылез на площадку, и в его старческом теле обнаружилась хищная сила. Он прытко засеменил от следа к следу.

— О'кэй, — сказал Прайт, — это то, что нам нужно.

Профессор достал из нагрудного кармана микрофотоаппарат размером чуть больше спичечной коробки, сфотографировал след. Достал опять-таки миниатюрную рулетку — измерил след.

— О, это сильный зверь, — ядовито и вместе с тем восхищенно отметил он. — Шестьдесят два сантиметра. Такой обуви не подберешь и в лучших магазинах.

— Вай, Аллах... — прошептал Джихангир.

— Шептать не надо, сэр, — скрипуче попрекнул профессор. — Это чудовище способно чувствовать на громадные расстояния и потому во всем опережать нас. Сейчас этот Шайтан где-нибудь за горами или на горе. Нам нужно определить прямую, направление к нему. И ты не вздумай вести сюда свою банду: Шайтан сразу поймет, что на него готовится облава. И тогда исчезнет и, может быть объявится где-нибудь в горах Индокитая. Все самые хитроумные ловушки на него не стоят и четверти пенса. Он чувствует все. Его надо умело выманить на оптический выстрел. Разрывными пулями перебить ноги, но не убить. Мне нужен его мозг, череп, от живого череп. Понял?

Вай, Аллах, — вздохнул Джихангир, предполагая, что профессор, безусловно, сумасшедший.

* * *

Напичканный приборами высочайшей чувствительности — локаторами, термолокаторами, низкочастотными и ультразвуковыми улавливателями, определителем магнитного и радиоактивного уровня, — вертолет весь остаток дня кружил над районом вероятного пребывания неизвестного страшилища. Оптика и приборы зафиксировали двух горных козлов, одного медведя и четырех орлов. Прайт приказал расширить поиски с приборами ночного видения. Вторая смена пилотов поднялась в звездное небо над громадами горных вершин.

— Эндрю, — спросил первый, — ты верить в этого черта?

— Зависни, Рэди, я только что видел на экране темную сырь.

— Не думаю. На земле просмотрим видеозапись.

Темная сырь на видеопленке непредсказуемо взбудоражила Прайта. Прайт очертил тонким овалом пометку на карте и тут же направил в этот район аэрофотосъемку. Едва сошел утренний туман, как масштабно увеличенные снимки обнажили все мельчайшие прощелыны в кружке, помеченном на карте. В промежутке диаметром в полкилометра сосредоточилось все напряженное внимание профессора, два отряда горных стрелков, отряд джунидов и четыре снайпера с крупнокалиберными винтовками оцепили предполагаемый участок, где могло затаиться чудище. Приборы ночного видения, перископы с предельной разрешающей силой, радары, звукоулавливатели, ультрачастотные приемники были расставлены на пятидесяти метров друг от друга, и возле каждого прибора вместе с наблю-

дателем дежурство нес стрелок. Специальный вертолет доставил к месту стальной шар с жидким азотом — на случай, если Шайтан по оплошности стрелков будет не ранен, а убит. Тогда его голову не позже чем за три минуты поместят в жидкий азот.

* * *

Обвал почти настиг его на склоне. Тысячетонный писк и шорох едва-едва ожившей осыпи Уони воспринял своим тончайшим слухом. Он не раз видел страшную силу сыпучих камней. В недрах сдавленной грозной лавины началось первое, никем не слышимое движение, но уже ощутимое для него. Только потом вслед за ним опасность почуяли звери, птицы, змеи. По скале, опасливо перебирая лапами, вскарабкался барс, спешно извиваясь, заторопилась змея, вспорхнули кеклики — горные куропатки, орел над скалами пошевелил крыльями и дал широкий круг. Почти неслышное шмелиное жужжание влилось в округлые уши Уони и пробежало по телу все более и более истончающейся нотой. Первые признаки оживющей лавины отвлекли Уони, и верно потому, пробираясь меж скал к долине с озером, он слишком поздно заметил пришельцев. Уони ощутил их присутствие еще до того, как им войти в долину, однако, отвесная грязь скал не позволяла ему видеть. Добравшись по узкому межскальному коридору на край осыпи, он вдруг увидел, как два извечных его врага идут друг за другом, и один враг стережет другого. Уони не понимал, почему люди меж собою тоже враги.

В небольшую долину с озером Уони приходил к вечеру. В это время сюда забредали архары, а за ними медведи. Медвежий рев гнал горных козлов вверх по узкой межскальной тропе. Затаившись за уступом, Уони схватывал козла, мясо которого давало силу. С тушей можно было спрятаться в подземной галерее и выжить до появления новой луны. Но теперь люди не позволяли ему спуститься в долину. Грозное предвестье зависнувшей каменной лавины проявилось гуще, цепенящей низкой нотой. Шаркнул пространный горный вздох, — лавина стронулась. Стремительно промчавшись поверх лавины, Уони выскоцил к площадке. Он промчался, как молния, но взгляд человека задел его. Этот взгляд еще жег его за скалой. Уони знал, как опасны люди. С соседней скалы Уони высleдил, что люди разошлись в разные стороны, но потом один из них вернулся и привел с собой человека другого. Эти двое долго топтались на площадке, а потом к ним прилетел большой ревущий жук. Теперь жук кружил в небе даже ночью. Уони застонался.

Он выбрал место в неглубокой выемке под камнем на скале, перебыл здесь ночь, а потом в полудреме, пригретый солнцем, пролежал здесь до вечера. Он отсыпался только в подземелье Туда сквозь каменную толщу не проникали ни звук, ни взгляд, ни яркий свет дня. Там в полу сумраке его мозг отдавал в пространство ритмический поток собственного проникающего импульса, а чувства иные отключались. Уони спал, и незримый поток, исходящий вовне охранял его. В другое время небо, солнце, звезды, месяц, травы, звери и птицы наполняли ему мир своим величим, радужным и пестрым излучением. Уони понимал каждый оттенок всего, что являло себя в этом многотысячном хоре, и мог выделить в сонмище опасность, предостережение, радость и удачу. Теперь удача не шла, и появилась опасность. Опасность вокруг и даже в небе.

Всего острее из дальней дали Уони воспринимал людей. В большинстве из них было притуплено доброе чувство. Когда на площадку пришли первые два человека, один из них не излучал хищной злобы, а второй был ядовит и опасен, как змея. Потом ядовитый привел третьего, беспощадного и мрачного. Зло привело с собой еще одно зло. Такое в горах встречалось нечасто. Здесь ярость утолялась вместе с утоленным голодом, но человека сытость не делала доброй.

От злых людей Уони пустился в стремительный бег по лощинам и скалам, но гул железного жука остановил его. Уони спрятался за глыбу. Потом прилетел жук другой. Выбирая мгновения, когда можно быть незамеченным, Уони добрался-таки до известной ему скалы. Тут имелась широкая яма, которая внутренним углублением уходила под громадный камень. С полдня под камень заглядывало солнце. Здесь Уони оставался незримым и ночью и днем.

В людях, что во множестве появились в долине, тупое равнодушие чередовалось с выплесками необъяснимой злобы, которую широким сферическим потоком излучал их мозг. У таких людей тоже что-то давит с затылка в надбровья, но от такого перепада в голове они не становятся более зрячими, а как раз наоборот — притупляются и быстро слабеют. Уони давно это заметил. Точь-в-точь такими бывают больные свирепые медведи. За такими следить легко, потому что в них глухнет способность улавливать живое вокруг. Они видят предметы, но не чувствуют их. В них нет защитной импульсивной отдачи, но не пропадает раздражение, которое разливается вокруг и предупреждает об опасности и зверей, и птиц.

Один раз, свирепо хрюя железным горлом, ночной жук пролетел прямо над ним. Уони вжался под камень, чувствуя беду. А на следующий день к полудню Уони засыпал шум, коль-

цом обнявший гору. Шум какой-то возни, запах человеческий и запах металла смешались внизу. Кое-где испарина еще не подняла все запахи к верху, однако напряжение людской цепи было явственным и ощутимым. В этой цепи, состоящей из людей и железных точек с приборами, Уони нашел небольшие промежутки, железные точки или смотрели на скалу стеклянным взглядом, или насылали пучки отвратительных знобящих частот. Другие — были страшны: они издавали холодный масляно-кислый запах и могли рвать воздух ударом и вспышкой, несущими смерть. Уони видывал не раз, как сраженная громом и пламенем жертва падала, пронзенная насквозь. Падали орлы, архары, медведи, падали люди, когда направляли друг в друга изрыгающие смерть острия. Теперь острия были во множестве нацелены на гору. Уони понял, что людям он добыча, и страшная сила заговорила в нем.

Громадный камень, под которым Уони скрывался, черной мрачной глыбой зависал над крутиной. Уони слегка подался из-под камня и сразу почувствовал всезрячие лучи нацеленных приборов. Он попробовал прорыться глубже в гору, но внутри горы не прислуживалось пустот, и только неприступный камень сплошным литьем заполнил скальную толщу. Жажда щемила горло, сухое дыхание тупо и приглушенно сипело под камнем, ныла спина, а внизу вокруг и в небе подстерегала смерть. Когда звезды, наивно мерцая, рассыпались в небе, чтобы взглянуть на мир, Уони сквозь прощель под камнем повернулся лицом к небу, нацелил взгляд в густую бездну вселенной и замер напряженный в чего-то ждущий. Дыхание неистребимой свежести проникло вдруг в него. Пространное движение вселенной дославо ему в грудь взрывную силу возмущения. Уони привстал, надавил спиной на камень, — гнев и воля сомкнулись в нем. Камень дрогнул, чуть-чуть подался набок многотонной тяжестью, соскользнул и рухнул с кручи, странно грохоча. Уони выпрыгнул из ямы, перевернулся в воздухе и помчался вниз, прикрытый устремленной спереди лавиной.

Обвал ударил узкой полосой. Посты кинулись прочь. Каменная глыба расплющила электронику и оптику, и вряд ли кто подумал, что вместе с камнем ушла и добыча.

Тroe суток кряду зловещая цепь сторожила гору. На следующие сутки вертолет завис над вершиной, и четверо стрелков по веревочной лестнице заняли вершину. Они обнаружили в яме чьи-то громадные следы и с десяток волосков нежного темно-бурого меха. Прайт сам вскочил в вертолет, взвился над горою и узнал все те же самые следы.

Прайт снял осаду. Он не сказал о том, что существо, ему нужное, обладает не только разумом, но и свойствами, кото-

рые превращают погоню за ним в идиотское посмешище. Теперь в руках Прайта была карта, а на ней очерчена зона пребывания Шайтана. Понял он и то, что приборы ночного видения, локаторы, магнитные улавливатели, приборы высоких и низких частот — убогий хлам, не способный найти контакт с биологическим импульсом Шайтана. Шайтан исчез, канул. Никаких импульсов, никакой сыпи на экранах, никаких ультразвуковых и сверхнизких частот не объявились в горах.

Вся экспедиция, стрелки и джуниоры возвратились на базу в бесцельные и тоскливые скучные дни.

— Однако, черт возьми, — сказал полковник Билл, презрительно глянув на Прайта, — вам нужна обезьяна, которой, говорят, и вовсе нет, а я привязан к вам и даже лишен очередного отпуска. С вами, Прайт, можно легко свихнуться. Все эти излучения и биополя я могу разнести одной ракетой вдребезги. Неужели вы на том решили разбогатеть? Я понимаю: бизнес есть бизнес, и кто как умеет, так и делает деньги, но для этого нужны ясные ориентиры, точная цель, а не слепая погоня за какой-то там обезьянкой или одичавшим монахом из храма великого ламы.

Поджав сухие губы, Прайт нацелил в полковника взгляд. Чудовищный холод этого взгляда приводил полковника в бешенство, но Прайт босс, которому полковник обязан всецело подчиняться. Подавив клокотавшее недовольство, Билл обернулся.

— Нет, я не понимаю всей этой вашей затеи, Прайт. — У русских есть одна шутка, — не вникая в нервозность полковника, заговорил Прайт. — Есть ящик, начиненный чем-то вроде студня из лягушачьей икры. У них — скажу вам, полковник, — все всегда не как у всех. Они всегда парадоксальны. Поясню: чтобы заменить, скажем, работу этого небольшого ящика, нужно построить город размером в Нью-Йорк, состоящий из компьютеров и прочей современной ерунды. А эти, — Прайт ткнул пальцем на север, — могут таскать свой ящик подмышкой. Так вот, полковник, мне нужен этот ящик. Мне нет дела до того, как они там его называют — биолокатор, импульсатор, восприниматель биополя или подарок Бабы Яги, но этот ящик мы должны заполучить в самый кратчайший срок.

— Но... — возразил было полковник.

— Не надо «но», Билл, — остановил его Прайт. Я не заставлю вас воровать или связываться с разведкой. Эти дроволомы умеют только подслушивать друг друга да стрелять в своих же президентов. На днях сюда, к южным границам Союза прибудет профессор Ильин как раз с таким прибором. Мы пригласим его в совместную экспедицию для укрепления взаимных

контактов между странами, взаимопонимания и дружеских связей между учеными разных континентов. Миролюбие, — основной стержень их политики, и вам не придется ползать на брюхе через границу. Нам не откажут, примут наше предложение.

— О'кэй... — мрачно отозвался полковник.

— Тогда так, Билл: я отбываю и через особые каналы направляю приглашение профессору Ильину. Поручаю вам: за это время разработать маршрут перехода советской экспедиции через горы к нам. По воздуху мы их не повезем.

— О'кэй... — кивнул утвердительно полковник.

— А там... — Прайт помедлил, — горные тропы, перевалы... Самое важное сохранить прибор... Вы хорошо меня поняли, Билл?

— Не надо лишних объяснений, Прайт. Я хорошо вас понял, — теперь полковник сам нацеленно и твердо смотрел на Прайта. — Меня занимает одно — цена ящика с лягушачьей икрой.

— Похвально. Ты деловой человек, Билл. Это мне нравится.

— Прайт поджал губы, что означало улыбку. — Стоимость ящика — пятьсот тысяч долларов, и миллион долларов тому, кто поймает Шайтана.

Сухощавое лицо полковника не отразило ничего. За годы службы он привык скрывать мысли и чувства. Билл сразу понял: погоня за Шайтаном — крупнейшая ставка, и не в один, не в два, а в сотни миллионов. Иначе к чему бы такая вдруг щедрость? Этот старый сквалыга, готовый и на Пасху жрать постное, просто так не кинет миллион за шкуру редкой обезьяны. Сам Билл на Пасху и Рождество остервенело напивался и лез бить черных, желтых и прочих неугодных ему по цвету. Чтобы не ссориться с богом, он ежегодно под Рождество жертвовал святому Патрику десять долларов, а потом жил целый год, как ему хотелось. Туповатая непроницаемость была выгодна ему. Он хорошо усвоил, отработал эту маску и состоял в числе особо доверенных лиц. В таком качестве полковник предстал перед Прайтом и, похоже, профессору понравился. Иногда полковнику казалось, что перед ним не Прайт, не человек, а какая-то полупрозрачная субстанция, заключенная в оболочку из гладкой воццаной кожи, довольно статичная в действиях, но способная неведомо как подключаться к рефлекторным дугам человека, которые, по мнению Прайта, и определяли всю сущность личности. Он твердил, что в человеке всегда преобладает физическое над духовным, и старался истребить предположение о непознанной материи и флюидах души. По мнению Прайта, душу человека можно было воспроизвести лабораторным

путем, возбуждая нервные клетки низших организмов в определенном порядке. Именно воспроизвести, а не создать. Прайт не без гордости возвещал, что сам он отстранен от всех тех чувствований, которые бытуют в народах, которым так привержены поэты, писатели, музыканты, артисты, философы, в которых купается весь мир, но между тем видел в том канал для безграничной власти над людьми. Только овладеть глобальным подчинением человеческих эмоций, и ты — властелин.

Едва скрылся вертолет профессора, как полковник Билле еще засветло распорядился выставить за базой пятьдесят мешков с крупой подалее от колючей ограды. Замаскировал стрелков и решил дежурить сам на подходе к горам в тщательно укрытой яме.

Приказал протянуть телефонную связь. Предосторожность не лишняя: это горное чучело, вероятно, каким-то образом воспринимало радиоволны. Привычный рассчитывать время, поступки и решения полковник наскоро прикинул: неделю Шайтан торчал на горе, еще три дня таился где-то между базой и ущельем, и теперь он хочет жрать. Неделя без Прайта — срок немалый. Если удастся перебить обезьяне ноги, ее можно взять живьем, а если она вздумает подыхать, то баллон с жидким азотом хранится на базе, и тогда полковник сунет обезьянью башку в тот самый абсолютный нуль, о котором так хлопочет Прайт. Корпорация начнет с ним торги — с полковником Биллом, и полковник, безусловно, не упустит свой шанс. Этот усохший склеротик, этот плеший старикашка Прайт сейчас стоял над полковником, что полковник едва переносил.

Прибор ночного видения улавливал красноватые расплывы тепловых ламп: стрелки шарили инфракрасным видением по местности. Полковник подумал: «Чертова обезьяна, быть может, способна распознавать невидимый спектр излучения. Иначе как объяснить ее неуловимость. У змей есть термолокаторы, — так мало ли что у черта спрятано в рогах». Догадка три ночи не оставляла Билла, и на четвертою ночь он приказал погасить инфракрасные излучатели.

Четвертая ночь, как и первые три, миновала без шорохов и звуков, без мимолетных теней и фигур. Только на пятую ночь полковника обуяло беспокойство. Что-то угнетало и будоражило его. Явилась нервозность, совсем ему не присущая, странная расслабленность размягчала волю, и клонило в сон. «Нет, черт побери, — сказал полковник сам себе, — такими штучками меня не возьмешь». Он готов был поклясться, что все пятнадцать стрелков-наблюдателей заснули от какой-то непонятной чертовщины. Прильнув к прицелу, полковник нашупал кнопку инфраизлучателя. Он ждал. С минуты на минуту он включ-

чит инфрасвет, и пусть там выскочит сам сатана, — полковник обрубит ему ноги из ручного пулемета.

Полковник четыре года проторчал в горах. За это хорошо платили. Изредка он замечал в себе некий сдвиг, который никак не проявлялся в шумной толчее городов. Он будто бы научился слышать что-то сверхтональное из тех почти скрипичныхнот, которые вдруг исчезают в немыслимой по звучанию высоте. Теперь его слух острее проявлял себя. Где-то в глубине за барабанными перепонками нечто невероятно тонкое пищало, изредка пощелкивая, и полковник, подчиняясь необычному ощущению, все напряженнее взглядывался в ночь. Подспудная нота росла, поднималась: она, как бесконечная игла, своей невероятной остротой уводила куда-то от зrimости мира сего в какое-то утопающее в пространстве значение и вдруг оборвалась, оставив в разуме пустую отрешенность и покой. Полковник смежил веки и, совершенно себе неподвластный, заснул, уткнувшись в ручной пулемет.

Очнувшись засветло, полковник рассудил, что какая-то сила извне ввергла его в безволие и сон. Оставалось лишь выяснить — не проводилось ли армейских испытаний, направленных низкочастотных колебаний, которые в перспективе могли стать новым и весьма эффективным оружием. Впрочем, он был уверен, что таких испытаний не проводилось.

Поступила шифровка: Прайт передал, что задержится еще на несколько дней, и требовал соблюдения тишины в обозначенном районе, запрещал какое бы то ни было передвижение, приказал наблюдать и ждать его прибытия, «О'кэй! — воскликнул Билл. — Шуметь мы и в самом деле не будем!»

* * *

Профессор Ильин получил приглашение от Прайта для участия в антропологической экспедиции, надеясь на взаимопонимание и общий положительный успех. Зарубежный коллега телеграфировал о незамедлительности и важности научных изысканий, способствующих духу понимания, культурного обмена и научных связей. Он обещал самое широкое и многостороннее применение биочастотного аппарата Ильина.

Иван Ермолаевич прибыл на заставу на вертолете и был особенно обрадован тем, что нашел Фомку, Миху, Илиса бодрыми, сильными и возмужавшими.

Профессор Ильин написал командованию письмо, в котором настоятельно просил направить ребят в одну часть, на границу, — именно в место и пункт, где он служил когда-то сам. Свою просьбу Иван Ермолаевич подтверждал перспективой будущих научных изысканий, где ему без помощи заинтересо-

ванных ребят-пограничников не обойтись. Ребят он знает, с ними переписывается, ребята надежные, в экстремальных условиях не растеряются. Отважные ребята и славные помощники.

— Ну вот, друзья мои, — сказал Иван Ермолаевич, крепко обнимая каждого, — пришло послание от профессора Прайта, и нам остается предполагать о наличии в природе особой биологической импульсивности, — чего-то вроде биолокатора, давно утраченного людьми в условиях технократии урбанизации, но все-таки существующего еще. Что это такое — предстоит узнать: мы можем бесконечно предполагать, что этоrudiment третьего глаза или какой-то особый неатрофированный элемент нервной системы. Вот тут-то Прайт и бессилен со своей электронной техникой. Нам предстоит воочию убедиться и доказать, насколько неполноценным и ограниченным бывает технократическое мышление. — Ильин усмехнулся. — Задача, скажу вам, не просто научная, задача — социальная. В мире решили, что все доступно машинным средствам. Сотвори только суперкомпьютер, — и решены все проблемы бытия.

— Юля! — Иван Ермолаевич подозвал смуглую девушку лет семнадцати, осторожно разбиравшую пакеты у вертолета. — Вот этим молодым и бравым раздашь имущество! Это моя дочь, — пояснил он. — Спортсменка. Прошу познакомиться. Вопрос о том, что экспедицию будете сопровождать вы трое, уже согласован.

— Хай-яй-яй, о чем речь! — за всех ответил Миха. — Все застава да застава — скукота!

— Иван Ермолаевич, — уведомил Илис, — тут один феллах к нам перебежал. Много знает. Говорит, что сам Шайтан-Кермека и видел, и слышал.

— А вот это уже не просто интересно, — Иван Ермолаевич весело глянул на ребят. — Это подарок! И феллах ваш очень даже может пригодиться.

Шакир, по-крестьянски суеверный, не хотел навлечь несчастье на свою судьбу. Шайтан всеведущ, и потому говорить о нем Шакир мог только в самых почтительных фразах: «О, когда тот — большой, непобедимый и сильный — подает свой голос, клоняются травы, дрожат горы и трепещет луна, а человек ничтожество впадает в безумный страх. Шайтан срывает звезды и мчится по лавинам, опрокидывая скалы вниз. Он видит и слышит сквозь горы, он читает мысли человека и предвидит его поступки».

Ильин как-то само собою уводил Шакира от дурных мыслей в здравый житейский смысл. Изучив арабский и тюркский, Иван Ермолаевич, как на восточном базаре, умело жестикулируя, дополнял слова особой убедительностью.

— Послушай, Шакир, — говорил Ильин, — если Шайтан помог тебе уйти от Джихангира, он — покровитель людям добрым. Ты человек, который может смело идти в горы, и ничто не омрачит твоей судьбы.

Такие речи Шакиру очень нравились. Перед ним стоял человек, которому можно, скажем, продать барана, наговорившись с ним вволю, выпить с ним чаю и быть у него гостем. В конце концов, то обстоятельство, что Шакир слышал и видел Шайтана, и придало Шакиру важности. Теперь, прежде чем говорить, Шакир пил чай под навесом на заставе. Здесь ребята (так посоветовал Ильин) расстелили старенький ковер, поставили самовар, на кухне напекли лепешек.

Выяснив, что перед ним человек ученый, то есть мудрый в области шайтановых наук, Шакир и сам был не прочь блеснуть умом и знанием в области потустороннего и вездесущего.

— Когда Аллах, — отхлебнув чаю, вещал Шакир, — сотворил небо и землю, когда архангел Джебраил подарил человеку женщину, один мюрид Аллаха проникся завистью к всемогуществу Аллаха, к доброте и справедливости, которые Всевышний даровал людям. Тогда Аллах вверг его в пучину неверности и греха — сделал его Шайтаном, — так говорил мулла, почтенный Гульрахман. Грех бандитов, творящих зло, повел их прямо в пасть Шайтану. Они обезумели в страхе, тогда как меня Аллах повел по иному пути. Проклятые собаки остались там! — сверкнув глазами, Шакир указал на горы. — Они сдохли там от страха, и стервятники расклевали их внутренности.

— Послушай, Шакир! — сказал проникновенно Иван Ермолаевич. — Ты храбрый человек и честный дехканин. Твой кишлак и весь род твой вышел из отважных пуштунов, и я хочу просить тебя о помощи.

— Друг всегда найдет ответ в сердце Шакира, — торжественно заверил Шакир.

— Видишь ли, — продолжал Иван Ермолаевич, — тот Шайтан-Кермек, о котором ты рассказывал, совсем не шайтан. Он, как я предполагаю, горный человек Уони, изгнаник среди великого нашествия бед. Он ушел и спрятался от людей, человеческого зла. Отдаленный от цивилизации, развел и сохранил способность различать и улавливать намеренья человека на приличном расстоянии, — вот почему он минует все хитроумные ловушки. Надо увидеть его, снять, возможно, на кинопленку, место его обитания по всемирному соглашению объявить заповедным, охраняемым и недоступным ни для авантюристов, ни для банд, ни для войск, ни для туристов, а так-

же оградить его и от бесцеремонных научных изысканий. Нам предстоит обеспечить ему живаемость, изучить и понять еще одну загадку природы. Пойдем с нами, Шакир! Ты знаешь те места и тропы. Профессор Прайт пригласил меня для участия в совместной международной экспедиции.

— Прайт? — с некоторой страхом спросил Шакир. — С ним джуниды. С ним Джихангир.

— Теперь это не имеет никакого значения, Шакир, — успокоил Иван Ермолаевич. — Джуниды теперь только слуги Прайта. Они в полном его подчинении. Я уже разговаривал с ним по спутниковой связи. Он подробно все рассказал и объяснил мне. А ты будешь зачислен в сотрудники экспедиции. В таком случае на тебя распространяется право международной неприкосновенности.

— Вай-вай, — покачал головой Шакир. — Джунид прав не признает. Он режет и стреляет.

— Я понимаю тебя, Шакир, но мы будем все держаться вместе. Я, ты, Юля и вот эти трое парней, которых ты знаешь.

— Хорошо — пусть так и будет, — согласился Шакир величаво. — Джихангир сам бежал, как побитая собака. Я бежал, и все бежали. Он хотел, чтобы я мыл ему ноги и готовил чай. Пусть знает, что ему я не слуга.

* * *

На подготовку экспедиции ушло два дня. Иван Ермолаевич ворчал. Запрет пакистанских властей на перелет был явно нелепым. Что можно с воздуха разглядеть в складках гор? Можно, наконец, упаковать фотоаппараты, кинокамеры, бинокли под наблюдением все тех же пакистанцев и даже зашторить окна во время перелета. Так нет же: придется потратить несколько дней для пешего перехода.

— Ну что тут можно взять? Тридцать килограммов груза на каждого — это предел. Юля не в счет, разумеется. На ней контроль биорежима среды. Это занимает все сутки: чуть прозевать — и останешься ни с чем. Вот наша с вами надежда. — Ильин погладил три небольших контейнера, величиною с портативный газовый баллон.

— А чего в них? — спросил вечно любопытствующий Миха.

— Нейронно-белковая ткань в жидким азоте. В таком состоянии она бездействует и может храниться лет сто. В каждом контейнере ее немного — всего по три брикета со спичечную коробку. Но для этих спичечных коробочек надо таскать термостат в двадцать килограммов весом, — и это всего на три использования по сорок минут. Главная причина в том, что

дефростировать, то есть разморозить эту ткань можно лишь раз: повторное охлаждение деформирует клетки. Если бы нас доставили на место вертолетом, то и десяток контейнеров с термостатами не обременили. Теперь же мы сможем захватить и подпитки в термостатах только на три контейнера. Прикиньте: три контейнера с тканью по восемь килограммов каждый да три рюкзака к ним с подпиткой по двадцать килограммов. Получается: из-за какой-то там враждебной дури мы теперь крайне ограничены в исследованиях. Три контейнера — это всего лишь по два часа биоимпульсивного наблюдения.

— А подольше потянуть нельзя? — усомнился Миха. — Дать, скажем, передохнуть малость.

— Видишь ли, Миха, живой организм — не мотор из железа. Однажды явившись на свет, он живет минутами, которые ему отпустила природа. Эту жизнь можно только затормозить, замедлить, но остановить нельзя. Кроме того, как ты понимаешь, для этой жизни нужен постоянный генератор энергии, питающий нервные клетки. Вот мы и тащим на себе подпитку. Иссякнут эти батареи — иссякнет работа нейроклеток. Они выгорают и сами, излучая энергию. Если мы заготовим тонну питающей основы на один брикет — это не поможет: нейроклетки, отработав свое, все равно погибнут. Они фосфорисцируют, светятся и распадаются. И предстоит опять выращивать новую ткань. Вот так-то, друг мой. Природа не терпит остановок. И застопориться в ней становиться невозможно. Даже в том случае, если ты остановишь мгновение каким-то сверхусилием, ты дашь толчок новому движению, но не остановишься. Нейроклетки, погибая, дают движение сначала в сторону молекулярного распада, а затем ионного и атомарного, а вот, что дальше происходит — мы не знаем, но происходит, как ялагаю, что-то вроде испарения души, которое, вливаясь в общий поток движения природы, насыщает новую жизнь вновь образованной исходной энергией. И так вечно...

* * *

На рассвете по ту сторону навесного моста экспедицию встретил маленький, чернявый, юркий как крыса таможенник. Он обшарил поклажу нет ли оружия: ощупал стальные баллоны с биотканью в жидким азоте и остался недоволен тем, что в декларации дамации стальные баллоны назывались предметом особой научной важности.

Отряд сопровождения в семь человек ожидал экспедицию за скалою. Впереди отряда, главенствуя и наблюдая, стоял Джихангир.

— Салам алейкум, Джихангир! — подкинув на спине рюкзак, Шакир подошел к нему. — Разве ты не видишь, что сам Пророк навел меня на путь удачи?

— Вижу: ты ишак, который тащит ношу для неверных, — мрачно сказал Джихангир.

— Твой разум ослаб, Джихангир. Разве полковник Билл правоверный? Он платит тебе деньги, и ты ему служишь за деньги и должность, которые от него получил. Теперь дали должность и деньги мне, и по воле Аллаха мы встретились снова, я не хотел тебя видеть, но ты пришел однажды в мирный кишлак. Мне Пророк указал путь к тем, кто нас не грабит, а защищает, но ты пришел и сюда. Видит Аллах: ведь ты мне совсем не платил! Полковник Вилл и тебе ничего не заплатит, если ты не выполнишь его приказа. Ты должен хорошо провести нас через горы, Джихангир. Полковник твою голову жалеть не будет.

Тропа вела по крутому склону все выше и выше — на горный хребет к перевалу. Спозаранку в молочной пелене тумана скрывались далекие очертания гор. За два часа подъема отряд добрался до половины горного склона. Туман остался внизу, и в белокипенных волнах, лежащих под ногами, замерцали золотистые блестки солнечных лучей. Голубая даль, диковинно яркая, наполняла душу волей и миром. На широком горном уступе отряд сделал привал.

* * *

Привал на полчаса не прибавил сил — затекли, отяжелели ноги да захлестнулось сердце от первых шагов. Чем выше подъем, тем ощутимей тяжелело тело, тем хлеще билась в висках кровь. На перевал взошли к закату солнца. Впереди по дальней дали диковинно взгромоздились скалы и хребты. В ущельях всплыval первый предвечерний туман. Длинные тени закрывали распадки, и солнце, яркое, сверкающее, высекло последние искры с белокипенной шапки ледника.

Джихангир указал на темную скалу, торчащую, словно клык внизу. О скалу разбивались каменные осыпи, и по ту сторону в скальной выемке можно было переночевать. С перевала до скалы, казалось, рукой подать, однако пришлось петлять меж камней и мертвых рассадин, и до скальной выемки добрались почти затемно. Место и впрямь оказалось удобным. Полукруглая выемка защищала от ветра. Корявый кустарник теснился в прощелях, нависал сверху и выползал наружу к огромные валунам по краю. В стороне сквозь горную толщу пробивались капли воды. Прозрачная струйка из неглубокой

каменистой чаши ускользала через узкую расщелину и снова объянялась где-то далеко внизу.

Зажгли костер, поставили легкие палатки. Осмотрев рюкзаки, Иван Ермолаевич встревожился: вентиль в одном из баллонов забарахлил. Головка вентиля покрылась инеем. Иван Ермолаевич подкрутит уплотнение, но газ, тихонько засвистел и потек наружу. Иван Ермолаевич крутнул еще, чувствуя, как мягко съехала резьба. Выло ясно: минут через двадцать первый биобрикет в контейнере разморозится, а за ним и ниже расположенные два.

— Юля! — позвал Ильин. — Готовь подпитку! Одним брикетом приходится жертвовать. Нижние переместим в терmostаты.

— Ребята, помогай! — всполошилась Юлька.

— Ну что ж, пусть будет так... Пусть будет так... — говорил Ильин. — Сейчас нейробрикет отправим в работу. Как знать, а вдруг отзовется сам Шайтан...

Иван Ермолаевич сдвинул створку импульсатора, открыл экран, через усилитель подключил небольшую сферическую антенну. С трех сторон пластмассового ящика выдвигались камеры-контейнеры — одна с рабочей сферой, две запасные. Сфера запасные Иван Ермолаевич через клапаны заполнил жидким азотом. Потом отщелкнул крышку контейнера и за внутренний поводок достал первый брикет в растворимой оболочке и поместил в рабочую сферу. Два брикета пошли в запасные терmostатные камеры. Тройное расположение выдумал Ильин, за что он и сам себя изредка похваливал. В полевых условиях можно было использовать три брикета, не перезаряжая импульсатор. Запасные брикеты в терmostатах могли храниться в течение двух недель. Иван Ермолаевич внимательно следил за шкалой контроля дефростации. Полагалось на последних трех минутах при минимальном содержании азота уловить давление, ровно на семьдесят пять сотых превышающее атмосферное, и включить высокочастотный подогрев. При таком режиме ледяные кристаллы во внутреклеточной структуре оплавлялись, не разрушая самих клеток.

Загудел трансформатор, щелкнул высоковольтный разряд. На экране мелькнуло несколько блесток, беглых и разбросанных. Экран мало-помалу заполнился бледным светом.

— Ага, оживает, — сказал Ильин.

Теперь экран ритмично пульсировал странным светом, совершенно непохожим на какой-либо иной свет. В нем не было ни голубизны, ни желтой яркости — это скорее всего был свет дна, мерцающего в бездонной глуби изумрудно-оранжевым оттенком с какой-то запредельной глубины. Такое открывается

иногда в зрачке дикого зверя. Чувствовалось, что этот свет проникает не столько в глаза, сколько куда-то внутрь за сетчатку глаза и начинает светиться изнутри в самой голове — всего больше с затылка.

Отрешенные от мира ребята смотрели на экран.

— К этому привыкнуть надо, — сказал Ильин, — адаптироваться в биополе и воспринимать его как информацию. Вы чувствуете, что это свечение у вас в голове? Хорошо. А теперь в центре этой внутренней сферы мысленно обозначьте точку, лучше голубую: голубой цвет не дает отрицательных эмоций. Из этой точки направьте мысленно луч в экран и ждите. Когда нейроимпульс биоизлучателя коснется существа живого, вы это сразу почувствуете: вас соединит пространственная связь. Вам будет понятен интеллект существа, его помыслы, инстинкты, желания, его агрессивность или доброта, а в человеке можно вскрыть его характер и даже преобладающие мысли.

— Вот здорово, — сказал Миха. — С такой бы штукой да ворожить. Люди со всего бы свету гадать набегли.

— Нет, Миха, и здесь возможен обман. На экран биополе идет через усилители, а это уже не совсем то, как, скажем, непосредственные чувства человека, которые каждый из нас передает друг другу. Эта штука может сильно поднять наш энергетический ресурс, но можно и лишку насмотреться — тогда беда: галлюцинации и временное сумасшествие обеспечены. Сейчас попробуем узнать, не таится ли где Шайтан поблизости. — Иван Ермолович оглянулся, чувствуя с затылка настороженный стерегущий взгляд: сзади стоял Джихангир.

Джихангир не понимал русского, но уловил слово Шайтан. Он понял, что ящик, о котором упоминал Прайт, вот он — рядом, и цена ему миллион, джихангир ненавидел чиновных, ученых, бизнесменов и прочих пройдох, всяк творящих свою выгоду, ворующих и торгующих, переправляющих наркотики и оружие, тех, что тащат изо всех стран, что ценнее и дороже, позабыв о святости и чести, у которых изворотливая наглость стала главной принадлежностью души. Этот русский не имеет и ножа, тогда как Джихангир стоит сзади с автоматом. Джихангир всегда выполнял приказы. За это ему хорошо платили. Ему заплатят и сейчас дадуткроху от миллиона,бросят кусок, как верному псу. И снова убирайся — ты пес, обветренный и грязный. Снова иди громить кишлаки, пока тебя не повесят кровные братья по вере. «Клянусь Аллахом, — сам себе сказал Джихангир, — теперь этот старый шакал Прайт меня не обмане, и почти ребячья обида стала в его горле клубком. Он подавил в себе минутную слабость, и к нему сразу вернулись привычная ярость и злость.

— Ящик мой! — рявкнул Джихангир, прыгнул через головы и схватил прибор под мышку. Отступая, он свирепо водил дулом автомата. — Эй, Шакир! — крикнул он, скрываясь за скалою. — Передай Прайту: пусть несет деньги или я разобью этот ящик о его плешиющую башку!

— Как ты сказал, так и будет, — сложив смиренно руки, отвечал Шакир. — Ай-вай, какой ишак, — добавил он, когда Джихангир скрылся.

— Он что — сумасшедший? — спросил Иван Ермолаевич.

— Нет, он бандит, — отвечал Илис. — Мне Шакир шепнул это.

Глава VIII

— Ну и ну — история, — говорил Иван Ермолаевич. — В конце концов у нас есть комплект, чтобы собрать второй экран. Есть еще два контейнера, но этот балда утащил уже рабочий прибор, а второй надо еще собрать и проверить.

Шестеро джунидов из отряда Джихангира смотрели на русских исподлобья растерянно и нелюдимо. Никто не хотел идти с русскими. Вскоре в том месте, где сидела банда, не осталось никого.

К полудню второго дня Шакир вывел экспедицию к ущелью, провел вдоль пропасти и направил к просторному постепенно нисходящему склону. Отсюда серебристым пятнышком внизу виделось озеро, изумрудный окочем травы, а по ту сторону на верхней площадке — вертолет и две палатки походной станции Прайта. По прямой здесь оставалось километров пять, но по извилистым путям склона меж камней и прощелин — километров пятнадцать пути. Мощная оптика из лагеря Прайта взяла под наблюдение шесть бредущих по склону фригур. Прайт не видел Джихангира, не видел джунидов, и это весьма обеспокоило его. Телескопический объектив выхватывал лица: трое были смуглые, восточного типа, одна девушка, и двое явно русские. Небритое лицо Шакира задержало внимание профессора. Он запомнил этого человека, еще в тот день, когда непонятная чертовщина разогнала весь лагерь, как стадо напуганных баранов. Как видно, этот подручный Джихангира, приобщенный к Шайтану, остался один и теперь ведет к лагерю русских.

— О'кэй, — сказал Джиль Прайт. — Направьте к ним вертолет, оборудованный глушителями. Там неподалеку просматривается ровное место.

Уяснив, что Ильин располагает запасным комплектом электроники и двумя комплектами биомассы, Прайт заметно

успокоился. В конце концов Джихангир никуда не денется: он явится сам или пошлет посредника продавать «БИТ» — биоимпульсионный трансформатор. Вернее то, что уцелеет в нем: систему датчиков, экран, дифференциатор шкалы импульсов — все то, что не может омертветь.

* * *

Прайт расположил русских в отдельной палатке и широким жестом радушного хозяина пригласил на дружеский ужин.

В палатке Прайта был накрыт стол с русской водкой и красной икрой на тоненьких ломтиках хлеба. Представление о русских здесь, кажется, не поднималось выше водки и закуски.

— Господин Прайт, — предостерег Иван Ермолаевич, — наш нейроимпульсатор схватит даже миллимикронное присутствие алкоголя в наших нервных клетках. В таком случае результаты импульсной проекции будут искажены и даже противоречивы. Мы только понапрасну израсходуем брикеты и даром потерянем время.

— Знаете, в том есть некие интереснейшие предложения, — развивая мысль, продолжал Ильин, — дельфины, например, весьма разумные существа, используют язык ультразвука. Судя по некоторым данным, и наш подопечный способен использовать такой вид информационной передачи. Но главное не в том. Есть все основания предполагать, что существо, окрещенное горным человеком, Шайтаном и прочими названиями, обладает биологическим проникающим импульсом. Чем-то вроде привычной ему, обиходной телепатии, которая в его широчайшем диапазоне чувств заменила речь. И сам горный человек — ничто иное как разумно чувствующее существо. Жил он когда-то повсеместно, но люди оттеснили его и по неразумности своей, в основном, уничтожили, а большей частью привели к вымиранию, всякая попытка контакта с человеком влекла за собою или смерть, или цепь, на которую сажали это удивительное творение природы. Разбойники и бродяги возили его по базарам напоказ. Есть сведения и другие: с лесным человеком умели дружить славяне, но войны и нашествия кочевников, которые огнем и мечом опустошали огромные территории, свели на нет возможность выживания лесного человека. За ним гонялись всей ордой, так что спаслись единицы, да и то лишь в самых отдаленных, преимущественно горных, недоступных точках земли.

— Вы очень хорошо говорили, мистер Ильин, — похвалил Прайт. — Надеюсь, мистер Ильин, мы скоро сможем опробовать ваш аппарат?

— Добро. Сейчас и опробуем, — обещал Ильин. — Время не ждет, господин Прайт. Если мы в первой попытке не обнаружили контакт, то нам надо особенно торопиться, пока расстояние не велико.

Глава IX

Как только Прайт отправился в долину, полковник Билл навел справки о диковинном существе. Всего за несколько часов информационная служба разведки выдала сведения из газет, научных журналов, свидетельств очевидцев и даже пострадавших. На поверку выходило: непонятному зверю присущи все земные свойства и грехи к тому же. Во всяком случае, как утверждали очевидцы, горный человек был подвержен соблазну: например отмечено, что изредка крал он девушек и женщин. Факт как таковой сначала удивил полковника, а затем натолкнул его разум на некий хитрый поиск. Полковник пусть нерегулярно, но все-таки посещал мадам Элизабет в небольшом городке, возведенном специально для иностранных военнослужащих. Бар, кино, экстравагантные подрядчицы на платную любовь составляли основу духовной и телесной утоленности заокеанских спасителей демократии — офицеров и солдат. Еще раз, изучив данные по горному человеку, полковник выпил кофе с коньяком и приказал приготовить вертолет.

За час полета полковник уточнил свои пометки на карте, все рассчитал и обдумал. Во-первых, появление существа на базе было не случайным: зверь приметил, где, чем и как можно поживиться. Во-вторых, если при всей его осторожности он вынужден красть, то дела его плохи, и он непременно объявится вновь. В-третьих, раз зверь не вышел на приманку, значит, распознал засаду. Проще говоря, зверя нельзя обмануть и надо создать на базе настоящую беспечность, где никто не будет насторожен, кроме самого полковника. Из солдат надо оставить всего два-три человека, остальных отправить в город на отдых. Оставить повара, двух охранников и привезти Элизабет. Пусть все думают, что полковник без Прайта решил пока что утешаться любовью.

Полковник застал Элизабет в оплаченном для нее номере. Тридцатилетняя, сильная, она была весьма крупна. Природа одарила ее овальными пышными бедрами, ростом в сто девяносто сантиметров, тугой грудью, густым певучим контрабалто, пышной гривой рыжих волос и золотистым пушком по всему телу. Этот золотистый налет по телу был, обволакивающий и мягкий, всякий раз каким-то туманным наваждением расслаблял полковника, отнимал волю, отрешал от мира и

уводил его в пространное чувство довольства и покоя. Однако сегодня полковник Билл не мог позволить себе расслабления: он поставил перед собой задачу, что было равносильно приказу вышестоящего начальства. Тонким чувством женщины Элизабет заметила эту перемену.

— Я слышала, ты ловишь обезьяну и потому совсем забыл меня? — будто между прочим спросила она, скрывая тайную издевку.

Полковник засопел: он был беспомощен перед женскими уколами.

— Ох, эти репортеры, черт побери, — ругнулся полковник.

— Разволновали по свету про то, чего никто не видел.

Об этом дал интервью Прайт. Говорил, что будут работать в сотрудничестве с русскими в деле постижения загадок и тайн природы.

— Твой Прайт сам чумная обезьяна, — рыкнул полковник, — которую давно бы надо было посадить в клетку. — Он чувствовал, что Элизабет с минуты на минуту взвинтит его. Умерив злость, пробубнил примирительно и льстиво: — Послушай, дорогая, хочешь иметь сто долларов в день?

— О, ты так разбогател? — проворковала Элизабет. — Раньше ты мне платил вчетверо меньше.

— Послушай, — как можно нежнее забасил полковник, — я хочу дать тебе небольшое дело. Полагаю, тебя устроит этот небольшой бизнес.

— Какой? По ловле обезьян?

— Вот именно.

— И какая же я тебе там нужна? — Элизабет слегка откинула полу роскошного халата.

— Голая... Голая, драгоценная моя, — повторил Билл, заметив недоверие и удивление.

— Ох, — притворно вскинулась Элизабет, — ты меня пугаешь...

— При чем тут страх, — пробурчал полковник, совершенно не веря в испуг этой матроны. — Я мог бы найти и другую, но ты знаешь меня, я знаю тебя, и мне попросту не хочется швырять доллары на какую-то безвестность. Надо будет приглядеться, выявить характер. Я не хочу на это тратить время.

— И в каком качестве я должна у тебя там быть? — прищурив желтоватые глаза, спросила Элизабет. — Приманкой? — Ее инстинкт точно угадал намеренье полковника.

— Ну если тебя устраивает это слово, — не глядя на любовницу, сказал Билл, — пусть будет так.

— А ты не будешь ревновать меня, мой сладкий? — мазнув полковника пальцем по носу, спросила Элизабет и добав-

вила: — А вдруг этот обезьян меня соблазнит. Ведь, как ты знаешь, о том так много пишут: «бездежная страсть...», «девушка в плена Бидструфа», «Она не захотела возвратиться».

— Надеюсь, черт побери, до того дело не дойдет, — слегка взъярился полковник. — Ты будешь бродить, а в засаде буду караулить я.

— Все ясно. Двести долларов, мой сладкий, — нежно пропела Элизабет.

— Но... — несколько опешил полковник, — за что?

— Двести... — твердо и четко обозначила сумму Элизабет.

— Я же могу пострадать. Ну, скажем, простудиться...

— М-да, — насупился Билл. — При жаре в двадцать пять градусов.

— Это неважно, мой сладкий: там может быть горный сквозняк.

— Хорошо. Пусть будет двести. За неделю — тысяча четыреста долларов, недурно, моя дорогая. Таких денег не получает ни один наемник.

— А я не наемница, мой сладкий, — ласково пропела Элизабет, — я посредница между тобой и твоей обезьянкой. — Она чмокнула полковника в щеку.

Выслав с базы кого только можно, полковник Билл приступил к операции «Стриптиз». Так он назвал хитроумный промысел. Лаборант, повар и два охранника, которых полковник оставил на базе, не могли знать и видеть, что творится за громадным выступом предгорья, куда ежедневно в один и тот же час полковник уходил с пышноволосой дамой, одетой в спортивный костюм. Автоматическая винтовка полковника с оптическим прицелом висела на одном плече, на другом был наброшен маскировочный халат: полковник, вероятно, надеялся подстрелить горного козла.

* * *

Золотистый пушок на коже Элизабет, осиянный нисходящим солнцем, смотрелся издали как диво, которое слегка затуманило ласковым налетом ее сильное, стройное, слегка загорелое тело. Шагов за сто от засады она смотрелась еще ярче, чем в упор. Полковник то и дело разглядывал ее в оптический прицел, и порой его палец машинально касался спускового крючка по давней усвоенной привычке выцеливать людей. Полковник ловил себя на мысли, что в слабом движении кончика пальца таится всесилие смерти, что он волей распорядиться жизнью этой обнаженной, вальяжно гуляющей распутницы.

Никто не спросит Билла, зачем он это сделал. Убил и все. Здесь скрытая база джунидов и лагерь Прайта. Если в эту зону явились обнаженная девка — стало быть, подослали, чтобы расслабить их свирепую волю. За выстрел в такую девку каждый мог бы получить медаль. Но медаль стоила дешево. За нее на рынке не дадут и понюшку кокаина, а Шайтан стоил миллион. Оценка примерная, конечно. За всем тем виделся широкий финансовый размах. Такой случай нельзя упускать, и полковник готов был до рези в главах следить за прогулками Элизабет в небольшом, метров на двести, распадке клином входящем в горы.

Пологий овально вытянутый распадок просматривался весь и Билл, укрывшись маскхалатом, сидел выше за камнем, сосредоточенный и волевой. Он помнил предписание Прайта, что голову Шайтана, сохраняя ее ценность, надо тиснуть в жидкий азот. Дело хлопотное, и потому полковник намеревался перебить этой чертовой обезьяне ноги, связать руки и доволочь до базы, где в дальнейшем ему поможет лаборант, если обезьяна вдруг задумает сыхать. Лишь бы повезло. Билл отличный стрелок, и возможность разбогатеть могла сейчас вот с секунды на секунду мелькнуть и зависнуть в оптическом прицеле.

— Небольшой горный распадок имел одно неоспоримое удобство: солнце, склоненное к западу, бросало лучи вдоль и вглубь. Элизабет, принимая воздушные ванны ценою в двести долларов, чувствовала оздоровительную силу солнца, теплого горного воздуха и тишины. Ей очень понравилось ходить обнаженной. Душные номера бара «Джентльмен удачи», где она добывала свой хлеб, муторный запах виски, солдатского пота, гашиша, одеколона и кухни; въедливо сверлящие, громящие звуки рока и эта нарочитая суetaексуальной извращенности и ущемленной духовности отдалились здесь куда-то. Уже на третий день Элизабет ощутила, какой гладкой становится ее кожа, а тело наполняется упругой силой, и хочется просто так по-ребяччи побегать нагишом подалее от всяких плоских солдафонов, подалее от Билла с его самодовольной грубой силой. Элизабет вспомнила, что впереди осталось всего четыре таких прекрасных дня и пожалела, что запросила двести долларов за день. Она помнила, что Билл, прежде всего, расчетлив и жаден, способен на авантюры и риск. Что за меньшую цену, вероятно, продлил бы ей срок простоты и безмятежности, где он и сам не касался ее, полагая, что подавит в ней необходимое для женщины волнующее чувство. Она уже решила навести полковника на разговор и сбавить цену, когда полковник сам встревожился о сроках.

— Послушай, — сказал он, — если этот зверь получеловек, одной недели может оказаться мало, чтобы выследить его.

Но двести долларов за прогулки под солнышком не слишком ли, моя дорогая? Пожалуй, мне придется выбрать другую партнёршу.

— Со следующей недели ты будешь платить мне пятьдесят долларов, мой сладкий.

— Ооо, — прогудел полковник, впервые растерявшись, — я рад, что ты здесь, Элизабет. Я прикажу, чтобы тебе привезли ананасов, лучший кофе и шоколад.

— Не надо, Билл... Вертолёт наделает шума и, возможно, спугнет зверя. — Элизабет с затаенной нежностью посмотрела в сторону гор. — Ведь если это человек, то человек неискушенный...

* * *

На четвертый, пятый и шестой день Элизабет уже влекло любопытство. Она была далека от мысли встретить чудовище, ее воображение рисовало Тарзана, сильного, дикого и покорного.

На седьмой день Элизабет, гибкая, упругая, вышла на знакомую каменистую тропинку в беспокойном ожидании сладостного чуда.

Нивеста каким наитием, присущим только женщине, Элизабет поняла, что кто-то ее ждет. Она не знала, как и откуда появилось это чувство, и воспринимала его, не контролируя разумом, подчиняясь тревоге сердца, и оттого ее тело стало нежно-напряженным, а кожа бархатистой.

В конце горного распадка тропинка взбиралась выше и терялась меж громадных угловатых камней. Здесь когда-то рухнула скала, и темные глыбы полегли причудливо и мрачно. Элизабет подошла сюда, остановилась. Она ни разу не поднималась выше к этим громадным камням, но сегодня ее что-то влекло к еле приметной тропинке, какая-то легкая радость собственного присутствия. От камней, нагретых за день, веяло мягким теплом, ноги погружались в мелкую осыпь, щекотавшую голые ступни. Элизабет поднялась к громадным камням шагов на десять, потом дальше и дальше, и вот уж почти половина склона осталась внизу позади. Элизабет была рада, что в лабиринте темных глыб полковник теряет ее из виду. Оптический прицел его винтовки Элизабет ежедневно воспринимала кожей на себе. Это в конце-концов бередило нервы, и среди камней Элизабет вдруг почувствовала волю. Так бывало иногда-то в далеком детстве в укромном, одичавшем уголке отцовского сада или в тот миг, ликующий и безмятежный, когда ребенок выскочит к речке, и мир расступается перед ним.

Элизабет зашла за камень, за второй, когда совсем неподалеку, мелькнув, остановил ее странный доселе невиданный взгляд. Точно две блестки с переката замерли, затаились и смотрели сразу с охватом с головы до ног. Свет любопытства, ласковый и жгучий, исходил из этих глаз. Элизабет смущилась, улыбнулась, и странный взгляд тут же настиг ее в упор: за камнем стоял мускулистый и рослый, сплошь покрытый буровато-золотистым мехом человек. Он, как и сама Элизабет с ее пушком по телу, казался облаченным в мягкий облегающий ворсистый костюм. Щеки и подбородок обрамляли небольшие бакенбарды, мягкие короткие усы не скрывали большого рта и рельефно прописанных розовых губ. Нос острым кончиком четко выступал над вздернутыми ноздрями, а брови густым накрышьем нависали над парой коричневых будто сквозь проникающих глаз. Лоб, невысокий и не очень покатый, запрос мелким, твердым вверх растущим волосом.

Странный взгляд светился ясно, не источая зла. Элизабет заметила восхищение и некий шок, мешающий приблизиться, коснуться рукой. Элизабет застыла, глядя в темные бездонные зрачки, и впервые в жизни ощущила себя великолепной и безгрешной. В ту минуту она не лгала, не притворялась, неосознанно и смутно принимая незнакомый искренний призыв. Она совсем позабыла, что за спину шарит по камням оптический прицел. Если бы в эту минуту разум напомнил ей, кому она служит, она бы вскрикнула, чтобы спасти дивного жителя гор. Впереди тропа была ровнее: Элизабет шагнула, неведомый вышел навстречу. Вдруг что-то хлестко ударило в спину. Толкнуло так, что хрустнул позвоночник. Пуля опередила звук — Элизабет не слышала выстрела. Полковник не мог стрелять Шайтана в череп. Ценилась голова Шайтана, что ясно возвышалась над женской головою. Полковник не видел выхода. Оставалось одно — проткнуть одной пулей двоих. Полковник выскочил из укрытия, — липкий навязчивый страх задержал его. Устыдившись, полковник стиснул зубы, постоял, навел оптикой в блеклом пятне с крестовиной увидел извернутое упавшее женское тело. Шайтан исчез.

* * *

Прокочив сквозь засаду вслед за каменной глыбой, Уони долго мчался по нехоженом козьим тропам. Смертельная опасность отдалась с расстоянием, не давила в упор, и спустя час осталась далеко позади. Мир, тихий, привычно безмятежный, ласково раскинулся вокруг, но в этот мир пришла иная тревога. Уони осмотрелся, прислушался в предрассветную чуткую тишину пробился грозный звук, — самолет прочертил белесую поло-

су по небу. Тяжкий гул прижал Уони к скалам и, как только склынула его тревожная сила, Уони помчался дальше. Подстегнутый небесною тревогой, он бежал и бежал дальше туда, где мог надежно скрыться. Хотелось пить. Изредка Уони посматривал, где в каменных щелях туман оставил крупные капли. В одной из щелей он дотянулся до небольшого осеребренного утренним туманом камня, подышал над ним, вбирая влагу, и побежал быстрее, чтобы в предутренней мгле добраться до подземелья.

Камень-валун над входом в подземелье он увидел засветло километров с трех. Там, под этим камнем, был вход, была вода и немного зерна в неглубокой каменной ямке. Отсюда хорошо просматривалась база, и потому пришлось бы идти на виду. Промчаться молнией он тоже не мог — слабели ноги. Ему силу дала бы только вода. Она расстилалась неподвижным глянцем, хрустально чистая, в подземном озере. Туда свет через нишу над пропастью проникал редко и блекло. Там был тысячелетний покой, незатронутый человеком, отдаленный от мира подстерегающих тревог.

Нацелившись взглядом за предгорье в низину — туда, где белела казарма и сеть колючей паутины, обозначившей плоский квадрат, — Уони почувствовал незнакомую тревогу, исходившую оттуда — из плоского здания, из которого никогда ничего не проникало в пространство, кроме злой настороженности. Не рискуя идти дальше, Уони спрятался в тени за камнем и часа полтора наблюдал за грозным становищем людей. База казалась мертвой: не дымила кухня, не бродили солдаты, не сидели джуниды, скрестив ноги где-нибудь в тени. Только один человек, громоздкий и неторопливый, вышел на плац, постоял и направился к кухне. Этого человека Уони приметил и помнил: он был вожак, ему подчинялись другие люди. Сейчас человек излучал властную стерегущую силу, что заставило Уони сильнее вжаться в камень.

Уони знал: предгорье рассекает небольшой овальный распадок. В конце распадка, в узеньком тупике живет крохотный ручеек, пересыхающий летом. Однако в осенние мягкие дни там набегало несколько глотков воды.

Громоздкий человек не появлялся. Чувствуя, что база почти пуста, Уони сначала ползком — крадучись, потом скачками припустился в сторону к распадку. Уони был на краю распадка, когда громоздкий человек объявился вновь. Уони с ходу распластался, выждал и в один прыжок скрылся за камнями. Теперь он шаг за шагом, словно тень, мелькал за камнями. К воде подполз и выпил в котловинке шесть глотков — все до единой капли. Стало легче, дыхание рассвободилось. Уони

отполз в сторону и, набираясь сил, полежал. Меж тем солнце поднялось и, выметая тени, проникло в проемы меж камнями. В таких обстоятельствах Уони умел переждать до ночи. Он затаился за обломком скалы там, где на подъеме вверх из овального распадка начиналась едва приметная тропа.

До вечера оставалось не так уж много, когда он почувствовал приближение человека, а с ним существа живого, которое излучало совсем иной нервно импульсный биоритм. Биополе близко подступающего существа необъяснимо нежным веянием впервые затронуло его. Мозг вспыхнул, могучее сердце сжалось, гулко сдвинулось, наполнилось теплом: по тропе из распадка, мягко ступая, поднималась женщина. Напряженным слухом Уони ловил еле приметный шорох ее босых ног. Он замер, вжимаясь в камень, а между тем ласковая сила сближения подняла его. Необыкновенное, неотвратимое желание познать и видеть победило страх и осторожность. Легкий запах волос и тела опережали поступь той, что шла по тропинке. Совсем как зверь, восторженный, доверчивый и нежный Уони шагнул ей навстречу, и четкий удар выстrelа настиг его. Пуля прошла через женское тело, ломая позвоночник, и потому вырвалась вкось. Пуля вонзилась Шайтану в ребро. Мелькнув, как тень, он затаился. Нашарив округлый, пуда на два камень, Уони ждал. Никто не шел. Таким камнем Уони мог легко свалить медведя. Тот, кто выстрелил, не успел бы вскинуться взглядом. Теперь ярость Шайтана заполнила пространство, и полковник Билл не смог идти туда, где лежала мертвая Элизабет.

Когда стемнело, неподалеку замелькал тепловой луч. Видимо, кто-то шарил инфракрасным приделом по камням. Уони свободно воспринял эти лучи. Вскоре луч исчез, Уони выждал, осмотрелся и, пригибаясь и скользя, направился ко входу в подземелье.

Рана саднила и ныла. Уони своротил глыбу, но задвинул ее за собою неплотно и с трудом. В неширокую щель в подземелье заглянули звезды, и какая-то одна из них замерцала в чистой неподвижной воде подземного озера. Уони долго пил, насыщался спасительной влагой, потом добрался к месту, устланному мелким хворостом и травой, зажал ладонью слабо кровоточащую в боку рану и за многие сутки заснул впервые болезненным глубоким сном. Его мозг ловил во сне что-то мелькавшее поверх над горами и слабо пробивалось сюда сквозь стометровую толщу горных пород.

* * *

Багровый закат только что охватил полнеба, когда Иван Ермолаевич нацелил антенну биоимпульсатора в пространство. Где-то на сороковом градусе экран дал всплеск, и по желтому полю вспыхнуло сразу три импульса. Два из них шли сначала с накладкой, пересекая друг друга, а третий, очерченный сильной волной дифракции, мощно, ритмически пульсирующий оставался недвижим. Но вот один из первых тоже принял статичность, а средний меж двумя, трепещущий, утонченный, стал сближаться с мощным, овеянным дифракцией. Вдруг всплеск, вспышка, и вслед за тем один из трех, самый нежный, рассыпался, расплылся и погас. Импульсов осталось два. Самый мощный дал искажение беспорядочно пульсирующей пляской. Второй импульс сузился в лихорадочно мерцающую линию.

— Что-то с вашим прибором, мистер Ильин? — спросил Прайт, еще не освоивший методику работы.

Ильин включил экран компьютера.

— Объектов было три, — объяснил он. — Из них двое — мужчина и женщина. Третий Икс-объект, чьи параметры биополя у нас еще не зафиксированы в опознавательной шкале. Будем наблюдать.

К полуночи в узком диапазоне биоимпульсатора остался импульс один — дифракционный, сильный и аритмичный.

— Человек ушел, — объяснил Ильин. — Остался неизвестный. Вы посмотрите. Прайт, что-то непонятное творится с ним. Какая-то аномалия, болезненность какая-то. Здоровый организм никогда не выходит за пределы устойчивых, ему присущих импульсов. Импульсы здорового не скачут, идут в полной согласованности даже при сильном волнении. Сдается мне, неизвестный болен. А впрочем, — вдруг тревожно добавил он, — не ранен ли? Ага, переместился... Смотрите, пошел! — обрадовался Ильин. — Вероятно, ничего серьезного с ним не произошло. Однако куда ж он это клонит? Смотрите! Смотрите: прямо-таки намеренно уходит из нашей полосы. — Ильин осторожно скорректировал направление антенны. — Видите: я его ловлю, а он прячется... А ведь это Он — существо разумно чувствующее! Понимаете? Он ловит наш импульс и, конечно же, постарается сейчас удрасть. Так и есть, ускользает... Вот уж и вправду Шайтан. Такое человеку недоступно. Экий дьявол! Куда это он? Ну вот — баста... Почти заглохло... На экране — светлячок. А впрочем, нет — не светлячок. — Ильин повысил напряжение анализатора. На табло вспыхнули данные: импульс прежний, но очень ослабленный. — Ну что ж, это уже любопытно, — заметил Иван Ермолаевич. — В горах могут быть залежи металлических руд, отклоняющих импульс, или боль-

шой слой кварца, который всего больше притупляет импульсивный поток. Наш герой теперь где-то в глубокой расщелине, а возможно и под землей. Вот видите, господин Прайт, нам сразу повезло. Жаль, что распад нейрогенного пакета нельзя приостановить. Зато мы знаем направление, днем продвинемся ближе. В термостате еще есть нейрогенный запас.

* * *

Над громадою гор, над сумрачной тьмой развернутых ущелий разлилась и застыла вселенская тиши. Где-то в распадке отозвался встревоженный кеклик, прогудел взлетевший жук и в стороне над скалами протяжно хохотнул всезрячий недремлющий сыч.

Прожектор прохватил ночную тьму, осветил сверху озеро. Вертолет дал круг, выбрал нужную точку, завис в воздухе и, приглушенно ревя мотором, стал медленно опускаться вниз. Пилот, как видно, очень опытный, посадил машину чуть поодаль от палатки Прайта. Подсвеченный изнутри вертолет, горбатый и неуклюжий, еще вращал винтом, когда из кабины вылезли трое. Сверкнул вороненый проблеск автоматов. Отпахнув полог, из палатки вышел Прайт.

Переговорив о чем-то, Прайт вошел в палатку, один последовал за ним. Через минуту, не больше, оба вышли. В руке Прайт нес чемоданчик, а через плечо перекинул легкий плащ.

Выключив освещение, Иван Ермолаевич ждал у входа в палатку. Прайт похлопал Ильина по плечу, и оба они, поспешно шагая, направились к вертолету, двое мигом подхватили груз и бегом впереди ученых поместили биоимпульсатор в кабину. Судя по тому, как Прайт тыкал пальцем в небо и по сторонам и еще куда-то, предполагалось ночное наблюдение с воздуха в должном, уже намеченном направлении, где произойдет и дальнейшее сближение с Шайтаном, который ждет не дождется обязательной встречи с научным миром планеты.

Вертолет ушел. Наемники в палатке Прайта о чем-то говорили довольно вяло и бессвязно. Виски и марихуана развязали им языки, непослушные и вялые, как блямба в колоколе. За палаткой, где пришлось затаиться, было ровно и сухо. Ребята выждали, когда бессвязная брань, бульканье, сопенье прекратятся, и над всем тем вознесется расхлюпанный храп онемевших с наркотиков глоток.

В палатке еще горел ночник, Миха подкрался первым. Взял автоматы, выдернула из-за пояса лежащего кольт. Второй наемник лежал неловко, боком, придавив кобуру пистолета, Фомка треснул его ребром ладони по затылку. Третьего для надежности оглушил Илис. С наемников сняли пояса с патронами.

* * *

Иван Ермолаевич распоряжением Прайта получил две комнаты с мягкое мебелью, ванной, даже с небольшой кухней и прочими удобствами комфортабельного быта.

— Профессор, — сказал Прайт, усадив Ильина в кресло, — ваш уникальный аппарат имеет значение далеко выходящее за пределы науки... — Прайт помедлил, откинувшись на мягкую спинку, и заговорил снова как о чем-то вполне решенном: — Мистер Ильин, не надо быть наивным. Мы расшифруем компоновку нуклеиновых соединений вашего биологического брикета, поймаем этого дьявола. Нам нужен донор, мистер Ильин. Как вы понимаете биоэнергетический импульс живых существ замыкается рефлекторной дугой — этим постоянно охраняющим циклом, а ваш нейрогенный штамм работает только с отдачей в пространство, однако через два-три поколения вашему штамму нервных клеток придется снизойти до вырождения. Вашим клеткам нужен донор с эволюционной генетической структурой, и мы соединим выращенные вами нейрогенные клетки с мозговыми клетками этого существа. Нервные клетки этого Шайтана абсолютны — они не искажены цивилизацией, и мы их возьмем, мистер Ильин. Я полагаю, что вы нам в этом должны помочь.

— Посмотрим. Желаю удачи.

— Нам нужен зверь и нужен биоресурс, взращенный вами, мистер Ильин, — продолжал Прайт, не замечая насмешки. — Вами созданный нейрогенный белковый субстрат так или иначе обречен на вырождение. Это мотылек, однодневка без эволюционной генетической структуры, а нервные клетки этой горной обезьяны, безусловно снабжены этой структурой. Можно было бы поступить просто: взять обычновенный человеческий мозг и перемещать его с вашими взращенными нейроклетками, но по закону генетики мы будем получать так или иначе в какой-то мере однобоко преобладающую структуру, не способную иметь глобально чистую структуру импульса. Такими импульсами можно лечить болезни, но всепроникающей силы такая мешанина никогда не приобретет. Но если мы соединим нейрогенные клетки вашего биолокатора с нервным комплексом этого существа, то мы создадим клетки, способные нести импульсивную силу, дотоле невиданную в природе. Как вам это нравится?

Наедине с самим собой Прайт никак не мог сбросить этот нацеленный проникающий взгляд русского. Парapsихолог, физик и биолог, он понимал, что подобный взгляд есть следствие той особой затаенной основы, где человек не только

уверен в себе, не только силен духом, но должен обязательно обладать определенной сферой знаний, которые другим недоступны. Взгляд русского, безусловно, нес информацию, но какую?

Иван Ермолаевич ночь спал плохо, а поутру крепко проголодался, и вся эта чужая каверзная приветливость будоражила в нем отчаянную злость.

— Вы, мистер Прайт, когда в следующий раз будете воровать ученого вместе с его достижениями, не забудьте выпить слабительное. Английский метод, знаете ли, освежает память. И если вы не забыли, что на исследования, которые мы сейчас проводим, возлагаются полномочия международных центров, то вас ждут очень крупные неприятности, — ну, скажем, международный суд.

— О, мистер Ильин, зачем такая драматизация! Вы, русские, всегда впадаете в крайности. Такой ваш характер. У вас — или да, или нет. Правда — неправда. Любовь — ненависть. А я говорю как деловой человек. И бизнес есть тоже наука. Это уметь видеть раньше партнера, — оповестил Прайт. — Вы мой гость, и в этом вы скоро убедитесь. Через день-два мы выйдем в горы с вашиим прибором. Когда поймаем импульсы этого существа, мы вас не будем удерживать. Вы возьмете свои данные, мы возьмем свои — и только. Мы не будем, как вы говорите, урывать и воровать. Мы будем благодарить вас, мистер Ильин.

* * *

Ущелье, вначале неглубокое, извилисто тянулось куда-то сквозь горы. Отвесные стены из сизого камня, скальные глыбы, угловатые и неприступные, то выступали мрачными опорами, то западали в сумеречь разломов, где тускло виднелись обнажения, еще не зализанные ветром и сыростью туманов.

До полудня шли упористо и долго. По приметам, которые знал Шакир, вскоре должна была появиться Табут-гора. Табут — погребальные носилки. Гора вытянута — похожа на балдахин, навешенный над носилками. На той горе, оказывается, живет Хыэр — хранитель живой воды, и к той воде архангел Джебраил прилетает раз в двенадцать лет в первый день Рамазана.

Ребята увидели впереди нечто горбатое, унылое, что нагоняло к сердцу тревогу и тоску. Шакир объяснил, что скоро будет и ручей, тогда можно будет сделать привал. Однако, несмотря на видимую близость, к Табут-горе и ручью, шли еще часа полтора. Ущелье распахнуло темные стены, скалы по сторонам уступили место довольно пологим склонам, и откуда-то со

стороны, перескакивая с камушка на камушек, сбегал вниз прозрачный звенящий ручей. Здесь солнце светило, грело, ласкало, не заслоненное ни скалами, ни мрачным горбом Табутгоры.

— Когда начнет светить месяц, мы будем вон там, — Шакир показал на вздыбленную синеву далекого горного гребня. — Там будет широко идти. Распадок там. Теперь чай пить надо, чтобы сила была.

Подъем до гребня шел сначала отлого, а потом вздымался круто — градусов под сорок. Миха пристроился за Фомкой, поглядывал вперед и по сторонам. Одолели гору, передохнули, лежа за каменным гребнем, ползком миновали последние метры. По эту сторону открывалась широкая впадина. Когдано, вероятно, в эпоху древнейших сдвигов земной коры, дно впадины осело, образуя ровную котловину, километра на полтора в поперечнике, поросшую редкими корявыми деревцами, кустарником и высокой травой. Внизу на полянке висела на расчалках большая походная палатка. Еле-еле курился прогоревший костер. Растигнувшись кто как на сухой траве, спали люди. На сучьях висели автоматы, пулеметная лента, патронные подсумки.

— Хать, ты, черт, — никак бандиты, — шепнул Миха и, юркнув, как мышь, притаился за камнем: палатка всколыхнулась, и наружу вышел Джихангир.

Бандит потянулся, вяло прошаркал к костру, поднял чайник, плеснул в пиалу, поглотал, кивая головой, отерся и так же медленно вернулся в палатку.

— Ишь, сволочи, любят отдыхать, — проворчал Фомка.

— Анаши накурились или наркотиков нажрались, — определил Миха.

— Все верно, — согласился Фомка. — А вот биолмпульсатор куда дели?

— Как пить дать, в палатке, Джихангир в головах кладет. Спереть бы. Хорошая штука. Биопакеты есть. По импульсу Ермолаича враз отыскали бы.

Миха гибко, как кошка, юркнул к кустам ползком добрался к деревьям. Вот он приподнялся и, мягко переступая, подошел к тыльной стороне палатки. Кто-то хрюпlo закашлялся. Послытался говор. Приподняв край палатки, Миха нырнул вовнутрь. В узкий просвет входа он видел, как банда вяло собиралась к костру. Подбросили сучьев, костер затрещал. Всем хотелось чаю.

Оглядевшись, Миха заметил на постели пару гранат, небольших, осколочных, почти умещавшихся в кулак. Запалы были ввернуты: как видно, Джихангир подготовил гранаты на

всякий случай, если банда выйдет вдруг из повиновения. В изголовье нашелся вещмешок. Раздернув лямки, Миха увидел экран. Ящик невелик, величиною со среднюю посылку, но сверху выпирает анализатор, а за ним овальной чашей выступает антенна. Волочь ящик под мышкой — ударишь о камни; надеть вещмешок на спину — где-то заденешь за низкие деревца, за кусты, к тому же с таким горбом никак не проползти по открытому месту в гору. Банда теперь сидела вокруг костра, и кто-то так или иначе мог увидеть человека, который крадется по открытой тропе. На полу лежал довольно большой утоптанный ковер и даже ватный матрац с шерстяным одеялом. Миха отвернул матрац, приподнял ковер. Земля под палаткой была наносная, долинная, песчаная земля. Миха выдернул нож, всковырнул землю и, сдирая ногти там, где попадалась щебенка, вырыл небольшую яму, как раз в размер ящика со всем, что при нем есть. Он поплотнее затянул вещмешок, уложил на дно, засыпал, разровнял, закрыл ковром, застелил матрац.

У костра о чем-то вяло переговаривались. Звякнул крышкой чайник. Прихватив гранаты, Миха выполз из-под палатки, прокрался меж деревьев, юркнул в кусты.

Бандиты долго пили чай. Солнце зависло над горами и готовилось совсем уйти на покой, когда Джихангир медленно встал и важно направился к палатке. Он выскочил назад через минуту, пнул первого сидящего в затылок. Бандит скусил край пиалы и ткнулся головой в уголья, Джихангир ревел, как буйвол. Хоркнул автомат — двое опрокинулись навзничь, Джихангир направлял автомат по очереди на каждого и, видимо недовольный ответом, нажимал курок. Последний вскочил, рванул к себе оружие, но не успел. Джихангир обошел убитых, перевернул ногой каждого и каждому добавил по выстрелу, потом пошел обшаривать рюкзаки. Джихангир не видел, как тот, последний, которому тоже добавил выстрел, уже совсем слабея, подтянул автомат и нажал на спуск. Автомат встряхнуло, цевье забилось о камни, — Джихангир дернулся, схватился за бок, скрючился, переступил шагов на пять и рухнул на колени.

* * *

Прайт объявил о выходе в горы через два дня на третий. За это время на базе прибыло народу. Два рюкзака и горное снаряжение к подножию гор донесли два сумрачных и здоровенных рыжеватых наемника.

— Послушайте, мистер Ильин, — заговорил Прайт, оживленный соприкосновением с природой, — мы, кажется, совершим с вами блестящую прогулку.

Иван Ермолаевич попытался подстроиться к настроениям Прайта, но содрогнулся от холода его души. И была ли то душа?

Предвечернее солнце плеснуло в ущелье золотисто-бронзовый разлив. Лучи нахлынули вдоль горного расхвата и одели все сверху донизу неровно мерцающим рассеянным отблеском. Ярко высветились камни, громадный горный горб, а там, где-то на противоположной немыслимо вздыбленной высоте, словно плеистый исполин, объявилаась километровая скала.

* * *

Когда месяц рассеял на горы тихое серебро, Иван Ермолаевич активизировал прибор. Прайт сунулся ближе. Мерцающий импульс биополя мелькал яркими точками или кривыми всплесками вразброс. Иван Ермолаевич сначала сфокусировал разбредающийся импульс термомагнитным полем, потом направил светящийся круг себе в лицо. Пристально глядя в центральную точку круга, он прибавил питания в биомассу. Точка вдруг затрепетала, расплылась и вытянулась в узкую светящуюся нить. Вслед за тем эта нить запульсировала равномерным волнистым импульсом. Ультрачастотной настройкой Иван Ермолаевич отвел теперь уже стабильную кривую вверх по экрану: прибор ожил, готовый первую силу импульса отправить в пространство.

Иван Ермолаевич медленно повел сферический глаз антенны по окружности. По ту сторону скалы импульс схватил микроамплитуду какого-то зверька. Ради такой мелочи Иван Ермолаевич не стал включать эталонное табло анализатора, на что тоже тратилась энергия биополя. Описав антенной полукружье, Иван Ермолаевич возвратил всевидящее щупальце в исходное положение.

Иван Ермолаевич резко повернул antennу — экран дрогнул, сверкнул сетью ударов, где сразу вспыхнуло несколько импульсивных кривых. Амплитуд, вполне четких, замерцало ровно шесть. Одна из них, самая сильная, превосходила все остальные раз в пятнадцать. Мощная широкая волна пульсировала в нижней части экрана, изредка взрываясь нестабильными скачками и всплесками.

Не дожидаясь Ильина, Прайт надавил клавишу анализатора. Компьютер мгновенно отсортировал самую сильную. На табло вышел результат — «Неизвестное существо». Он... — прикусив дыхание, выдавил Прайт. Вскочил, до сотой градуса, выверил направление.

Иван Ермолаевич немножко возбудил работу анализатора и принял второй результат: «Люди. Количество — пять». Ильин нажал клавишу — контрольный луч смыл результат и снова выдал первое значение: «Неизвестное существо», а за ним повторил: «Люди. Количество — пять». Ильин поработал микронастройкой и вдруг увидел кривую в параметрах абсолютно совместимую со своей. «Юлька! — чуть не вскрикнул он. — С ней, безусловно, ребята!» Ильин резко крутанул микронастройку, сбил амплитудные цепочки в нестройный цветистый каскад.

— Клянусь небом! — Прайт второпях сбил настройку. — Этот черт в горе, в пещере! О, теперь он не уйдет! Мне нужен только его мозг. Все остальное, мистер Ильин, вы можете забрать себе. А мозг чудовища — мне! Понимаете, мне! — повторил Прайт одержимо. — Понятно ли вам, мистер Ильин, это значение?

* * *

Каменное взгромождение издалека напоминало огромную челюсть, которая клыкастым полукружьем обогнула уступчатый завал. В середине каменной челюсти выступали три игольчатых клыка, заостренных и резких, как акульи зубы. Шакир повел отряд, петляя меж валунов и торчащих каменных глыб. Чем выше, тем остree и мельче становились камни. В щелях меж камнями иногда застревала нога. Шакир посоветовал идти молча, тихо и смотреть под ноги: в таком месте не каждый пройдет и даже двое могут пропасть. Если один сломал ногу, то и второй тоже покалечится, когда его понесет. Было надежнее переждать, когда наступят сумерки, чтобы миновать ровное открытое взлобье. А там, возможно, выбрать точку, включить импульсатор. База рядом, для поиска Шайтана обозначен наверняка и этот район. Если Ермолаевич на базе, радиорвать открытым текстом: «Похищен ученый». Если в горах, выручить.

Едва стемнело, когда выбрались наверх. Горб возвышался меж угловатых нагромождений местности. Он дыбился подобно спине громадного чудища, покрытого клочковатой щетиной кустарников и серой, как волчья шерсть, травой. Отсюда еще виделась красная полоса заката, а светлое новолуние уже осыпало серебром застывшую неподвижную тишину.

Где-то в самом центре горы отыскался большущий плоский камень, неровно вдавленный в грунт. Странная тревога, будто перед грозою, охватила здесь каждого. То был не страх, больше напряжение, чуткая наэлектризованность в неподвижности и тишине.

— Ребята, что-то не то, — прошептала Юлька, — я, кажется, воспринимаю импульс...

— И на меня что-то набегло... — повертел головою Миха.

— Как в курятнике застали... Братва, врубай шарманку...

— Совсем так, когда Иван Ермолаевич включился в работу, — настороженно прислушался к чему-то Илис. Фомка промолчал.

— Шайтан-Кермек, — наполняясь страхом, пробормотал Шакир.

— Все возможно... Сейчас поймем... Ребята, откинь упоры, ставь аппарат на камень... — Юлька включила дефростацию. — Ой, ну и ну! Этот бандит все выжег. Наверно, пальцем тыкал в клавиши. Хорошо, что комплект еще есть...

Экран едва прояснился, когда амплитуда дала широкий сбивчивый диапазон: пошла двойная активность нейронов. Юлька плавно направила антенну в одну, в другую сторону и даже по окружности — все та же картина. Творилось что-то дивное и непонятное. Но вот экран вздрогнул, светящийся импульс сдвоился, расплылся, метнулся вразброд и снова побежал широко и неровно.

— Стоп, я, кажется, поняла в чем дело — вслух поразмыслила Юлька и наклонила антенну. — Ребята, помогай... Осторожно... Чтобы не взрагивать и не трясти.

Антенну вместе с аппаратом склонили под крутым углом — экран вспыхнул, амплитуда расширилась до половины светящегося поля. И всякий раз результат выдавался один.

— Ребята, это же в упор... Это рядом...

Вскоре обнаружилось, что активность возникает с севера, где-то под углом градусов в шестьдесят. Юлька нажала клавишу анализатора.

— Ребята, Шайтан, — замерев, прошептала она. — Он тут... Рядом. И смотрите: всплески... Так бывает, если причиняют сильную боль.

— Хать ты незадача, — здохнул Миха, — наверно, на цепь уже посадили.

— Внутри горы, — усомнился Фомка.

— И так может быть, — сказал Илис. — В горах пещер много. Спрятали однако.

— Ребята, — встревожилась Юлька, — здесь где-то должен быть вход. Я не знаю, как нам поступить, но это существо где-то рядом, оно страдает и, может быть, ждет нашей помощи...

— Скорой и неотложной с красным крестом, — не забыл и тут прибавить Миха.

— Перестань, Миха, — одернул Фомка. — А если возле Прайт с наемниками?

— Нет, это исключено, — заверила Юлька. — Всякий человек объявился бы со своим собственным импульсом. Свой импульс спрятать никому не дано.

— Тогда обшарим гору, — распорядился Фомка. — Илис, ты лучший следопыт — тебе и карты в руки. Пойдешь первым.

Бесшумно, быстро и крадучись. Илис обогнул горное взлобье, вышел на склон и вдруг увидел перед собой большой отвороченный на сторону камень. То, что камень был сдвинут, Илис заметил даже в тусклом свете. Камень держался точком, не вжимаясь в почву. Илис подкрался ближе, и сердце охотника гулко забилось в груди: Илис приметил под камнем зияющую тьму. Пустота, вглубь уходящая, была совершенно непроглядна, но чувство неизбежной встречи было настолько ясным и определенным, что Илис замер, готовый на все. Так прошла минута, бесконечная, громадная, когда послышались шаги: по склону шли ребята. Илис отпрянул и тихо направился к ним.

— Братва, — предупредил он тихо, — тут под землю есть лаз.

* * *

Прайт не заметил, как с экрана импульсатора чуждый и мощный для него биоритм развернулся его психику.

В мире сохранилось только одно существо, способное как к биоимпульсному восприятию, так и к биоимпульсной информации непосредственно из мозга в мозг. Но даже могучий организм этого черта способен не более как послать информационный импульс двадцатикратной силы в сравнении с человеком.

— Но! — Прайт поднял костлявый палец. — Если взять за исходный штамм мозг этого черта, совместить со штаммом нейрогенных клеток вашего биологического штамма, на котором работает ваш прибор, то станет возможным вырастить комплекс импульсивной биомассы размером даже в несколько десятков кубических метров, где каждая нейрогенная клетка будет с куриное яйцо, мистер Ильин. И если поместить эту биомассу в устройство типа вашего биоизлучателя, то станет возможным распространить биоимпульс на площадь, например, в один штат, на площадь размером во Францию или в одну вашу республику. Но я вырашу, мистер Ильин, нейрогенный комплекс до размера среднего небоскреба, чтобы охватить моим импульсом весь мир! Современное человечество уходит от высшего повиновения. Они осваивают космос, пространствами уже пытаются освоить вечность. Но в таком случае нельзя

допустить, чтобы люди договорились. Нами повелевает постанигиляционная энергия, ее аккумуляторы, для которых необходимо концентрировать энергию микролептонов в единый энергетический блок. Высшие помыслы требуют создать глобальный импульсатор, через который только дать приказ, — люди начнут уничтожать друг друга в мировой или, в гражданской войне, в массовых национальных побоищах. Устранив определенную массу из земного бытия, их посмертную энергию, их души сконцентрируют геомагнитным полем в единую энергетическую сферу, в единый сплав, во всепроникающей сгусток. Я создам очаг людей избранных и даже позволю им мыслить в определенных пределах. Я разделяю мир на зоны потребляющие и зоны производящие. И те, которые будут жить в этом высшей мире, до последней минуты своей жизни не поймут, почему они так живут и мыслят. Они будут употреблять физиологически необходимую норму пищи, и среди них не будет допускаться старость. Когда их мускулы отработают свое, они умрут без мук по сигналу с пульта биологического самоуправления. Так я создам новый мир высшей справедливости.

— Послушайте, Прайт, — воскликнул Ильин, пораженный.
— Сам высший разум природы восстанет против этого!

Ильин взглянул в тускло освещенное торжествующее лицо Прайта: перед ним стоял владыка, щедущий и вполне реальный. Прайт вздернул голову.

— Я даю вам шанс, Ильин. Запомните: всего один шанс. Вам дадут лучшую лабораторию мира, исполнение любой прихоти и желаний — женщин, развлечения и отдых в любой точке земного шара. Вы уцелеете как индивидуум всего лишь взамен на обычную работу по созданию нейрогенных клеток.

— Я вас понял, Прайт. Ваш проект — это всеобщее убийство за счет однобокого вырождения и массовой погибели. Но и вам же все равно придется умирать. Что же вы тогда получите от вашей авантюры?

— Я получу власть, — сказал Прайт стеклянным голосом.
— Я не за тем сюда шел, чтобы слушать азбуку наивных рассуждений, мистер Ильин. Последний вопрос, мистер Ильин: да или нет? — Прайт выдернул из-за пояса узкий, как карандаш, электроразрядник.

— Вы слишком конкретны, господин Прайт, — заговорил медленно Ильин. — И вы рискуете, нацелив на меня ваш смертельный карандаш. А если штамм, о котором вы мечтаете, у вас не получится. Тогда потребуюсь я. Не так ли? — Иван Ермолаевич заложил руки за спину и раздумчиво зашагал — три шага туда, три шага обратно. — Но я не вижу для себя гарантий. Я выращу вам штамм и окажусь ненужным... —

Ильин шагнул и вдруг ударом ноги вышиб у Прайта электроразрядник. — А теперь, — гаркнул он, — сволочь ты ученая, смотри! — Ильин схватил прибор и швырнул его в пропасть.

Прайт ничуть не помешал ему.

— Наивность — свойство всех глупцов, — выделяя слова, точно костяшки на счетах, сказал Прайт. — Ваш прибор компьютеры скопировали и записали с абсолютной точностью. Кроме того, полковник Билл доставил на базу последние блоки биомассы. Я разгадал и вашу тайну, мистер Ильин. Иначе зачем бы этот спектакль, эта глупая прогулка. Вы знаете, что мне нужен мозг обезьяны как исходное для создания биомассы беспредельной мощности. Но возбуждать биомассу, давать ей первый толчок, начальный импульс может только ваш личный энергетический параметр подстроенный к прибору. Не так ли, мистер Ильин? — с изdevкой, будто любопытствуя, осведомился Прайт. — А это значит: нам пригодится и ваша голова, профессор. Мы возьмем ваш мозг, возбудим работу его нервных клеток, они передадут соответствующую амплитуду нейрогеному штамму, и таким образом, мистер Ильин, мы избавим вас от лишних хлопот.

Прайт вынул из нагрудного кармана небольшую и плоскую, как портсигар, коробку и резко с наслаждением надавил кнопку глобального поиска всеобщей тревоги.

* * *

Уони воспринял тревогу в ту минута, когда боль от раны понемногу стихала. Он вздрогнул, резко вздернулся от сквозящей сверху импульсивной волны, которую он угадал теперь безошибочно и ясно. Импульс просторный, ровно настроенный, прихлынул плавно и вместе с тем внезапно откуда-то через потолок пещеры.

Пещера была местом глухого покоя, и вот: импульс устойчиво держался сколько-то времени, потом сместился и постепенно угас. Встревоженный и напряженный, Уони сел на каменном ложе, устланном мелкими ветками и травой. Высоко в конце пещеры сквозь боковую стену над пропастью серебристым пятном проглядывала ночь. С противоположной стороны, уводящей к склону, натягивал поток свежего ночного воздуха. Уони жадно вдыхал этот живительный поток, но теперь следовало нагло закрыться. Шорох сверху задержал его. Уони встал во весь рост, громадный и грозный. Он понял: к проему подошел человек. Уони почувствовал, как тугая волна напряжения нахлынула в нем — вошла в голову, в надбровья, в глубины мозга. Сердце мощным ударом расширило грудь.

Уони глубоко вздохнул и тут же принял иипульс человека. Стоящий у входа не привносил опасности и злобы, — в нем не отзывалась ни хищная повадка барса, ни трусливая злоба тех, которые подбирались к кишлакам, и тогда оттуда в пространство уходили предсмертные всплески отлетающих биоимпульсов. Иногда такой импульс, завихренный в клубок, зависал над горами и куда-то исчезал, растворялся в безбрежном спокойствии неба.

Стоящий у входа подавал сильный импульс — любопытствующий, но не опасный, что тоже не предвещало ничего хорошего: человек мог забраться в пещеру, и с ним пришлось бы вступить в борьбу. Человек отдалился, но пришли с ним вместе еще четверо. Все они были молодые, сильные — каждый со своим противоборствующим импульсом, и только один импульс затронул сердце Уони тихой ласковой тревогой. Его память озарила огнедышащую гризу, пышную и яркую, и поступь той, идущей ему навстречу, — те минуты, где в необычном чувстве растворилась его осторожность... Потом выстрел... Брызги крови, разорвавшие роскошную, упругую грудь... Потом надсадная, режущая боль повыше подреберья... И вот теперь Уони снова ощутил: перед входом в пещеру среди прочих есть женщина. Наверно, люди привели ее убить, как это делает волк, когда волочет за ухо непосильную добычу подальше от кишлака. Обостренным чувством Уони принял эту возможность, и густой мех на его загривке поднялся дыбом. Он не раз видел, когда хищник, настигая жертву, неотвратимо сближается с обреченным, и это видение точь-в-точь совпадало с его только что вспыхнувшим настроением. Вся сила вдруг вскипела, всклокотала в его груди, тяжелой волной наполнила мускулы. Наверно, хищные загнали жертву к пещере. Она захочет проскользнуть, но грохнет выстрел, брызнет кровь, и снова упадет на землю красота и нежность. Уони рванулся вперед, глаза его вспыхнули угольями, и грозный рев потряс пещеру. «Уоооо!» — свистящие грохотом ударило о стены. На выходе Уони сдвинул камень и замер, внезапно укroщенный: за пещерным проемом стояло милое существо, и добрые ласкающие волны излучало ее тело. Серебристая ночь осияла ладную фигурку. Расслабленный, покорный Уони попятился назад. Мелькнула тень, заслоняя ночную прозрачность, и в темную пещерную глубь осторожно шагнула женщина.

Несколько минут назад Юлька не могла даже представить себе, что войдет в пещеру первой. Заслышив страшный рев, она включила приторможенный импульсатор. Волна бушующей кривой скользнула по экрану. Верхняя черта подстройки на параметры ее собственных биоимпульсов устойчиво держалась

в четком, нервном ритме, а громадная волна импульса чудовища скользнула по экрану, тут же слилась с трепетной нитью ее нейрогенных параметров, не разрушая, не искажая устойчиво пульсирующих волн. Юлька помнила: в опытах с хищниками выдавался совсем иной результат: под действием норадреналина мозг льва, например, посыпал подавляющий импульс, который попросту рвал ритмическую нить настигаемой жертвы. Нарушалась координация: ноги несчастной антилопы теряли точность, скачки сбивались, и хищник настигал ее. Сейчас импульс чудовища не разрушал ее импульса, а сливался с ним. Живая безудержная сила Шайтана бьющим пульсирующим потоком врывалась на экран, сливалась с ее женским биоритмом и, словно обессиленная, исчезала, растворялась в нем. Вместе с тем и собственным чувством Юлька уловила, что Шайтан не опасен именно для нее.

— Ребята, — собираясь с духом, тихо промолвила она, — он меня заметил и, кажется, идет со мной на контакт. Мне надо войти в пещера первой... И одной...

— Совсем рехнулась... — едва ль не исступленно встревожился Миха. — Так ведь он жрать, как бешеный, теперь хочет...

— Нет-нет, ребята, вы не бойтесь... Ко мне он не агрессивен. Когда есть враждебность, биоимпульсы невозможна совместить. Это сотни раз проверено, не трогаетесь с места... Я, кажется, приручу его...

Во тьме Юлька заметила два желтизной отливающих, плоско поставленных пятна: глаза Шайтана светились. Юлька нацелила свой взгляд точно в эти плоско горящие зрачки и постояла так минуты две. Во встречах всех зверей есть восприятие взглядом. Взгляд — визитная карточка всех намерений. Юлька стояла неподвижно, стараясь всем сердцем настроить себя на добрый и ласковый лад. Потом, подняв фонарик-ночничок над головою, она включила слабый зеленый огонек и пошла освещенная мимо стоявшей, мелким мехом покрытой, громадины. Осторожно ступая по камням, она добралась до подземного озера, поставила горящий ночничок на выступ, зачерпнула воды ладонями, шумно всхлебнула, чтобы показать, как ей хочется пить. Уоны переступил десяток шагов за нею, остановился, наблюдая. Он чувствовал, как храбрость и робость бушуют в душе этой незваной гостьи, и поглощенный вниманием к ней, перестал замечать, что в спину ему смотрят четверо. Впрочем, даже не так: он не принял от них импульса смертельной опасности, но не открыл в них и нежной доброты. Доброта явилась тут, вся освещенная зеленым светом. Ласковое чувство забилось в нем и постепенно расслабило тело: вся сила его склынула, и он почувствовал прежнюю режущую

боль повыше подреберья. Он шагнул к постели, сел, сквозь вздох простонал, приподнял локоть, чтобы не задеть крутым желваком вспухшее место.

— Бедный зверь, да ты ранен, — всплеснув руками, догадалась Юлька. — Ну-ну, чудак, посмотреть надо, что с тобою, — будто воркуя, заговорила она. — Боже мой, да в него же стреляли... Ребята, слышите, за ним охотились, как за диковинкой, на шкуру. — Скрепя сердце, она приблизилась к Шайтану, легонечко тронула вздувшийся нарыв. — Нет, это же просто невероятно... В двадцатом веке... Подумать только... Ну ты, чудо-юдо природы, потерпи...

Не зная слов, Уони понимал ее намерение. Он закрыл глаза и еще выше поднял локоть. Прощупав опухоль, Юлька обнаружила, как под кожей плавает пуля.

— Ну, родимый, быть ли мне с тобой живу... — Юлька сжалась в комок, выдернула маленькую финку и резким мазком вскрыла нарыв.

Уони вздрогнул, вздернул подбородок и глухо огласил: «Уоо...» Желвак выплеснул пулю с гноем и кровью. Уони встал и грохнулся в воду, сгребая волны себе под бок. Вскоре он вылез, мокрый и дрожащий, подошел к своей жесткой постели, подобрал разлапистые ноги и лег на бок раной к земле.

— Да ты совсем умница, — похвалила Юлька. — Покорить тебя чем-то надо. Ребята, — позвала она, — где у нас там последняя сгущенка и котелок. Вскройте, влейте в котелок и поставьте в лаз. Сюда не входите. Я сама возьму.

Юлька добавила в котелок воды от струи, сбегавшей в озеро.

— На, пей, дурачок, — она аккуратно поставила котелок с Шайтаном рядом.

У они пошмыгал широкими ноздрями, приподнялся, сел, взял котелок под донышко широченными ладонями и выпил все и враз, как раненый солдат в минуты жажды. Он познакомился со сгущенкой однажды, когда украл ее у пьяного солдата вместе с рюкзаком. Теперь он облизнулся, глянул в котелок опрокинул на язык последние капли и зашвырнул посуду в дальний угол пещеры.

Весь последующий день Уони привыкал к ребятам, а к исходу дня заметно проявил нервозность. Он не сторожил ребят взглядом. Обернувшись лицом к стене, граничащей с ущельем, Уони вставал во весь рост и, вздыбив гриву на затылке, замирал, — вникал во что-то. Каменные стены не пропускали ни шороха, ни звука, а между тем Шайтан-Кермек медленно поворачивал лицо в одну сторону, словно сопровождая взглядом кого-то.

— Ну, что ты там чуешь? — спросила Юлька.

Уони принимал вопрос без осознания слов. Он глухо зарычал, согнулся и сскутился, как для броска вперед. А в сумерки Шайтан-Кермек совсем взбесился. Он заметался по пещере, рыча и охая.

— Ребята, врубай систему! — Юлька кинулась к ребятам. Встречный импульс ударили по экрану.

— Ох, мальчишки, — проглотив дыхание, прошептала она, — отец... А с ним кто-то... Похоже Прайт... Их только двое. Бог мой. Встречный импульс. Двойное напряжение. Сейчас последний блок выгорит начисто.

Широкая, косая вспышка озарила экран. Импульс погас и минуты две тускло источал последнюю энергию отмирающих клеток. В пещере зависла тишина, и в этой тишине что-то взъярило Шайтана, взорвало до бешенства. Громадными прыжками он метнулся вверх к провалу, объявился там на заступе нацеленно и зло. Странный рев с низких нот до возрастающей свистящей рези прохватил ущелье. Шайтан пригнулся, рванулся в пространство и мгновенно исчез. Уони хорошо различал зверей разных пород и разных характеров. В людях таилось то же самое, но над чувствами у них довел рассудок, и потому нельзя было предвидеть, как поведет себя человек. Уони это знал и потому не пустил четверых дальше входа в пещеру. Впервые он почувствовал в этих людях добрый склад, совсем не такой, как в лодях на базе, но доверять им не мог. Он следил за каждым движением ребят, и тут к его чувству примечалась острая тревога. Тревога нарастала по мере приближения кого-то от базы. Вскоре чувство подсказало ему, что идут только двое и, что тревожит только один, но тревогой страшной, беспощадной, смертельной и злой. Наконец, эти двое подступились так близко, что тонкий слух Уони через верхний провал в стене улавливал их речь.

Двое включили импульсатор. Энергия биополя ударила Уони в сердце, и в нем вскипела кровь. И вдруг прибор исчез. Последние вспышки импульса не встревожили его. Отмирающий импульс овеял мягким прощальным касанием. Исчез импульс в ущелье, исчез импульс в пещере. И тут сигнал тревоги грозным волновым потоком хлынул по ущелью, по горам, по небу, ударил в облака. В ответ отозвались сигналы с базы, и все пришло в движение. Со всех сторон ожило и надвинулось неотвратимое, беспощадное. Уони заметался. Совсем недавно, так же окруженный, он чувствовал эту смертельную опасность. Со всех сторон зашевелились люди и в воздухе послышался вертолетный гул. Людское сонмище, машины, радары, инфракрасные лучи сближались, шли в одну точку —

в ущелье, к тому человеку, который все это звал. Тот человек был зло. Насыщенный злом, он пробуждал зло и звал его сюда, к последнему убежищу Уони. Чувствуя сближение со всех сторон. Уони бросился смять точку, на которую сходился, двинулся человеческий рой. Громадными прыжками Уони выскочил к провалу в стене, на секунду замер и бросился по саженные заступам откоса вниз. С двух скачков на третий он спрыгнул на площадку. Прямо перед ним были двое: коренастый и тощий. Тощий источал сверлящее зло. Уони схватил Прайта и помчался вниз через ущелье к скале. Он чувствовал, что надо спрятать зудящую ноту сигнала, которую источал этот человек. Какой-то предмет, прилепленный к этому человеку, звал и звал всестороннее зло. У скалы Уони перекинул Прайта за спину, сжал его руку зубами и полез наверх по отвесной стене — к тому месту, где когда-то родился. Путь наверх по еле приметным выступам он знал наизусть. Оттуда, от малой пещеры, со скалы можно спрыгнуть на противоположную площадку в стеннем проломе и снова укрыться в большом подземелье с озером.

* * *

Спустя два месяца, уже будучи на заставе. Фомка прочел Ивану Ермолаевичу, ребятам и Юльке сообщение в одной из зарубежных газет. Корреспондент писал на английском:

«Таинственная история экспедиции профессора Прайта до настоящего времени не расшифрована. Несколько поисковых наземных и воздушных отрядов, возглавляемых ветераном армии полковником Биллом, с трудом отыскали профессора в совершенно недоступном месте — в небольшой пещере на восьмисотметровой отвесной скале. Как он туда попал — ученым еще предстоит разгадать тайну этого феномена».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Газетные сенсации с каждым годом печатаются все чаще. И вот через несколько лет широко распространено еще одно сообщение: будто бы вдруг обнаружилось, что никакого профессора Прайта, оказывается, вообще не было, а в психиатрической больнице скончался некий безродный Прайт, который однажды погрузился в летаргический сон и, очнувшись, объявил себя способным влиять на весь мир, концентрируя психотропные энергетические вибрации, он же утверждал, что для предупреждения обвального пути человечества надо наибольшим числом людей принять пространственную силу неба, в котором всегда за горизонтом — истина...

СОДЕРЖАНИЕ

ЛАЗУРНЫЙ ЦВЕТ ЗЕМЛИ

<i>Глава I.</i> Кар Карыч	3
<i>Глава II.</i> Котофеич	6
<i>Глава III.</i> Отступление от музыки	10
<i>Глава IV.</i> Скворка	13
<i>Глава V.</i> Черныш и Гулька	17
<i>Глава VI.</i> Фомкино поле	24
<i>Глава VII.</i> Гришка	32
<i>Глава VIII.</i> Братья	38
<i>Глава IX.</i> Курыхан Великий	41
<i>Глава X.</i> Перепелиный бой	45
<i>Глава XI.</i> Джулль и Кузя	50
<i>Глава XII.</i> Живое существо	56
<i>Глава XIII.</i> Яма с карасями	59
<i>Глава XIV.</i> Лазурный цвет земли	64
<i>Глава XV.</i> Никодимыч	70
<i>Глава XVI.</i> Тревога	74
<i>Глава XVII.</i> Под лунным светом	78
<i>Глава XVIII.</i> Не во славу почет	84
<i>Глава XIX.</i> Идолище лупоглазое	91
<i>Глава XX.</i> Последняя встреча	95
<i>Глава XXI.</i> Чиврик из конопляного гумна	98

ГОРЯЩИЙ ХРАМ

<i>Глава I.</i> В пути	103
<i>Глава II.</i> Сирин черный	108
<i>Глава III.</i> Плач стозвонный	114
<i>Глава IV.</i> Зеленый пришелец	120
<i>Глава V.</i> По волчьему перегону	126
<i>Глава VI.</i> В подземном зареве	130
<i>Глава VII.</i> Бабушкины сказки	136
<i>Глава VIII.</i> Тайник	142
<i>Глава IX.</i> Последнее зарево	148
<i>Глава X.</i> Горящий храм	153
<i>Глава XI.</i> Голос предков	158
<i>Глава XII.</i> И, путь одолевший — снова иди	163

СЫН УТРЕННЕЙ ЗАРИ

<i>Глава I</i>	169
<i>Глава II</i>	176
<i>Глава III</i>	180
<i>Глава IV</i>	184
<i>Глава V</i>	192
<i>Глава VIII</i>	211
<i>Глава IX</i>	213
ПОСЛЕСЛОВИЕ	237

Борис Иванович Бочкарев
ЗА ГОРИЗОНТОМ — ИСТИНА

Книга для детей среднего и старшего возраста

Художник — Роман Смирнов
Компьютерный набор и
оригинал-макет — А.М. Базанков
Корректоры — Е.А.Разумов,
Н.Т.Перетягина

Издание осуществляется при участии
областной администрации.

Сдано в набор 10.08.98. Подписано в печать 04.01.99.

Формат 84x108/32 Бумага офсетная. Печать офсетная.
Авт.л. 16,2. Усл. п. листов 15. Заказ № .
Тираж экз.

Отпечатано в областной типографии им. М.Горького
управления по делам печати и массовой информации
администрации Костромской области,
г. Кострома, ул.П.Щербины,2.